

ХАРУКИ МУРАКАМИ



Видимо, сердце прячется в твердой
скорлупе, и расколоть ее
дано немногим.

Норвежский лес

Annotation

...по вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с битническими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники – некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему. «Что же это такое? – думал я. – Что все они хотят сказать?»... Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками «Норвежский лес», принесший автору поистине всемирную известность.

- [Харуки Мураками](#)

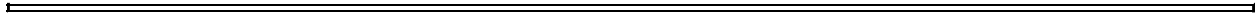
-
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)

- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)



Харуки Мураками

Норвежский лес

Haruki Murakami
NORUWEI NO MORI

© А. Замилов, перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»,
2017

Глава 1

Мне тридцать семь, и я сижу в кресле «Боинга-747». Гигантский лайнер снижается, пронизывая толщу облаков, и заходит на посадку в аэропорт Гамбурга. Холодный ноябрьский дождь выкрасил землю темным, и техники в дождевиках, флаг на крыше приплюснутого терминала, рекламный щит «БМВ» кажутся унылой фламандской картиной. «Ну что, опять Германия?» – подумал я.

Едва самолет приземлился, погасло табло «Не курить», из динамиков тихо полилась инструментальная музыка. Оркестр исполнял «Norwegian Wood» «Битлз». И эта мелодия, как всегда, разбредила меня. Даже не так: она разбредила меня намного сильнее, чем обычно.

Чтобы голова не раскололась на части, я нагнулся, прикрыл лицо ладонями и замер. Вскоре подошла немецкая стюардесса, спросила по-английски:

- Вам плохо?
- Нет-нет, просто голова немного закружилась, – ответил я.
- Вы уверены?
- Спасибо, все хорошо...

Стюардесса приветливо улыбнулась и ушла. Следующей зазвучала мелодия Билли Джоэла.

Разглядывая плывшие над Северным морем мрачные тучи, я думал о потерях в своей жизни: упущенном времени, умерших или ушедших людях, канувших мыслях.

Пока самолет не остановился, пассажиры не отстегнули ремни и не начали доставать с багажных полок свои вещи, я мысленно перенесся на ту поляну. Вдыхал запах травы, кожей чувствовал дыхание ветерка, слышал пение птиц. Было это осенью 1969 года, накануне моего двадцатилетия.

Подошла та же стюардесса, присела рядом, опять поинтересовалась, как я себя чувствую.

– It's all right now, thank you. I only felt lonely, you know^[1], – сказал я и улыбнулся.

– Well, I feel same way, same thing, once in a while. I know what you mean^[2], – кивнула она, встала и тоже приятно улыбнулась. – I hope you'll have a nice trip. Auf Wiedersehen!^[3]

– Auf Wiedersehen! – попрощался я.

Даже сейчас, спустя восемнадцать лет, я могу до мельчайших подробностей вспомнить ту поляну. Переливался яркой зеленью лесной покров, с которого за несколько дней подряд дождь смыл всю летнюю пыль. Октябрьский ветер покачивал колосья мисканта. На голубом небосводе словно застыли продолговатые облака. Высокое небо. Настолько высокое, что глазам больно смотреть на него. Ветер проносился над поляной и, слегка ероша волосы Наоко, терялся в роще. Шелестели кроны деревьев, вдалеке слышался лай собаки – тихий, едва различимый, словно из-за ворот в иной мир. Кроме него – ни звука. И ни единого встречного путника. Лишь две кем-то потревоженные красные птицы упорхнули к роще. По пути Наоко рассказывала мне о колодце.

Какая странная штука – наша память... Пока я был там, почти не обращал внимания на пейзаж вокруг. Ничем не примечательный – я даже представить себе не мог, что спустя восемнадцать лет буду помнить его так отчетливо. Признаться, тогда мне было не до пейзажа. Я думал о себе, о шагавшей рядом красивой девушке, о нас с ней и опять о себе. В таком возрасте все, что видишь, чувствуешь и мыслишь, в конечном итоге, подобно бумерангу, возвращается к тебе же. Вдобавок ко всему, я был влюблен. И любовь эта привела меня в очень непростое место. Поэтому я не мог позволить себе отвлекаться на какой-то пейзаж.

Однако сейчас в моей памяти первым всплывает именно это: запах травы, прохладный ветер, линия холмов, лай собаки. И вспоминается прежде всего остального – отчетливее некуда. Настолько, что кажется: протяни руку – и до всего можно дотронуться. Однако в пейзаже этом не видно людей. Никого нет: ни Наоко, ни меня. Куда мы могли исчезнуть?.. И почему такое происходит? Все, что мне тогда представлялось важным: и она, и я, и мой мир – все куда-то подевалось. Да, сейчас я уже не могу сразу вспомнить лицо Наоко. У меня остался лишь бездушный пейзаж.

Конечно, спустя время я припоминаю ее черты. Маленькая холодная рука, прямые и гладкие волосы, мягкая округлая мочка уха и под ней – точка родинки, дорогой верблюжий свитер, который она надевала с приходом зимы, привычка задавать вопросы, всматриваясь в лицо собеседника, голос, который временами почему-то кажется дрожащим... Будто она разговаривает на вершине продуваемого всеми ветрами холма. Все эти черточки наслаиваются друг на друга – и вдруг, само по себе, вспоминается ее лицо. Причем, не как-нибудь, а в профиль. Может, потому, что я всегда ходил сбоку? Повернувшись ко мне, она весело улыбается, слегка наклоняет голову и начинает говорить, вглядываясь в мои глаза.

Будто бы ищет скользящую по дну прозрачного источника рыбешку.

Но чтобы вот так представить в памяти лицо Наоко, требуется время. И чем дальше – тем больше времени. Грустно, однако это правда. Сначала хватало пяти секунд, потом они превратились в десять, тридцать, в минуту... Время вытягивалось, словно тень на закате. И вскоре все безвозвратно окутает мрак. Да, моя память необратимо отдаляется от места, где была Наоко. Так же, как и от места, где находился я сам. И только пейзаж – эта октябрьская поляна, словно символическая сцена фильма, повторяясь снова и снова, – всплывает в моей памяти. Картинка продолжает настойчиво пинать в одну и ту же точку моей головы. Эй, очнись, я еще здесь, вставай, вставай и ищи, ищи причину, почему я до сих пор еще здесь. Боли нет. Боли совершенно нет. И только при каждом пинке голова гулко гудит. Но и этот гул рано или поздно исчезнет, как исчезло, в конце концов, все остальное. Однако в аэропорту Гамбурга, в салоне самолета «Люфтганзы» пинки оказались дольше и сильнее обычного. Очнись, ищи...

Поэтому я пишу. Просто я отношусь к такому типу людей, которые ничего не могут понять, пока не попробуют записать это на бумаге.

О чем она тогда говорила?

Вот... она рассказывала мне о полевом колодце. Существовал ли такой колодец на самом деле, я не знаю. Может, он – лишь плод ее фантазии. Часть того, что роилось в ее голове в те мрачные дни. Но она рассказала мне о том колодце, и я уже не мог вспоминать поляну без него. Я никогда его не видел, но он остался в моей памяти прочно вписанным в тот пейзаж. Смешно: я помню его до последней детали, прямо на границе поляны и рощи. Трава искусно прикрывает темную дыру в земле, метр диаметром. Ограждения нет. Просто разинула свою пасть дыра. Кое-где потрескались и начали откалываться потемневшие от ветра и дождей камни. В щель между ними ныряет проворная зеленая ящерка. Загляни внутрь – все равно ничего не увидишь. Мне известно только одно: это жутко глубокий колодец. Настолько, что даже трудно представить. И вся дыра эта наполнена мраком – густым, впитавшим в себя все виды мраков этого мира.

– Он и вправду очень-очень глубокий, – сказала Наоко, аккуратно подбирая слова.

Я иногда замечал за ней такую манеру: Наоко говорила очень медленно, подыскивая нужные слова.

– Очень глубокий, но никто не знает, где он находится. Ясно только одно – где-то поблизости.

Она сунула руки в карманы твидового жакета и взглянула на меня. Улыбнулась: мол, я серьезно.

– Ну и жуть. Где-то есть колодец, но никто не знает, где. Свалишься в него – и с концами?

– Точно. А-а-а-а – бум! И конец...

– Но на самом деле этого не происходит?

– Иногда происходит. Раз в два-три года. Вдруг пропадает человек. Сколько бы его ни искали, найти не могут. Тогда местные жители говорят: «Он провалился в полевой колодец».

– Да, не лучший способ умереть.

– Просто ужас! – воскликнула она и стряхнула с жакета семена травы. – Свернуть себе шею и сразу умереть – еще куда ни шло. А если только ногу сломаешь, уже ничего не поделать. Хоть во все горло кричи, все равно никто не услышит. Никакой надежды, что тебя кто-нибудь найдет. И вокруг – сплошь сороконожки и пауки. Рядом побелевшие кости покойников, темно и сыро. А наверху, как зимний месяц, еле-еле мерцает краешек света. И вот в таком месте медленно и мучительно умирает человек.

– От одной мысли по коже мурашки, – сказал я. – Кто-нибудь должен найти этот колодец и сделать ограду.

– Никому не дано его найти. Поэтому нельзя сходить с верной тропы.

– А я и не схожу.

Наоко вынула из кармана левую руку и сжала мою.

– Не переживай. Тебе... Тебе тоже нечего бояться. Ты передвигаешься кромешной ночью на ощупь и ни за что не провалишься в колодец. И пока я буду рядом с тобой – я тоже.

– Ни за что?

– Ни за что!

– Откуда ты знаешь?

– Знаю. Просто знаю, и все. – Наоко крепко сжала мою руку. И дальше шла молча. – Мне хорошо понятны такие вещи. Но не их причина. Я просто чувствую. Например, сейчас я прижалась к тебе, и мне нисколько не страшно. Зло и мрак даже не пытаются заманить меня к себе.

– На словах все получается просто. Может, пусть и дальше так?

– Ты... серьезно?

– Куда серьезнее?

Наоко остановилась. Я тоже. Она положила руки мне на плечи и пристально заглянула в мои глаза. В глубине ее зрачков черная как смоль вязкая жидкость выводила диковинные водовороты. Какое-то время этот

красивый мрак заглядывал в меня. Затем она приподнялась на носки и прижалась ко мне щекой. На мгновение у меня от радости забилося сердце.

– Спасибо, – сказала Наоко.

– Да брось ты...

– Я очень рада, что ты так сказал. Правда! – И она печально улыбнулась. – Но это невозможно.

– Почему?

– Потому что нельзя. Так очень плохо. Так... – начала было она и замолчала. Я знал, что у нее в голове все кипит от мыслей, и молча шел рядом. – Потому что это неправильно. По отношению и к тебе, и ко мне.

– В каком смысле, «неправильно»? – тихо спросил я.

– Ну, не может ведь кто-то один вечно защищать другого. Послушай. Предположим, я выйду за тебя замуж. Ты будешь работать, так? Тогда кто будет защищать меня, пока ты на работе? Кто будет защищать меня, когда ты поедешь в командировку? Что же, я буду рядом с тобой до самой своей смерти? Разве не так? Это же нельзя назвать человеческими отношениями? Да и я тебе когда-нибудь надоем. «В чем смысл моей жизни? Быть талисманом этой женщины?» – скажешь ты. Я так не хочу. И мои проблемы от этого не разрешатся.

– Так не будет продолжаться всю жизнь, – сказал я, обняв ее за талию. – Когда-нибудь наступит конец. Тогда и подумаем, как быть дальше. Тогда, быть может, и ты спасешь меня. Ведь не значит, что мы живем, уткнувшись в ненавистный баланс доходов и расходов? И если я тебе сейчас нужен, используй меня. Ведь так? Почему ты так строго судишь о вещах? Послушай, расслабься, а? Ты напряжена, поэтому и относишься так ко всему окружающему. Расслабишься – станет легче.

– Почему ты так говоришь? – сухо спросила Наоко.

Услышав этот голос, я понял, что сказал лишнее.

– Почему? – снова спросила она, пристально всматриваясь в землю под ногами. – Я и сама знаю, что станет легче, если расслабиться. Что проку от этих твоих слов? Послушай, если я сейчас расслаблюсь, я развалюсь на части. Я до сих пор могла жить только так. И мне больше ничего не остается – продолжать жить так и дальше. Однажды расслабишься – назад не вернешься. А развалюсь – разлетается по кусочкам. Почему ты этого не понимаешь? Почему ты, не понимая этого, можешь говорить, что будешь обо мне заботиться?

Я молчал.

– Меня это берет намного глубже, чем ты думаешь. Мне холодно, темно... и тревожно. Слушай, почему же тогда ты спал со мной? Почему не

бросил?

Мы шли по мертвенно тихому сосновому бору. На лесной тропинке сухо потрескивали под ногами ссохшиеся трупики сдохших в конце лета цикад. Мы с Наоко не спеша шли по этой тропе, глядя вниз, будто что-то искали на земле.

– Извини? – И Наоко нежно сжала мою руку. Несколько раз кивнула. – Я не хотела тебя обидеть. Не принимай мои слова близко к сердцу. Нет, правда, извини. Я просто злюсь на саму себя.

– Пожалуй, ты права – я действительно еще плохо знаю тебя. Я, конечно, не дурак, но чтобы понять некоторые вещи, требуется время. Было б у меня это время, я смог бы в тебе разобраться. И понимал бы тебя лучше всех в этом мире.

Мы остановились, вслушиваясь в тишину. Я переворачивал носком ботинка дохлую цикаду и сосновую шишку, смотрел на небо между ветками сосен. Наоко сунула руки в карманы и, не глядя по сторонам, думала о своем.

– Послушай, Ватанабэ, я тебе нравлюсь?

– Конечно.

– Тогда выполнишь две мои просьбы?

– Хоть три.

Наоко засмеялась и кивнула.

– Достаточно двух. Вполне... Первая. Я хочу, чтобы ты понял, как я тебе благодарна за наши встречи. Я очень рада. И они меня спасают. Даже если тебе так не кажется – это так.

– Я опять приеду. А вторая?

– Хочу, чтобы ты помнил обо мне. Чтобы ты всегда помнил, что я жила и была рядом с тобой.

– Естественно, я буду помнить о тебе, – ответил я.

Она молча двинулась дальше. По плечам ее жакета скользили полосы света, падавшего сквозь верхушки деревьев. Опять послышался собачий лай, но теперь он, казалось, звучал намного ближе. Наоко поднялась на пригорок и, выйдя на опушку соснового бора, сбежала по отлогому склону. Я отставал от нее на два-три шага.

– Постой, здесь может оказаться колодец! – крикнул я ей в спину. Наоко остановилась и, улыбнувшись, схватила меня за руку. Дальше мы шли вместе.

– Ты правда меня никогда не забудешь? – тихо, почти шепотом спросила она.

– Никогда, – ответил я. – Мне тебя незачем забывать.

И все же память продолжала неумолимо стираться. Я забыл уже очень многое. Но, извлекая то, что еще помню, я пишу. Иногда мне становится очень тревожно. Я вдруг спрашиваю себя: а не потерял ли я уже что-нибудь очень важное? Внутри у меня есть темное место, которое можно назвать задворками памяти. Вот я и думаю: не превратились ли там какие-то важные воспоминания в мягкую грязь?

В любом случае, больше у меня ничего нет. Храня в своем сердце эти несовершенные воспоминания, которые частично пропали совсем и улетучиваются дальше с каждой минутой, я продолжаю писать так, будто обгладываю кость. У меня нет другого способа сдержать слово, данное той девушке.

Когда в молодости воспоминания о Наоко были еще свежи, писать я пробовал несколько раз. Но у меня не выходила даже первая строка. Я понимал: получись она тогда, и остальной текст, слово за словом, вылился бы на едином дыхании. Однако дальше первой строки дело не сдвинулось. Все еще было так отчетливо, что я не знал, с чего начать. Так очень подробная карта не годится из-за того, что чересчур подробна. Но сейчас я знаю. В конечном итоге, думаю я, в несовершенном вместилище, каким является «текст», ко двору придутся только несовершенные воспоминания и несовершенные мысли. Память о Наоко стиралась все больше, а ее саму я понимал глубже и глубже. Сейчас мне ясно, почему она попросила: «Не забывай меня!» Естественно, знала об этой причине и она сама. Знала, что память постепенно сотрется во мне. Поэтому Наоко ничего не оставалось – только потребовать у меня: «Никогда не забывай! Помни обо мне!»

И мне становится невыносимо грустно. Почему? Потому что она меня даже не любила.

Глава 2

Давным-давно, а если точнее – лет двадцать назад, я жил в студенческом общежитии. Было мне тогда восемнадцать, и я только поступил в институт. Токио я не знал вообще, и никогда не жил один, поэтому заботливые родители подыскили мне общежитие. Там нас кормили, имелось все необходимое. Это и повлияло на выбор жилья для неоперившегося восемнадцатилетнего юнца. Естественно, стоимость играла не последнюю роль: она оказалась на порядок ниже обычных расходов одиноких людей. Принеси свою постель и настольную лампу – и больше ничего покупать не нужно. Будь моя воля, снял бы квартиру и жил в свое удовольствие. Но если вспомнить, во сколько обошлось поступление в институт, прибавить сюда ежемесячную плату за обучение и повседневные расходы, выбора уже не оставалось. К тому же, по большому счету, мне самому было все равно, где жить.

Общага располагалась в Токио на холме с видом на центр города. Широкая территория окружена высоким бетонным забором. Сразу за ним по обеим сторонам возвышались ряды исполинских дзелькв – деревьям стукнуло, по меньшей мере, века полтора. Из-под них не было видно неба – его полностью скрывали зеленые кроны.

Бетонная дорожка петляла, огибая деревья, затем опять выпрямлялась и пересекала внутренний двор. По обеим сторонам параллельно тянулись два трехэтажных корпуса из железобетона. Эти большие многооконные здания казались переделанными под тюрьму жилыми домами или наоборот – тюрьмой, обустроенной под жилье. Хотя выглядели они очень аккуратно и мрачными не казались. Из открытых окон играло радио. Занавески во всех комнатах – одинаково кремового цвета: не так заметно, что они давно выгорели.

Дорожка упиралась в расположенное по центру главное здание. На первом этаже – столовая и большая баня. На втором – лекционный зал, несколько аудиторий и даже комната неизвестно для каких гостей. Рядом с этим корпусом – еще одно общежитие, тоже трехэтажное. Двор очень широкий, на зеленых газонах, ловя солнечные лучи, вращались поливалки. За главным зданием – поле для бейсбола и футбола и шесть теннисных кортов. Что еще нужно?

Единственная проблема общежития заключалась в царившей здесь радикальной подозрительности. Общагой управляло некое сомнительное

юридическое лицо, состоявшее преимущественно из ультраправых элементов. Их способ управления казался – что естественно, на мой взгляд, – странно извращенным. Чтобы понять его, вполне достаточно было прочесть рекламный буклет и правила проживания: «Служить идеалам воспитания одаренных кадров для укрепления родины». Сие послужило девизом при создании общежития: согласные с лозунгом финансисты вложили частные средства... Но это – лицевая сторона. Что же касается оборотной, истинного положения вещей не знал никто. Одни говорили, что это уход от налогов, другие – самореклама, третьи – афера для получения первоклассного участка земли под предлогом создания общежития. Некто считал, что тут кроется более глубокий смысл. По такой версии, целью создателя была организация подпольной финансовой группировки выходцев из общежития. И действительно, в общежитии имелся особый клуб, куда входила элита ее жильцов. Точно не знаю, но несколько раз в месяц проводились семинары с участием основателя, и члены этого клуба затем не испытывали сложностей с трудоустройством. Я не мог судить, насколько правдивы или ошибочны эти версии. У них всех общее одно: тут что-то неспроста.

Так или иначе, я прожил в этом подозрительном месте ровно два года – с весны 1968-го по весну 1970-го. Я не смогу ответить, что продержало меня там все это время. В быту разница между правыми и левыми, лицемерием и злорадством не так уж и велика.

День общежития начинался с торжественного подъема государственного флага. Естественно, под государственный же гимн. Как спортивные новости неотделимы от марша, подъем флага неотделим от гимна. Площадка с флагштоком располагалась по центру двора и была видна из каждого окна каждого корпуса общежития.

Подъем флага – обязанность начальника восточного (где жил я) корпуса, высокого мужчины под шестьдесят, с проницательным взглядом. В жестковатой с виду шевелюре проскальзывала седина, загорелую шею пересекал длинный шрам. Я слышал, он окончил военную школу в Накано, но насколько это достоверно, утверждать не берусь. За ним следовал студент в должности помощника поднимающего флаг. Его толком никто не знал. Острижен наголо, всегда одет в студенческую форму. Я не знал ни его имени, ни номера комнаты, где он жил. И ни разу не встречался с ним ни в столовой, ни в бане. Я даже не знал, действительно он студент или нет. Раз носит форму, выходит – студент, что еще можно подумать? В отличие от накановца, он был приземист, толст и бледен. И эта пара двух абсолютных антиподов каждый день в шесть утра поднимала во дворе общежития флаг.

В первое время я из любопытства нередко просыпался пораньше, чтобы наблюдать эту патриотическую церемонию. В шесть утра, почти одновременно с сигналом радио парочка показывалась во дворе. Униформист – непременно в черных ботинках под свой студенческий прикид, накановец – в белой спортивной обуви к джемперу. Униформист держал тонкую коробку из павлонии, накановец нес портативный магнитофон «Сони». Накановец ставил магнитофон на ступеньку площадки флагштока. Униформист открывал коробку, в которой лежал аккуратно свернутый флаг. Униформист почтительно передавал флаг накановцу, который привязывал его к тросу. Униформист включал магнитофон.

Государственный гимн.

Флаг легко взвивался по флагштоку.

На словах «...из камней...» он находился еще примерно посередине, а к фразе «...до тех пор» достигал верхушки. Эти двое вытягивались, как по стойке смирно, и устремляли взоры на флаг. В ясную погоду, когда дул ветер, вполне даже смотрелось.

Вечерний спуск флага производился аналогичной церемонией. С точностью до наоборот: флаг скользил вниз и укладывался в коробку из павлонии. Ночью флаг не развевается.

Я не знаю, почему флаг спускали на ночь. Государство остается государством и в темное время суток, немало людей продолжают работать. Мне почему-то казалось несправедливым, что путеукладчики и таксисты, хостессы в барах, пожарные и охранники не могут находиться под защитой государства. Но это, на самом деле, не столь важно. И уж подавно никто не обижался. Думал об этом, пожалуй, только я один. Да и то – пришла в голову мысль, но я на ней не заикливался.

По правилам общежития, перво- и второкурсники жили по двое, студентам третьего и четвертого курсов предоставлялись отдельные апартаменты. Двухместная комната площадью около десяти квадратных метров (чуть длиннее обычной комнаты в шесть татами), напротив входа – алюминиевая рама окна, перед окном два параллельно стоящих учебных стола со стульями. С левой стороны от входа – двухъярусная железная кровать. Вся мебель максимально проста и массивна. Помимо столов и кровати, имелись два ящика-гардероба, маленький кофейный столик и самодельная книжная полка. Никакой лирики в обстановке не заметил бы даже самый благожелательный взгляд. На полках почти во всех комнатах ютились в ряд транзисторные приемники и фены, электрические чайники и термосы, растворимый кофе и чайные пакетики, гранулированный сахар и

кастрюльки для варки лапши, а также обычная столовая посуда. На отштукатуренные стены приклеены картинки – девушки из «Хэйбон панчи»^[4] или где-нибудь содранные постеры порнографических фильмов. Один парень смеху ради повесил фотографию случки свиней, но это было исключением среди исключений. Почти во всех комнатах стены украшали голые девушки, молодые певицы или актрисы. На подставках над столами выстроились учебники, словари и прочая литература.

Ожидать чистоты в юношеских комнатах было бессмысленно, и почти все они кошмарно заросли грязью. Ко дну мусорного ведра прилипла заплесневевшая мандариновая кожура, в банках, служивших пепельницами, громоздились горы окурков. Тлевшие бычки нередко тушились кофе или пивом, отчего из банок ужасно смердело. Посуда вся почерневшая, с остатками еды. На полу валялся целлофан от сублимированной лапши, пустые пивные банки, всякие крышки и непонятные предметы. Взять веник, замести на совок мусор и выбросить его в ведро никому не приходило в голову. На сквозняке с пола столбом поднималась пыль. Какую комнату ни возьми – жуткий запах. В каждой комнате он специфичен, но основа везде одинакова: вонь от мусора, тела и пота. Под кроватями у всех скапливается грязное белье, матрас сушится, когда придется, и ему ничего не остается, как впитывая в себя сырость, источая устойчивый смрад затхлости. До сих пор с удивлением думаю, как в этом хаосе не возникла никакая смертельная эпидемия.

В сравнении с прочими, в моей комнате было чисто, как в морге. На полу – ни пылинки, окна – без единого пятнышка, постель сушилась регулярно раз в неделю, карандаши собраны в пенал, и даже шторы стирались раз в месяц. Мой сосед по комнате болезненно относился к чистоте. Кому бы я ни рассказывал, что он раз в месяц стирает шторы, никто не верил – никто даже не догадывался, что шторы вообще можно стирать. Все свято полагали, что шторы с окон не снимаются вообще. «Какой-то он странный», – поговаривали они. А потом моего соседа начали называть «наци» и «штурмовик».

В моей комнате не было ни одного женского постера. Вместо них висела фотография канала в Амстердаме. Когда я попытался было прикрепить какую-то порнушку, мой сосед со словами: «Ватанабэ, не люблю я этого», – содрал ее, и наклеил вместо нее портрет канала. Нельзя сказать, что мне очень хотелось вешать порнографию, поэтому возражать я не стал. Все, кто заходили в нашу комнату, задирали голову на портрет канала и спрашивали:

– Что это? – а я отвечал:

– Штурмовик на это дрочит.

Я говорил это в шутку, но все велись. Настолько легко, что потом я и сам начал этому верить.

Все сочувствовали мне, как соседу Штурмовика, но я особого дискомфорта не испытывал. Пока вокруг царила чистота, мне, наоборот, было очень даже удобно; к тому же, Штурмовик никогда не вмешивался в мою жизнь. Сам делал уборку, сушил матрас, выносил мусор. Когда же я забывал сходить в баню три дня подряд – шмыгал носом и советовал помыться. Иногда напоминал: «Пора бы тебе постричься», или «Хорошо бы проредить волосы в носу». Одного я терпеть не мог – когда он, заприметив одинокого москита, забрызгивал всю комнату дихлофосом. В такие дни мне оставалось только искать укрытия в хаосе соседних комнат.

Штурмовик изучал географию в одном государственном университете.

– Я изучаю ге-ге-географию, – сказал он, едва мы познакомились.

– Карты любишь? – спросил я.

– Да. Вот закончу учиться – поступлю в Государственное управление географии. Буду ка-карты составлять.

Я восхитился: в мире столько разных желаний и целей жизни. Это, пожалуй, стало моим первым восхищением по приезду в Токио. И в самом деле – людей, пылающих страстью к картографии, не так и много. Тем более, что много и не требуется – иначе что с ними всеми делать? Однако заикающийся каждый раз на слове «карта» человек, который спит и видит себя в Государственном управлении географии – это нечто. Заикался он, конечно, не всегда, но на слове «карта» – однозначно.

– А тво-твоя специализация? – спросил сосед.

– Театральное искусство.

– В смысле, в спектаклях играть?

– Нет, не это. Читать и изучать драму. Там... Расин, Ионеско, Шекспир...

– Я, кроме Шекспира, больше никого не знаю, – признался он.

– Я и сам раньше о них не слышал. Просто эти имена стоят в плане лекций.

– Ну, то есть, тебе нравится?

– Не так, чтобы...

Ответ его смутил. И по мере замешательства заикание усилилось. Мне показалось, что я совершил страшное злодеяние.

– Да мне было все равно, – пояснил я. – Хоть этнография, хоть история Востока. Подвернулось театральное искусство, вот мне и захотелось. Просто так. – Но убедить его этим я не смог.

– Не понимаю, – сказал он с действительно непонимающим видом, – Во-вот мне... нравятся ка-карты, поэтому я изучаю ка-ка-картографию. Для этого я специально поступил в токийский институт, получаю регулярные переводы на обучение. А у тебя, говоришь, все не так?..

И он был прав. Я уже не пытался что-либо объяснять. Затем мы вытянули на спичках, где кому спать. Ему досталась верхняя кровать, я расположился на нижней.

Он постоянно носил белую майку, черные брюки и темно-синий свитер. С наголо обритой головой, высокого роста, сутулый. На учебу непременно одевал форму. И ботинки, и портфель были черными как сажа. По виду – вылитый студент с «правым» уклоном; может, поэтому окружающие звали его Штурмовиком, хотя, по правде говоря, он не питал к политике ни малейшего интереса. Просто ему было лень подбирать себе одежду, он так и ходил – в чем было. Его интересы ограничивались изменениями морских береговых линий или введением в строй новых железнодорожных тоннелей. И стоило зайти разговору на эту тему, он мог, заикаясь и запинаясь, говорить и час, и два – пока собеседник либо засыпал, либо бежал от него.

От раздававшегося в шесть утра гимна он просыпался, как по будильнику. Выходило, что показательная церемония поднятия флага была не совсем бесполезной. Штурмовик одевался и шел к умывальнику. Процесс умывания был долог. Казалось, он по очереди снимает и вычищает все свои зубы. Возвращаясь в комнату, с хлопком расправлял и вешал сушить на батарею полотенце, возвращал на место мыло и зубную щетку. Затем включал радио и начинал утреннюю гимнастику.

Я обычно допоздна читал и спал бы крепким сном до восьми, не реагируя на его утреннюю возню и шум. Но когда он переходил к прыжкам, я не мог не проснуться. Еще бы: при каждом его подскоке – и нужно заметить, высоком, – кровать подскакивала тоже. Три дня я терпел, при этом уверяя себя, что в совместной жизни терпимость необходима, но на четвертый пришел к выводу, что сил у меня больше нет.

– Знаешь, не мог бы ты делать гимнастику где-нибудь на крыше? – спросил я прямо. – А то ты мне спать не даешь.

– Но ведь уже полседьмого! – изумленно ответил он.

– Это я и сам знаю. Для меня такое время – еще глухая ночь. Долго объяснять, почему, но это так.

– Не годится. Буду заниматься на крыше – начнут жаловаться с третьего этажа. А под нашей комнатой – склад, поэтому никто и слова не скажет.

– Ну тогда занимайся во дворе. На травке, а?

– Тоже не годится. У ме-меня не транзисторный приемник. Без розетки не работает. А не будет музыки – я не смогу делать зарядку.

И в самом деле: его древний приемник работал только от сети. С другой стороны, транзистор имелся у меня, но принимал только музыкальные стереопрограммы. «И что теперь?» – подумал я.

– Давай договоримся. Зарядку делай, только подпрыгивай вот так – «прыг-скок», а? А то ты не прыгаешь, а скачешь. Идет?

– «П-прыг-скок»? – удивился он. – Что это такое?

– Когда прыгаешь, как зайчик.

– Таких прыжков не бывает...

У меня разболелась голова. Уже было подумал: а и черт с ним, – но раз сам завел разговор, нужно разобраться до конца. Напевая главную мелодию радиогимнастики, я показал ему «прыг-скок».

– Видишь? Вот так. Такие бывают?

– То-точно, бывают. А я не замечал!

– Ну вот. – Я присел я на кровать. – И давай обойдемся без твоих скачков? Все остальное я как-нибудь потерплю – только брось скакать, как лошадь. Дай мне поспать.

– Не годится, – просто сказал он. – Я не могу ничего выбрасывать. Я такую гимнастику делаю уже десять лет. Каждое утро. Начинаю, и дальше – все машинально. Выброшу что-то одно, и пе-пе-перестанет получаться все остальное...

Больше я ничего не говорил. А что я мог ему сказать? Проще всего было в его отсутствие взять это проклятое радио и выбросить в окно. Но поступи я так, разразился бы скандал – будто люк в ад откроется. Штурмовик был не из тех, кто разбрасывается своими вещами. Когда, лишившись дара речи, я, опустошенный, улегся на кровать, он подошел и попытался меня утешить:

– Ва-ватанабэ, а что если ты будешь просыпаться и делать гимнастику вместе со мной? – И он отправился на завтрак.

Когда я рассказывал о Штурмовике и его утренней гимнастике, Наоко прыскала со смеху. Я не собирался делать из рассказа комедию, но в конечном итоге принялся хмыкать сам. Давно я не видел Наоко веселой, хотя спустя мгновение улыбка уже исчезла с ее лица.

Мы вышли на станции Йоцуя и зашагали по насыпи к Ичигая^[5]. Воскресный вечер в середине мая. До обеда накрапывал дождик, но теперь тяжелые тучи южным ветром уносило с неба одну за другой. Ярко-зеленые листья сакуры колыхались и сверкали на солнце. В воздухе пахло летом.

Люди несли свои свитера и пальто кто на руке, кто перебросив через плечо. В теплом воскресном свете все казались счастливыми. На теннисном корте по ту сторону насыпи молодой человек снял майку и размахивал ракеткой в одних шортах. И только две сидевшие на лавке монашки были облачены по-зимнему в черное – судя по одеянию, можно было предположить, что первые летние лучи до них еще не добрались. Но это не мешало сестрам задушевно беседовать на солнцепеке.

Минут через пятнадцать у меня вспотела спина, и я снял плотную рубашку и остался в одной майке. Наоко закатала до локтей рукава бледно-серой олимпийки. Вещь сильно поношенная, но выцвела приятно. Кажется, я видел ее раньше в этой олимпийке, но припоминал весьма смутно. Показалось, наверное. В то время я еще знал Наоко очень мало.

– Как тебе совместная жизнь? Интересно жить с другими людьми? – спросила Наоко.

– Я сам толком не понял. Пошел только второй месяц. Но в общем – неплохо. Во всяком случае, не в тягость.

Она остановилась перед фонтанчиком, сделала один глоток воды и вытерла рот платком. Затем нагнулась и аккуратно перевязала шнурки.

– Как ты думаешь, мне такая жизнь подойдет?

– В смысле, совместная? Общежитие, что ли?

– Да, – ответила Наоко.

– Как сказать... Все зависит от того, как посмотреть.хлопот, конечно, хватает. Дурацкие правила, гонор пошляков. Сосед начинает зарядку в полседьмого. Но если представить, что такого полно и в других местах, перестаешь обращать внимание. Как подумаешь, что больше жить негде, так вполне сойдет и здесь. По-моему.

– А-а, – кивнула Наоко, и, как мне показалось, на некоторое время ее мысли устремились куда-то вдаль. А потом она посмотрела на меня так, будто увидела во мне что-то необычное. Ее взгляд пронизал меня насквозь. До тех пор я за ней такого ни разу не замечал. Если подумать, ни разу не доводилось и мне пристально смотреть на нее. Мы впервые шли одни и разговаривали так долго.

– Ты что, в общаге жить собралась? – спросил я.

– С чего ты взял? Просто, подумала: что это такое – совместная жизнь? И это, в общем... – Покусывая губы, Наоко подбирала слова, но так и не подобрала. А вместо этого вздохнула и посмотрела вверх. – Не знаю... Хватит об этом.

И разговор прервался. Она зашагала дальше, а я плелся сзади.

Мы встретились почти год спустя. За это время Наоко до

неузнаваемости похудела. Впали щеки, шея стала тоньше. Однако не похоже, чтобы девушка болела. Она похудела как-то очень естественно и тихо. Будто бы тело, прячась в узком продолговатом чехле, просто приняло его стройную форму. И Наоко стала даже красивее, чем я до сих пор считал. Я хотел сказать ей об этом, но не смог найти таких слов и промолчал.

Мы совершенно случайно встретились в вагоне Центральной линии. Она села в электричку, собираясь в кино. Я ехал в книжные магазины на Канда^[6]. В общем, и то, и другое дело нельзя было назвать важными. И когда она предложила выйти, мы вышли. Случайной станцией оказалась Йоцуя. Наедине у нас не нашлось темы для разговора. Я так и не смог понять, зачем Наоко предложила мне выйти из электрички. Ведь нам с самого начала, в принципе, не о чем было говорить.

Мы вышли на улицу, и Наоко, не объясняя, куда собралась, сразу же зашагала вперед. Мне ничего не оставалось, как идти за ней примерно в метре. При желании расстояние, конечно, можно было сократить, но я почему-то не решался. Я шел за Наоко, разглядывая ее черные волосы, скрепленные большой коричневой заколкой. Когда она смотрела по сторонам, выглядывали маленькие уши. Иногда она оборачивалась что-нибудь спросить. На некоторые вопросы я отвечал, но были и такие, на которые я не знал что сказать. Случалось, я просто не мог ее расслышать. Но ей, казалось, было все равно. Она едва успевала договорить, сразу отворачивалась и продолжала идти вперед. Смирившись, я подумал: «Ладно, все равно хорошая погода».

Но для обычной пешей прогулки шла Наоко как-то слишком серьезно. Она свернула направо, на Итабаси, прошла вдоль рва, затем через перекресток Кампомачи, взобралась на холм Очяно-мидзу и прошла Хонго. Дальше она шагала вдоль линии электрички до Комагомэ. Такой себе пеший марафон... Когда мы дошли до Комагомэ, солнце уже село, и настал мягкий весенний вечер.

- Где мы? – как бы очнувшись, спросила Наоко.
- На Комагомэ, – ответил я. – Ты не заметила, что мы сделали круг?
- Зачем мы сюда пришли?
- Ты привела, я только шел следом.

Мы зашли перекусить в ресторанчик соба^[7] рядом со станцией. В горле пересохло, и я заказал пиво. Пока мы ели, никто не произнес ни слова. Я смертельно устал, Наоко же, положив руки на стол, опять о чем-то задумалась. В новостях по телевизору сообщали, в каких экскурсионных

местах в этот воскресный день был наплыв посетителей. «А мы от Йоцуя до Комагомэ прошли пешком», – подумал я.

– А ты выносливая, – сказал я, доев лапшу.

– Тебе странно?

– Ага.

– Я еще в средней школе бегала на длинные дистанции. Десять-пятнадцать километров. К тому же, отец любил альпинизм, и я с малолетства по воскресеньям лазала в горы. У нас они прямо за домом начинаются. Так и привыкла постепенно.

– По тебе не видно.

– Правда? Ты, наверное, считаешь меня хрупким созданием? Нельзя судить о человеке по внешности. – И она как бы слегка улыбнулась.

– Ты, конечно, прости, но я вымотался.

– Извини. Это из-за меня, да?

– Зато я смог с тобой поговорить. Мы раньше никогда не разговаривали наедине. – И я попытался вспомнить, о чем же мы говорили, но так и не смог.

Наоко вращала по столу пепельницу, не замечая ее.

– Послушай, если ты не против... ну, если тебе это не в тягость... мы еще встретимся? Я понимаю, что у меня нет никаких причин так говорить...

– Причин? – удивился я. – Что это значит – «нет причин»?

Она покраснела. Видимо, с удивлением я перестарался.

– Я не могу толком объяснить, – как бы оправдываясь, сказала Наоко. Она сначала закатала оба рукава олимпийки выше локтей, потом снова разгладила их. В электрическом свете пушок у нее на лице стал красивым, желто-золотистым. – Я не хотела говорить «причина», думала сказать иначе.

Наоко облокотилась на стол и принялась рассматривать настенный календарь. Будто надеялась найти в нем подходящее объяснение. Но, естественно, ничего не нашла. Потом вздохнула, закрыла глаза и потрогала заколку.

– Ничего страшного, – попробовал ее успокоить я. – Кажется, я понимаю, о чем ты. Только сам не знаю, как это сказать.

– Вот и у меня не получается. Причем, давно. Соберусь что-нибудь сказать, а в голове какие-то неуместные слова всплывают. Или совершенно наоборот. Собираюсь поправить себя, начинаю еще больше волноваться и говорю что-то лишнее. Оп – и уже не помню, чего хотела в самом начале. Такое ощущение, что мое тело разделено на две половины, которые играют

между собой в догонялки. А в центре стоит очень толстый столб, и они вокруг него бегают. И все правильные слова – в руках еще одной меня, но здешняя «я» ни за что не могу догнать себя ту.

Наоко посмотрела мне в глаза.

– Ты это понимаешь?

– Такое в большей или меньшей степени случается с каждым, – изрек я. – Все пытаются выразить себя, но толком у них не выходит, вот они и нервничают.

Наоко мои слова, похоже, несколько разочаровали.

– Но это – другое, – вздохнула она, и больше ничего не объясняла.

– Я нисколько не против наших встреч, – сказал я. – Все равно по воскресеньям болтаюсь без дела. Да и пешком ходить – полезно для здоровья.

Мы сели на кольцевую линию Яманотэ. На Синдзюку Наоко пересела на Центральную. Она снимала маленькую квартиру в Кокубундзи.

– Скажи, моя речь сильно изменилась? – спросила на прощанье она.

– Если и да, то самую малость. Даже непонятно, что именно. Мы тогда встречались нередко, но я, признаться, не помню, чтобы мы разговаривали.

– Точно, – согласилась она. – Можно я позвоню тебе в эту субботу?

– Конечно. Буду ждать...

Впервые я встретился с ней, когда перешел во второй класс старшей школы. Наоко тоже училась во втором классе женской гимназии – миссионерского лицея «для благородных девиц». Настолько благородных, что прилежным ученицам тыкали в спину пальцем и говорили «Вон мамзель какая пошла!» У меня был очень хороший приятель по фамилии Кидзуки. В общем, даже не приятель, а прямо скажем – мой единственный друг. И у него была подруга – Наоко. Они с пеленок росли вместе и жили по соседству, менее чем в двухстах метрах друг от друга.

Как это часто бывает с подобными парами, отношения у них были очень открытыми – даже не возникало стремления уединиться. Они часто ходили друг к другу в гости, ужинали семьями, играли в маджан. Несколько раз устраивали для меня парные свидания. Наоко приводила с собой какую-нибудь одноклассницу, и мы вчетвером ходили в зоопарк, в бассейн или в кино. Признаться, одноклассницы Наоко при всей своей симпатичности были слишком хорошо воспитаны для общения со мной. Мне больше подходили девчонки из нашей муниципальной старшей школы, с которыми я мог беззаботно болтать, не обращая внимания на их угловатость. О чем думали хорошенькие девицы из круга Наоко, я

совершенно не понимал. Как и они вряд ли могли понять меня.

Поэтому Кидзуки, в конце концов, отказался от парных свиданий, и мы стали просто ходить куда-нибудь втроем: Кидзуки, Наоко и я. Странное дело – так было приятнее всего, и получалось вполне сносно. Появлялся кто-нибудь четвертый – и атмосфера накалялась. А так, пока мы были втроем, я чувствовал себя гостем, Кидзуки – компетентным ведущим, а Наоко – его ассистенткой в телевизионной программе «Беседы со знаменитостью». В центре нашей компании всегда находился Кидзуки. Это он умел: была в нем, сказать по правде, немалая доля сарказма, и потому окружающие считали его высокомерным. На самом же деле, он был добр и справедлив. Когда мы оставались втроем, он одинаково внимательно разговаривал и шутил и с Наоко, и со мной и вообще старался, чтобы мы оба не скучали. Как только Кидзуки замечал, что кто-нибудь долго молчит, он обращался к нему и вытягивал собеседника на разговор. Глядя на него, я думал: как, должно быть, это трудно. Но на самом деле, пожалуй, все было намного проще. Кидзуки умел мгновенно оценивать тональность беседы и действовал по ситуации. Вдобавок, у него имелся редкостный талант извлекать из посредственного в целом собеседника что-нибудь интересное. Потому мне и казалось, что я – очень интересный человек и веду не менее интересный образ жизни.

Но общительным человеком назвать его было нельзя. И в школе он ни с кем не дружил – если не считать меня. Я же никак не мог понять, почему этот дерзкий и талантливый человек не направляет свои способности в более широкий мир, а довольствуется нашим тесным кругом. Как и причину того, почему он выбрал себе в приятели именно меня. Да, я любил в одиночестве почитать или послушать музыку, но считал себя человеком обычным и неприметным. Ну не было во мне ничего выдающегося. Несмотря на это, мы сразу же сошлись характерами и подружились. Его отец был зубным врачом и славился высоким мастерством и не менее высокими расценками.

– Как ты? Не против сходить куда-нибудь вчетвером? Моя подруга из женского лица приведет симпатичную девчонку, – предложил Кидзуки, едва мы успели познакомиться. Я согласился. Так я и встретился с Наоко.

Хотя виделись мы часто и проводили втроем немало времени, когда Кидзуки однажды пришлось отлучиться, и мы с Наоко остались наедине, разговор никак не складывался. Мы просто не знали, о чем говорить: на самом деле, у нас не было ни одной общей темы. Что уж тут? Мы молча пили воду и двигали стоявшие на столе предметы. В общем, ждали, когда вернется Кидзуки. А с его появлением беседа возобновилась. Наоко была

не из самых разговорчивых, да и мне больше нравилось слушать, чем говорить самому. Поэтому оставаясь с нею наедине, я чувствовал себя неуютно. Вовсе не значит, что мы не подходили друг другу. Просто нам не о чем было говорить.

Через две недели после похорон Кидзуки один раз мы с Наоко встретились. Оставалось небольшое дело, и мы договорились о свидании в кафе. А когда все обсудили, больше и разговаривать оказалось не о чем. Я попытался разговорить ее, но беседа постоянно обрывалась на полуслове. Плюс ко всему, отвечала она резковато. Будто бы сердилась на меня, но почему – я не знал. Мы расстались, и до случайной встречи год спустя в электричке не виделись ни разу.

Может, Наоко сердилась, что не она, а я был последним, кто разговаривал с Кидзуки? Может, это звучит неэтично, но я, кажется, понимал ее настроение. И будь это возможно, хотел бы, чтобы на моем месте оказалась она. Однако что случилось, то случилось. И что бы мы себе ни думали, уже ничего не изменить.

В тот погожий майский день мы пообедали, и Кидзуки предложил вместо оставшихся занятий покатать шары. Я тоже не испытывал к оставшимся урокам особой симпатии, и мы, выйдя из школы, спустились с пригорка до порта, зашли в бильярдную и сыграли четыре партии. Когда я легко выиграл первую, Кидзуки сразу стал играть всерьез и в оставшихся трех отыгрался. По уговору я заплатил за игру. За все время он ни разу не пошутил – а для него это большая редкость. Закончив игру, мы сели перекурить.

– Ты какой-то серьезный, – заметил я.

– Сегодня не хотелось проигрывать, – улыбнулся он.

Той же ночью он умер в гараже собственного дома. Протянул от выхлопной трубы «N-360»^[9] резиновый шланг, залепил окна в салоне липкой лентой и запустил двигатель. Долго ли он умирал, я не знаю. Родители уезжали навестить кого-то в больнице, а когда вернулись и открыли двери гаража, Кидзуки уже был мертв. И только радио играло в машине, да дворники прижали к стеклу чек с автозаправки.

Ни предсмертной записки, ни очевидных причин. Поскольку я был последним, кто встречался и разговаривал с ним, меня вызвали в полицию на допрос. «По нему ничего не было видно, вел себя как всегда», – сказал я следователю. Видимо, ни я, ни Кидзуки на следователя положительного впечатления не произвели. В его глазах читалось: «Что может быть странного в самоубийстве человека, который вместо занятий катает шары?»

В газету поместили короткий некролог, и на этом дело закрыли. «N-360» пустили под пресс. Некоторое время на парте Кидзуки стояли белые цветы.

Оставшиеся десять месяцев до окончания школы я не мог найти себе места в окружающем мире. Сблизился с одной девчонкой, но не выдержал и полугода. Она так и не вызвала у меня никаких чувств. Я выбрал частный токийский институт, куда наверняка можно было поступить без особой подготовки. И совершенно спокойно стал студентом. Девчонка просила не уезжать в Токио, но мне хотелось непременно покинуть Кобэ. И начать новую жизнь в городе, где меня никто не знает.

– Тебе наплевать на меня, потому что я спала с тобой? – в слезах говорила она.

– Вовсе нет.

Просто мне хотелось уехать подальше от своего города, но она этого не понимала. И мы расстались. В кресле «синкансэна» в Токио я вспоминал все хорошее, что было в ней, и раскаивался от того, какую подлость совершил. Но было уже поздно. Лучше забыть о ней.

Когда я поселился в токийском общежитии и начал новую жизнь, мне требовалось лишь одно: не брать в голову разные вещи и как можно лучше постараться отстраниться от них. Я решил насовсем забыть зеленое сукно бильярдного стола, красный «N-360», белые цветы на парте, дым из трубы крематория и тяжелое пресс-папье на столе следователя. Первое время казалось, что мне это удастся. Но сколько бы я ни пытался все забыть, во мне оставался какой-то аморфный сгусток воздуха, который с течением времени начал принимать отчетливую форму. Эту форму можно выразить словами.

СМЕРТЬ – НЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЖИЗНИ, А ЕЕ ЧАСТЬ.

На словах звучит просто, но тогда я чувствовал это не на словах, а упругим комком внутри своего тела. Смерть закралась и внутрь пресс-папье, и в четыре шара на бильярдном столе. И мы жили, вдыхая ее, словно мелкую пыль.

До тех пор я воспринимал смерть как существо, полностью отдаленное от жизни. Иными словами: «Смерть рано или поздно приберет нас к рукам. Однако до того дня, когда смерть приберет нас к рукам, она этого сделать не может». И такая мысль казалась мне предельно точной теорией. Жизнь – на этой стороне, смерть – на той. Я нахожусь по эту сторону, и там меня нет.

Однако после смерти Кидзуки я уже не мог так просто воспринимать смерть (как и жизнь тоже). Смерть – не полярная жизни субстанция. Смерть изначально существует во мне. И как ни пытайся, устраниться от нее невозможно. Унеся Кидзуки в ту майскую ночь семнадцатилетия, смерть одновременно схватила и меня.

С таким вот сгустком внутри я проводил свою восемнадцатую весну. И при этом старался не горевать, потому что в глубине души понимал: горевать – не значит непременно приближаться к истине. Хотя, если подумать, смерть оставалась горькой правдой. В этой удушливой противоречивости я продолжал свое бесконечное странствие. Сейчас уже можно сказать: то было странное время. В самом водовороте жизни все вращалось вокруг смерти.

Глава 3

Наоко позвонила в следующую субботу, и мы условились о свидании на воскресенье. Пожалуй, наши встречи можно назвать свиданиями, поскольку другие слова в голову не приходят.

Как и в прошлый раз, мы гуляли по городу, зашли в какое-то кафе, опять гуляли, вечером поужинали и, попрощавшись, расстались. Наоко по-прежнему лишь изредка роняла отдельные слова и особо не обращала на это внимание. Я тоже не припомню за собой осмысленного разговора. Когда совпадало настроение, мы рассказывали о своей жизни и учебе, но все эти рассказы получались бессвязными. Прошрое оставалось для нас табу. Мы лишь бродили по городу, благо Токио – город большой, и весь его не исходишь.

Мы встречались почти каждую неделю и продолжали гулять. Она шагала впереди, я немного отставал. У Наоко имелось большое количество заколок разных форм, и всеми она непременно открывала правое ухо. Тогда я видел перед собой лишь ее затылок, и прекрасно помню его до сих пор. Когда Наоко стеснялась, она вертела заколку в руках. И часто вытирала платком рот. Была у нее такая привычка: промакивать рот, прежде чем что-нибудь сказать. Глядя на нее, я постепенно проникался к ней симпатией.

Она училась в институте на окраине Мусасино. Укромное учебное заведение славилось преподаванием английского языка. Вблизи ее дома располагался живописный водоем, и мы иногда гуляли вокруг него. Наоко приглашала меня к себе, готовила еду и, похоже, нисколько не обращала внимания на то, что мы оставались наедине. Уютная комната, ничего лишнего. Если бы не сохшие на окне колготки, трудно было поверить, что здесь живет девушка. Наоко существовала очень просто и аккуратно, и подруг почти не имела. Помня ее со школьной поры, я не мог предположить в ней такие перемены. В те годы Наоко одевалась изысканно, и ее всегда окружали подружки. У нее дома я понял, что Наоко, так же как и я, после школы хотела уехать на учебу в другой город, чтобы начать жизнь в таком месте, где ее никто не знает.

– Я выбрала этот институт потому, что из нашей школы никто сюда не поступал, – улыбнулась она. – Наши выбирают институты пошикарней. Догадываешься, какие?

Нельзя сказать, что в наших отношениях не было прогресса. Постепенно Наоко привыкала ко мне, а я – к ней. Закончились летние

каникулы, начался новый семестр, и она очень естественно – как само собой разумеется – начала ходить рядом со мной. Думаю, так она дала понять, что признала меня своим другом, и мне было очень приятно гулять с такой красивой девушкой. Мы продолжали бесцельные прогулки по Токио: взбирались на холмы, переправлялись через реки, переходили дороги и продолжали куда-то идти. У нас не было цели. Нам было достаточно просто идти куда-нибудь. Мы увлеченно шагали, будто выполняли некий ритуал для успокоения души. Когда лил дождь, ходили под зонтиком.

Вскоре наступила осень, и весь внутренний двор общежития усыпали листья дзельквы. Надевая свитер, я почувствовал запах нового времени года. Истопталась обувь, и я купил новую пару – из замши.

Мне трудно припомнить, о чем мы тогда говорили. Думаю, вряд ли о чем-то серьезном. И по-прежнему не касались прошлого. Имя Кидзуки почти не всплывало в наших разговорах. Мы вообще говорили нечасто, и привыкли просто молча смотреть друг на друга в каком-нибудь очередном кафе.

Наоко хотела больше узнать о Штурмовике, и я часто рассказывал о нем. Один раз он сходил на свидание с однокурсницей (разумеется, с факультета географии), но вечером вернулся очень унылый. Было это в июне. Штурмовик спросил меня:

– Послушай, Ватанабэ, ты с де-девчонками о чем говоришь... обычно?

Я не помню, что ответил ему тогда, но одно могу сказать точно: он явно задал вопрос не по адресу. В июле, пока его не было, кто-то содрал фотографию амстердамского канала и наклеил вид моста Золотые ворота в Сан-Франциско – видимо, из чистого любопытства: сможет ли Штурмовик дрончить, разглядывая мост? Стоило мне сообщить, что делал он это с радостью, в следующий раз наклеили ледники. Однако после каждой такой смены декораций Штурмовик сильно расстраивался:

– В конце концов, к-к-кто это делает?

– Ну-у... А что плохого? Фотографии-то все красивые, как на подбор. Кто бы это ни был, мы должны радоваться.

– Так-то оно так. Но все равно – противно.

Эти истории смешили Наоко. Она смеялась редко, и я старался веселить ее байками о Штурмовике, хотя, по правде говоря, мне вовсе не хотелось выставлять его посмешищем. Он просто был чересчур серьезен: третий сын в совсем не богатой семье. Лишь карты были скромной мечтой его скромной жизни. Кто вправе над этим смеяться?

При этом «байки о Штурмовике» уже стали одной из постоянных тем

для разговоров в общежитии. Даже если б я попытался в тот момент их прекратить, сделать это оказалось бы невозможно. К тому же, мне было приятно видеть улыбку на лице Наоко. Поэтому я продолжал снабжать окружающих новыми историями о Штурмовике.

Лишь один раз Наоко поинтересовалась, есть ли у меня подруга. Я рассказал о той, с которой расстался.

– Хорошая была девчонка, мне нравилось с ней спать, и я до сих пор иногда по-доброму ее вспоминаю. Но почему-то она мне была не по сердцу. Видимо, сердце прячется в твердой скорлупе, и расколоть ее дано немногим. Может, поэтому у меня толком не получается любить.

– Ты что, никого не любил? – спросила Наоко.

– Нет.

Больше она ничего не спрашивала.

Когда задули холодные осенние ветры, она, бывало, прижималась к моей руке. Через толстый ворс ее пальто я ощущал тепло. Она брала меня под руку, ладонью залезала мне в карман, а когда холодно становилось невыносимо, дрожала, крепко уцепившись за меня. Но это ни о чем не говорило. В ее поведении не было ничего двусмысленного. Я продолжал идти как ни в чем ни бывало, руки в карманах. Обувь у нас была на резиновой подошве, и шаги почти не слышались. Лишь сухо шуршало под ногами, когда мы наступали на опавшие листья огромных платанов. Я вслушивался в шуршание листьев, и мне становилось жаль Наоко. Ей была нужна не моя, а чья-нибудь рука. Ей требовалось не мое, а чье-нибудь тепло. И я начал чувствовать себя виновным за то, что я – это я.

Чем больше зима вступала в свои права, тем прозрачнее казались глаза Наоко. Такая безысходная прозрачность. Иногда Наоко без всякой причины всматривалась в мои глаза, будто что-то искала в них. И каждый раз мне становилось невыносимо грустно.

Я начал подумывать, что она, видимо, хочет мне что-то сообщить, но не может найти слов. Нет, даже не так. Прежде чем выразить словами, она не может сформулировать мысль в себе. Поэтому и на словах ничего не выходит. Она лишь то и дело сжимает закатку, вытирает платком рот и бессмысленно всматривается в мои глаза. Иногда мне хотелось обнять ее, но я всякий раз сомневался да так и не решился. Мне казалось, что тем самым я могу ее обидеть. И мы по-прежнему продолжали гулять по Токио, а Наоко – выискивать в пустоте слова.

Общежитские поддразнивали меня, когда звонила Наоко или я по утрам в воскресенье собирался уходить. Они, разумеется, полагали, что у меня завелась подруга. Я не собирался им ничего объяснять, и даже не

видел в этом необходимости, а потому оставлял все как есть. Когда я возвращался вечером в общагу, кто-нибудь непременно интересовался, какая была поза, как у нее там внутри, какого цвета трусики. Мне оставалось лишь что-нибудь выдумывать в ответ на эти пошлости.

Незаметно мне исполнилось девятнадцать. Всходило и заходило солнце, спускался и поднимался флаг, а я по воскресеньям встречался с подругой покойного друга. Я не осознавал, ни что сейчас делаю, ни как быть дальше. На лекциях я слушал про Клоделя, Расина и Эйзенштейна, но мне они ничего не дали. Товарищей среди однокашников я себе не завел, с соседями по общаге только здоровался. Я постоянно читал книги, и общежитские считали, что я собираюсь стать писателем. А я не собирался становиться писателем. Я вообще не собирался становиться никем.

Несколько раз я порывался рассказать о своих мыслях Наоко. Мне казалось, она должна правильно понять мое настроение. Но подобрать слова, чтобы выразить свои чувства, не мог.

«Странное дело, – думал я, – будто бы заразился от нее болезнью поиска слов».

В субботу вечером я сидел на стул в коридоре возле телефона и ждал звонка от Наоко. По субботам все уходило в город, и в коридоре становилось тише обычного. Разглядывая витавшие в безмолвном пространстве частички света, я пытался разобраться в себе. Что мне нужно? И что нужно людям от меня? Я не мог подыскать достойный ответ. Иногда я протягивал к витающим частичкам света руку, но пальцы ничего не касались.

Мне нравилось читать, но читал не *запоем*, а с удовольствием по несколько раз перечитывал любимые. В те годы – Трумэна Капоте, Джона Апдайка, Скотта Фитцджеральда, Рэймонда Чандлера. Ни в классе, ни в общаге никто больше не любил этих писателей. Все предпочитали романы Кадзуми Такахаси^[10], Кэндзабуро Оэ, Юкио Мисимы или же современных французов. Интересы у нас не совпадали, поэтому я молча продолжал глотать книги в одиночестве. Перечитав в очередной раз, я закрывал глаза и вдыхал книжный запах. Нюхая корешок, прикасаясь руками к страницам, я чувствовал себя счастливым.

В восемнадцать самым любимым произведением у меня был роман Джона Апдайка «Кентавр». Однако затем он приелся, и пальма первенства перешла к «Великому Гэтсби» Фитцджеральда. С тех пор этот роман был для меня лучшим. Я завел обычай: в хорошем настроении доставать с

полки эту книгу, открывать и перечитывать с первой попавшейся страницы. И ни разу я не остался разочарованным, поскольку в книге не было ни одной посредственной страницы. «Какая прекрасная вещь», – думал я. Мне хотелось поведать об этом всем, но вокруг не было никого, кто прочитал бы его или хотя бы считал, что стоит прочесть. В 1968 году чтение Фитцджеральда не возбранялось, но при этом однозначно не рекомендовалось.

В то время в моем окружении имелся только один человек, который читал Фитцджеральда. Благодаря этому мы и подружились. Звали его Нагасава. Он учился на два курса старше меня на юрфаке Токийского университета. Мы жили в одном общежитии и знали друг друга в лицо. Когда однажды я, греясь на солнышке в столовой, читал «Великого Гэтсби», он присел рядом и спросил, что за книга. Я ответил.

– Интересная? – осведомился он.

– Перечитываю в третий раз. И чем больше читаю, тем больше интересных мест.

– Читающий в третий раз «Великого Гэтсби», пожалуй, может стать моим другом, – раздумчиво произнес он.

Так мы подружились. Было это в октябре.

Чем лучше мы узнавали друг друга, тем больше Нагасава казался мне странным малым. За свою жизнь мне приходилось знакомиться, общаться и расставаться с большим количеством странных людей, но такого странного я видел впервые. Он читал столько, что мне за ним было не угнаться, но брал в руки только книги писателей, после смерти которых прошло больше тридцати лет. И при этом говорил, что верит только таким книгам.

– Не подумай, что я не доверяю современной литературе. Просто не хочу тратить ни минуты на книги, не прошедшие проверку временем. Жизнь коротка.

– Какие авторы тебе нравятся? – спросил я.

– Бальзак, Данте, Джозеф Конрад, Диккенс, – немедленно ответил он.

– Современными их не назовешь.

– Потому и читаю. Будешь читать то же, что остальные, – начнешь думать, как все. А они – сплошь деревенщина, мещане. Приличный человек такой стыдобы не потерпит. Знаешь, Ватанабэ, в этом общежитии только два приличных человека: ты и я. Все остальные – шваль.

– С чего ты это взял?

– Просто знаю, и все. У них на лбу написано. Один взгляд – и сразу все понятно. К тому же, мы оба читаем «Великого Гэтсби».

Я посчитал в уме.

– Но Скотт Фитцджеральд умер лишь двадцать восемь лет назад.

– Какая разница? Из-за двух-то лет... Такому классному писателю можно и простить.

В общежитии никто не знал, что он – тайный почитатель классики. А если бы и узнали, вряд ли обратили внимание. Его, в первую очередь, считали очень умным человеком. Еще бы: без проблем поступил в Токийский университет, получал хорошие оценки, сдал экзамен в МИД и собирался стать дипломатом. Его отец имел в Нагоя крупную клинику, старший брат окончил медицинский факультет Токийского университета, чтобы продолжить дело отца. С виду – идеальная семья. Он всегда получал достаточно денег на карманные расходы, к тому же – выглядел прилично. Поэтому все обращали на него внимание, и даже в общежитии никто не смел ему перечить. Когда он кого-нибудь о чем-либо просил, человек выполнял просьбу безропотно. Иначе и быть не могло.

Был у него некий природный магнетизм, врожденная способность притягивать к себе людей. Он, как бы возвышаясь над остальными, моментально оценивал ситуацию, искусно и убедительно давал окружающим директиву, увлекая их за собой. Все с первого взгляда видели над его головой похожую на ангельский нимб ауру этой силы и с почтением понимали, что он – человек не простой. Поэтому все жутко удивились, узнав, что такой ничем не приметный парень, как я, был выбран в персональные друзья Нагасавы. Меня зауважали даже те, кого я вообще не знал. Причина такого, несмотря на всю простоту, была им непонятна. Я приглянулся Нагасаве потому, что нисколько перед ним не трепетал и не восхищался им. Я питал к нему интерес, как к личности местами весьма интересной, местами сложной. И мне были совершенно безразличны его успехи в учебе, аура или внешность. Пожалуй, мало кто к нему так относился.

В Нагасаве сочетались несколько диаметрально противоположных особенностей характера. Он был личностью настолько выдающейся, что я сам иногда диву давался, – и при этом оставался человеком по натуре недобрым. Хвастался утонченной душой, а при этом грешил неисправимым мещанством. Он управлял людьми и с оптимизмом двигался вперед, но его сердце одиноко билось в конвульсиях на дне мрачного болота. Я сразу разглядел в нем это противоречие и не мог понять, почему остальные не видят его с этой стороны. Этот человек по-своему стоял одной ногой в аду.

В целом же, можно сказать, мы дружили. Главной его добродетелью была откровенность. Он никогда не лгал и честно признавал собственные

ошибки и недостатки. Не пытался скрывать невыгодные для себя моменты. Всегда был вежлив со мной и во всем помогал. Если б не он, моя жизнь в общежитии была бы куда хлопотней и неуютней. Несмотря на это, я ни разу не доверился ему. И в этом смысле, моя дружба с Нагасавой была совершенно иной, нежели с Кидзуки. С тех пор, как Нагасава, изрядно выпив, жестоко обошелся с одной девчонкой, я решил, что не доверюсь этому человеку, что бы ни случилось.

О Нагасаве в общежитии ходило несколько легенд. Первая – что он съел целых три слизняка, другая – что у него огромных размеров пенис, и он переспал с доброй сотней девчонок.

История со слизняками была правдой. Как-то я поинтересовался, и он ответил, что так оно и было:

– Да. Съел три крупных слизняка.

– Зачем?

– Была причина, – ответил он. – Когда я въехал в это общежитие, между первокурсниками и старшими возникла небольшая потасовка. Было это в сентябре. Точно. Я пошел к старшекурсникам разбираться, а они все из «правых», у всех деревянные мечи. В такой обстановке не до переговоров. Вот я и подумал: сделаю все, лишь бы замять дело самому. Так и сказал им: «Давайте договоримся». А они: «Слабо проглотить слизняка»? «Запросто», – говорю. И проглотил. Они откуда-то достали три жирных...

– Ну и как?

– Как-как... Это может понять только тот, кто глотал слизняков... Противно, когда они, проскользнув в горло, стучаются о дно желудка. Слизкие, изо рта вонь. Как вспомню, так вздрогну. Изо всех сил сдерживался, чтобы там же не вырвало. Суди сам: выблюй я их перед этими уродами, пришлось бы глотать заново. В конце концов, проглотил все три.

– А потом?

– Разумеется, вернулся к себе, выпил воды с солью, – сказал Нагасава. – А что еще было делать?

– Это точно, – согласился я.

– Но с тех пор никто мне и слова сказать не может. Даже старшекурсники. Еще бы: кто еще может слизняков глотать? Никто.

– Никто, – повторил я.

Проверить размер пениса оказалось проще простого – стоило лишь сходить вместе в баню. Действительно, впечатляющий. Байка о ста девчонках оказалась преувеличением.

– Около семидесяти пяти, – подумав, ответил он. – Точно не помню, но больше семидесяти – это факт.

Я ему:

– А я – только с одной.

Он:

– Слушай, ничего сложного. В следующий раз пойдем со мной. Не бойся, получится.

Тогда я ему не поверил, но на деле все действительно оказалось очень просто. Настолько, что я чуть не разочаровался. Мы с ним заходили в какой-нибудь (как правило, знакомый) бар на Сибуя или Синдзюку, подсаживались к двум симпатичным подружкам (благо мир полон женских парочек), болтали, выпивали, потом шли в гостиницу и занимались сексом. Признаться, Нагасава был классным рассказчиком. Хотя разговоры у нас были, по сути, ни о чем. Когда он говорил, девчонки приходили в восторг, заслушивались, снова и снова отхлебывая из бокала, быстро пьянели и укладывались к нему в постель. Вдобавок ко всему, он был симпатичен, вежлив и внимателен: как только девчонок оказывались в его компании, у них поднималось настроение. Странно, однако, другое. С ним и я сам начинал казаться человеком пленительным. Стоило мне что-нибудь рассказать, и девчонки заслушивались точно так же и так же смеялись, будто говорил не я, а он. Всему причиной была его обаятельность. И каждый раз я ловил себя на мысли, какой у него полезный талант, по сравнению с которым красноречие Кидзуки начинало выглядеть детским лепетом. Совсем иной масштаб. Но даже под воздействием чар Нагасавы я нередко вспоминал Кидзуки и как бы в очередной раз убеждался, каким он был честным человеком. Он берег свой скромный талант ради нас с Наоко, а Нагасава разбрасывался им играючи. Он не собирался всерьез спать со всеми этими девчонками. Для него это была только игра.

Мне и самому не очень нравилось спать с незнакомыми. Согласен, то был легкий способ укротить собственное влечение. Мне было приятно с ними обниматься, прикасаться к ним. Противно было одно – утренние расставания. Просыпаешься, а рядом храпит очередная незнакомка, по всей комнате – запах перегара, кровать, лампа, шторы приторных, характерных для лав-отеля ^[11] расцветок, а голова раскалывается с бодуна. Вскоре просыпается она и принимается искать на ощупь нижнее белье. Затем, натягивая колготки, спрашивает: «Ты вчера не забыл надеть эту штуку? У меня сейчас как раз зачетные дни». Ворча, разглядывая себя в зеркале: мол, болит голова и макияж не получается, – красит губы и накладывает ресницы. Все это было не по мне. Признаться, я бы вообще не оставался в

гостинице до утра. Но убалтывать девчонку, помня о закрывающихся в полночь воротах^[12], никуда не годилось (и даже чисто физически это было невозможно), поэтому я всегда брал разрешение на ночлег вне общежития. Таким образом, ничего не оставалось, как дожидаться утра и возвращаться в общагу, проклиная себя и собственные иллюзии. Ослепительно светит в глаза солнце, во рту все ссохлось, на плечах, кажется, чужая голова.

Переспав таким образом три или четыре раза, я поинтересовался у Нагасавы:

– Тебя как, не опустошает? Вот так – семьдесят раз подряд?

– Если ты считаешь, что это должно опустошать, значит, ты не совсем конченный человек. И это радует. В бесконечных походах по женщинам ничего хорошего нет. Только устаешь и начинаешь себя ненавидеть. И я не исключение.

– Почему ты тогда продолжаешь?

– Трудно объяснить. Помнишь, как Достоевский писал об азартных играх. Вот и у меня примерно то же самое. Очень трудно пережить и пройти мимо окружающих тебя возможностей. Понимаешь?

– Ну да.

– Вечереет, на улицы выходят девчонки. Они тусуются, выпивают и требуют «нечто». А я это «нечто» могу им дать. Все очень просто. Как не представляет труда открыть кран с водой, чтобы попить. Раз – и ты уже ее повалил. А ей только того и надо. Это и есть возможность. Разве устоишь, когда они вертятся вокруг? Плюс ко всему, у тебя к этому есть способности и место, где ты можешь их применить. Неужели пройдешь мимо?

– Мне не приходилось бывать в таких ситуациях, поэтому не знаю. Даже представить себе не могу, – отшучивался я.

– В каком-то смысле, это – счастье, – сказал Нагасава.

Причиной тому, что он, мальчик из обеспеченной семьи, жил в общежитии, и было увлечение слабым полом. Отец, беспокоясь, что от жизни взаперти сын, в конце концов, начнет бегать по девкам, настаивал на общежитии. Нагасаве было все равно – он и так особо не обращал внимания на правила. Когда возникало желание, брал разрешение на ночевку в городе и выдвигался на охоту за очередной пассией или шел в гости к какой-нибудь подруге. Разрешение ночевать за пределами общежития было делом хлопотным, однако у него имелся как бы «свободный допуск». Стоило лишь обмолвиться. То же самое распространялось на меня.

У Нагасавы с самого поступления была и настоящая подруга. Они с Хацуми – так ее звали – были ровесниками. Я с ней познакомился. Очень

приятная девушка. Не такая красавица, чтобы на нее все заглядывались, можно даже сказать, внешности совершенно обычной, и сначала я даже подумал: что нашел в ней такой человек, как Нагасава? Но стоило заговорить с ней, и никто не мог оставаться равнодушным. Было в ней нечто. Спокойная, смышленная, с чувством юмора, доброжелательная, всегда изысканно одета. Она мне нравилась настолько, что, глядя на нее, я думал: была б у меня такая подруга, наверняка не спал бы с кем попало. Я, видимо, тоже произвел на нее впечатление, и она довольно настойчиво предлагала познакомить меня с кем-нибудь из младшекурсниц, чтобы устроить парное свидание. Но я не хотел повторять ошибок прошлого и под каким-то предлогом отказался. Хацуми училась в женском институте, известном скоплением дочерей мультимиллионеров. Не думаю, что я смог бы общаться с ними на равных.

Она догадывалась о регулярных похождениях Нагасавы, но ни разу за это его не упрекнула. Всем сердцем любила Нагасаву и ничего от него не требовала.

– Я ее не достоин, – говорил Нагасава. И я с ним был полностью согласен.

С наступлением зимы я нашел себе небольшую подработку в музыкальном магазине на Синдзюку. Платили немного, но работа была интересной, и меня устраивало, что достаточно приходить туда три раза в неделю по вечерам. К тому же я мог недорого покупать пластинки. На Рождество я подарил Наоко диск Генри Манчини с песней «Dear Heart», которая ей очень нравилась. Сам упаковал и перевязал его красной тесьмой. А Наоко связала мне шерстяные перчатки. Несколько жали пальцы, но главное – в них было тепло.

– Извини, я такая невнимательная, – покраснела от стыда Наоко.

– Все в порядке. Вот, смотри – помещаются. – Я натянул перчатки.

– Зато теперь ты не будешь засовывать руки в карманы, – сказала Наоко.

Она той зимой не поехала на зимние каникулы в Кобэ. Я тоже работал до самого конца года и как-то сам по себе остался в Токио. Вернись я домой, делать там было бы нечего: видется я ни с кем не собирался. На каникулах общежитская столовая не работала, и я ходил есть к Наоко. Мы жарили рисовые лепешки, варили незамысловатые супы.

В январе и феврале 1969 года много всего произошло.

В конце января Штурмовик свалился с температурой под сорок. Из-за чего мне пришлось на время забыть о свиданиях с Наоко. Я с трудом

достал нам с ней два пригласительных билета на концерт. Ей очень хотелось послушать свою любимую Четвертую симфонию Брамса. Однако Штурмовик метался в постели так, что казалось: он вот-вот коньки отбросит. Естественно, я не мог оставить его в таком положении и пойти на концерт. Найти сиделку не удалось, поэтому другого пути не было – только самому покупать лед, делать холодный компресс, вытирать влажным полотенцем пот, каждый час мерить температуру и даже переодевать его. Температура не спадала целые сутки. Однако уже на второе утро он подскочил и как ни в чем не бывало начал делать утреннюю гимнастику. Сунули градусник – тридцать шесть и два. «Ну не ирод ли?» – подумал я.

– Странно. У меня за всю жизнь ни разу не было температуры, – сказал Штурмовик, будто в этом был виноват я.

– Но ведь появилась, – разозлился я и показал ему два неиспользованных билета.

– Хорошо, что это всего лишь пригласительные, – сказал он. Я хотел было вышвырнуть его радио в окно, но у меня опять заболела голова, и я улегся в постель и уснул.

В феврале несколько раз шел снег.

В конце февраля я из-за какого-то пустяка ударил старшекурсника, жившего на одном этаже со мной. Тот въехал головой в бетонную стену. К счастью, рана оказалась пустяковой, и Нагасава проворно замял дело. Однако меня вызвали в кабинет коменданта и сделали предупреждение, что подпортило мою дальнейшую жизнь в общежитии.

Так закончился учебный год, пришла весна. Я завалил несколько зачетов. По остальным предметам получил свои обычные оценки «С» или «D», было даже несколько «В»^[13]. Наоко сдала все зачеты сразу и перешла на второй курс.

В середине апреля Наоко исполнилось двадцать. У меня день рождения – в ноябре, поэтому выходило, что она старше меня на семь месяцев. Двадцатилетие Наоко вызвало у меня странное чувство. Казалось, что нам обоим было бы справедливей перемещаться между восемнадцатью и девятнадцатью: после восемнадцати исполняется девятнадцать, через год – опять восемнадцать... Это еще можно было представить. Но ей уже двадцать. Столько же станет осенью и мне. Только мертвец навсегда остался семнадцатилетним.

В день рождения Наоко шел дождь. После занятий я купил поблизости торт и поехал к ней домой.

– Как-никак, двадцать. Нужно отпраздновать, – предложил я: на ее

месте я надеялся бы на то же самое. Проводить двадцатый день рождения в одиночестве казалось мне очень грустным занятием. Электричка была набита битком, к тому же, сильно качало. Когда я добрался до дома Наоко, торт напоминал своей формой развалины римского Колизея. Я достал и воткнул в него двадцать маленьких свечей. Поджег их от спички, закрыл шторы, потушил свет. Как настоящий день рождения. Наоко открыла вино. Мы выпили, разрезали торт.

– Уже двадцать... чувствую себя, как дура, – сказала Наоко. – Я еще не готова к этому возрасту. Странное состояние. Будто бы меня вытолкнули.

– У меня в запасе еще семь месяцев. Хватит, чтобы подготовиться, – рассмеялся я.

– Тебе хорошо – еще девятнадцать, – с завистью сказала Наоко.

За едой я рассказал ей, как Штурмовик купил новый свитер. Прежде свитер у него был один – школьный, темно-синий, и вот наконец Штурмовик решился на второй. Новый был красного и черного цветов с симпатичным вывязанным оленем. Прекрасная вещь, но когда он ее надел и вышел на улицу, все чуть не покатались со смеху. Понять причину такого веселья он не мог.

– Ватанабэ, посмотри, как я выгляжу? – попросил он, сев ко мне в столовой. – Может, что-нибудь на лицо прилипло?

– Ничего там нет. Все в порядке, – ответил я, еле сдерживаясь. – И свитер хороший. У тебя.

– Спасибо, – расплылся в улыбке Штурмовик.

Наоко слушала с интересом.

– Хочу его увидеть. Непременно. Хотя бы разок.

– Нельзя. Ты... будешь смеяться.

– Что, серьезно такой смешной?

– Могу поспорить. Я вижу его каждый день, и сам иногда не могу сдержаться.

Поужинав, мы вымыли посуду и расположились на полу: слушали музыку и допивали вино. Пока я цедил один бокал, она успела выпить два.

В тот день Наоко была на редкость разговорчива. Рассказывала о детстве, о школе, о своей семье. Долго и отчетливо – будто чертила подробную схему. Я не мог не восхищаться ее памятью, однако начал замечать в ее манере речи некую странность. Что-то в ней было не так. Неестественно и искаженно. Сами по себе истории казались осмысленными, но подвох крылся в связи между ними. История «А» внезапно переходила в содержащуюся в ней историю «Б». Затем в «Б»

возникала история «В» – и так до бесконечности. Первое время я учтиво поддакивал, но вскоре перестал. Поставил пластинку, а когда она закончилась, поменял на следующую. Когда послушали все, что у Наоко было, опять поставил первую. Пластинок оказалось шесть. Цикл начинался с «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» и заканчивался диском Билла Эванса «Waltz For Debby». За окном продолжал лить дождь. Время текло медленно, и Наоко продолжала рассказывать.

Неестественность эта объяснялась нежеланием касаться некоторых тем. Одна из которых – естественно, Кидзуки. Но мне показалось, что уклоняется Наоко не только от нее. Лавируя между нежелательными темами, она продолжала бесконечный монолог о пустяках. Но так самозабвенно она говорила на моей памяти впервые, и я давал ей выговориться.

Но когда стрелка на часах перевалила одиннадцать, я не на шутку заволновался: Наоко не замолкала уже больше четырех часов. Мне нужно было успеть на последнюю электричку, к тому же в общежитии закрывали ворота. Я дождался подходящего момента и вклинился.

– Мне уже пора. Скоро последняя электричка, – сказал я, глядя на часы.

Но она, видимо, не услышала меня. А если услышала, то не поняла, о чем речь. На секунду умолкла, и сразу же заговорила снова. Я отчаялся и решил допить вино. Мне казалось, что лучше ее не перебивать. И я решил: будь что будет – электрички, ворота...

Но рассказ Наоко вскоре иссяк сам собой. Когда я обратил на это внимание, она уже молчала. И лишь обрывок фразы остался висеть в воздухе. Если выразаться буквально, ее рассказ не закончился, а куда-то внезапно пропал. Она пыталась его продолжить, но ничего не получалось. Будто бы что-то испортилось. И испортил, скорее всего, я. До нее наконец дошел смысл моих слов: потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить их, а на продолжение истории энергии не хватило. Приоткрыв губы, Наоко отрешенно смотрела мне в глаза. И походила на механизм, которому вдруг отключили электричество. Ее глаза заволокла непрозрачная пленка.

– Я не хотел тебе мешать, – сказал я. – Просто уже поздно. Вот я и подумал...

На глаза ей навернулись слезы. Потекли по щекам, покатались на конверт пластинки. Их уже было никак не остановить. Наоко уперлась руками в пол и, слегка подавшись вперед, будто ее рвало, рыдала. Я впервые видел, чтобы рыдали так сильно. Я протянул руки и взял ее за плечи. Те мелко тряслись, и я машинально обнял ее. Наоко продолжала

бесшумно плакать. От слез и ее теплого дыхания моя рубашка промокла насквозь. Ее пальцы бегали по моей спине, словно отыскивая там что-то. Левой рукой я поддерживал девушку, а правой гладил ее прямые мягкие волосы. И долго стоял, ожидая, пока она перестанет плакать. Но она не унималась.

В ту ночь я переспал с Наоко. Я не знал, правильно поступаю или нет. Не знаю даже сейчас – спустя почти двадцать лет. И, пожалуй, не узнаю этого никогда. Но в ту ночь ничего другого не оставалось. Она завелась, она была в панике. Хотела, чтобы я ее успокоил. Я потушил свет, неспешно и нежно раздел ее и разделся сам. Мы обнялись. Теплой дождливой ночью мы не чувствовали холода. Я и Наоко во мраке безмолвно ласкали друг друга. Я целовал ее и гладил руками грудь. Наоко сжимала мой отвердевший пенис. Ее вагина стала горячей и влажной и требовала меня.

Когда я вошел в Наоко, ей стало очень больно.

– Первый раз? – спросил я, и она кивнула. Здесь я перестал что-либо понимать. Я думал, что Наоко все то время спала с Кидзуки. Я ввел пенис как можно глубже и замер, прижимая девушку к себе. Когда она вроде бы успокоилась, я начал медленно двигаться и, не торопясь, кончил. Наоко крепко обхватила мое тело и застонала. То был самый печальный возглас оргазма из тех, что мне прежде доводилось слышать.

Когда все было кончено, я спросил, почему она не спала с Кидзуки. Не следовало этого делать. Наоко отстранилась от меня и опять неслышно заплакала. Я достал из ниши фuton и уложил ее спать. А потом закурил, всматриваясь в ливший за окном апрельский дождь.

К утру дождь прекратился. Наоко спала, повернувшись ко мне спиной. А может, ни на минуту не смыкала глаз. Спала она или нет, но губы ее лишились слов, а тело стало твердым, словно замерзло. Я несколько раз попытался заговорить, но ответа не получил. Она даже не шелохнулась. Какое-то время я всматривался в ее обнаженные плечи, затем отчаялся и встал с постели.

На полу с вечера оставались конверт пластинки и стаканы, винная бутылка и пепельница. На столе – половинка развалившегося торта. Все выглядело так, будто время внезапно остановилось и обездвижело. Я собрал с пола вещи, выпил два стакана воды из-под крана. На столе у Наоко лежали словарь и таблица французских глаголов. К стене перед столом был приклеен календарь. Просто цифры – никаких картинок или фотографий. Белоснежный календарь, без надписей и пометок.

Я подобрал с пола одежду. Спереди рубашка оставалась леденяще влажной. Я сунулся в нее лицом и почувствовал запах Наоко. В лежавшем на столе блокноте написал: «Как успокоишься – позвони. Поговорим спокойно. С днем рождения». Взглянул в последний раз на плечи Наоко, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь.

Прошла неделя, но телефон молчал. В доме Наоко телефонов не было вообще, и в воскресенье я поехал в Кокубундзи. Дома ее не оказалось, и табличка на двери была снята. На окнах – плотно закрытые ставни. Я спросил у консьержа: оказалось, Наоко три дня как переехала. Куда, он не знал.

Вернувшись в общежитие, я написал длинное письмо на адрес ее родителей. Куда бы она ни уехала, письмо ей должны были переслать.

Я откровенно описал все, что чувствовал.

Мне многое до сих пор не понятно, я пытаюсь изо всех сил все это осознать, но потребуется время. Где я буду спустя это время, даже не могу себе представить. Поэтому я ничего не могу тебе обещать, не могу разбрасываться красивыми словами и ничего от тебя не требую. Мы слишком мало знаем друг друга. Но если ты дашь мне срок, я сделаю все, и мы станем ближе друг к другу. Я хочу еще раз встретиться с тобой и спокойно поговорить. Потеряв Кидзуки, я утратил собеседника, с которым мог откровенно делиться своим настроением. Думаю, то же самое можно сказать и о тебе. Пожалуй, мы нуждались друг в друге даже больше, чем думали сами. Из-за этого мы сделали большой крюк, и в каком-то смысле все исказилось. Может, я не должен был так поступать. Но иного выбора не оставалось. И то тепло и близость, что я тогда к тебе испытал, мне до сих пор не приходилось испытывать ни разу. Хочу, чтобы ты ответила. Каким бы ни был твой ответ.

Ответа не последовало.

Внутри у меня что-то обвалилось да так и осталось – невосполнимой зияющей пустотой. Тело стало неестественно легким, звуки – полыми. В будние дни я чаще, чем раньше, ходил на занятия и лекции. Там было скучно, с однокашниками разговаривать не приходилось, и делать там больше мне было нечего. В аудитории я садился один на крайнее место в первом ряду, слушал лекции, ни с кем не общаясь, в одиночестве обедал. Я бросил курить.

В конце мая в институте началась забастовка. Народ требовал «снести институт». «Хорошо, хотите снести – снесите, – думал я. – Разберите его по частям, истопчите ногами, сотрите в порошок. Плевать. Мне от этого только легче станет. Что потом делать – как-нибудь разберусь сам. Нужна помощь – могу и помочь. Давайте, начали».

Институт закрыли, лекции прекратились. Я начал подрабатывать в транспортной компании: ездил на пассажирском месте в грузовике и таскал туда-сюда грузы. Работа оказалась труднее, чем я предполагал. Первое время ныло все тело, и я с трудом вставал по утрам. Зато хорошо платили, я был занят работой и мог не думать о поселившейся внутри пустоте. Пять дней в неделю я подрабатывал экспедитором, три вечера сидел в музыкальном магазине. В свободные вечера, попивая виски, валялся дома и читал. Штурмовик не пил и даже не выносил запаха алкоголя. Стоило мне развалиться на кровати со стаканом виски, он начинал жаловаться, что не может в таких условиях делать уроки, и просил выпивать где-нибудь в другом месте.

– Сам иди, – сказал я.

– Но ведь в о-общезитии нельзя распивать алкоголь. Это же пра-пра-правило.

– Сам иди, – повторил я.

Больше он ничего не сказал. Мне стало противно, я вылез на крышу и напился там в одиночестве.

В июне я написал Наоко еще одно длинное письмо и отправил, как и в прошлый раз, на адрес ее родителей в Кобэ. Содержанием оно почти не отличалось от первого. Я только дописал: «Тяжко ждать ответ. Я хочу знать хотя бы одно: я тебя обидел или нет». Сбросив письмо в ящик, я почувствовал, как пустота в моем сердце стала еще глубже.

В июне я пару раз съездил с Нагасавой в город и переспал с девчонками. Причем, оба раза все вышло очень просто. Правда, одна девчонка устроила истерику, когда я затащил ее в постель и начал раздевать. Пыталась сопротивляться, но я и не собирался ее уговаривать, а лег в постель и открыл книгу. Вскоре она сама прильнула ко мне. Другая после секса захотела побольше обо мне узнать. Со сколькими девчонками я уже переспал, откуда родом, где учусь, какую люблю музыку, читал ли романы Осаму Дадзай^[14], куда хотел бы съездить, не считаю ли я, что ее грудь несколько больше, чем у других... ну и в том же духе. Я отвечал, покуда хватало сил, а затем уснул. Когда проснулся, она заявила, что хочет со мной позавтракать. Мы зашли в кафе, съели пресный тост и омлет, запивая жутким на вкус кофе. И она не переставала задавать мне вопросы:

кем работает мой отец, какие у меня были оценки в школе, когда у меня день рождения, приходилось ли есть лягушек и так далее. От ее болтовни у меня разболелась голова, и сразу после еды я сказал, что мне пора на работу.

– Мы еще увидимся? – уныло спросила она.

– Может, где-нибудь когда-нибудь и увидимся, – ответил я, и мы расстались.

Оставшись один, я подумал: что же такое я делаю? Я не должен был так поступать, но просто не мог себя сдержать. Тело мое изголодалось, оно жаждало секса, требовало женщин. Я спал с ними, а сам все время думал о Наоко. Бледно всплывало в мраке памяти ее нагое тело, ее дыхание, шелест дождя. И чем больше я о ней думал, тем сильнее становились голод и жажда. Тогда я шел на крышу, пил виски и пытался понять, куда меня несет.

В начале июля Наоко прислала короткое письмо.

Я долго не писала – извини. И пойми. Прошло немало времени, прежде чем я оказалась в состоянии написать. И переписываю это письмо уже в десятый раз. Нелегко мне даются письма.

Начну с конца. Я взяла академический отпуск на год. Хотя, как мне кажется, обратно я уже не вернусь. И академ – не более чем формальность. Для тебя такой поворот событий может показаться внезапным, но я уже давно думала об этом. Несколько раз хотела поделиться с тобой, но все никак не решалась сказать. Мне было страшно это произносить.

Но ты не принимай все это близко к сердцу. Так или иначе, все к тому шло. Не хотелось, чтобы мои слова тебя обидели. Если все-таки обидели – прости. Я просто хочу попросить тебя не винить себя за то, что со мной произошло. Расплачиваться за все должна только я сама. Весь этот год я лишь пыталась до последнего оттянуть неминуемое. И тем самым причинила тебе немало беспокойств. Но всему есть предел.

Съехав с квартиры в Кокубундзи, я вернулась в Кобэ к родителям и лечилась в больнице. Врач рассказал мне об одном подходящем для меня санатории в горах Киото, и я решила провести там некоторое время. Это не больница в прямом смысле слова, а такое заведение, которое можно посещать свободно, для адаптации. Подробно я опишу его тебе как-нибудь в следующий

раз. Пока я еще пишу с трудом. Сейчас мне необходимо успокоить нервы в тихом месте, огражденном от внешнего мира.

Спасибо тебе за тот год, что ты провел рядом со мной. Поверь, не ты виновен в моих бедах. Я считаю, что виновата сама.

Сейчас я еще не готова ко встрече с тобой. Не подумай, что я не хочу тебя видеть. Просто не готова – и все. Но как только я смогу, сразу тебе напишу. И тогда мы сможем лучше узнать друг друга. Ты правильно сказал: мы действительно должны лучше узнать друг друга.

До свидания.

Я раз сто перечитал письмо, и с каждым разом мне становилось невыносимо грустно. Примерно то же я испытывал, когда Наоко заглядывала в мои глаза. Я не мог ни выплеснуть эти чувства, ни хранить их в себе. Они были невесомы и бесформенны, как проносящийся мимо ветер. Я не мог примерить их на себя. Мимо медленно проплывал пейзаж. До меня не доносилось ни слова.

В субботу я, как и прежде, проводил время, сидя на стуле в коридоре. Звонка я ни от кого не ждал, но делать было совершенно нечего. Я включил прямую трансляцию бейсбольного матча, и делал вид, будто смотрю телевизор. Постепенно чувства эти словно пеленой разделили пространство между мной и телевизором, потом отсекли от него еще одну часть, за ней еще одну. Снова и снова – в конце концов, они стиснули меня, едва не касаясь моих рук.

В десять часов я выключил телевизор и пошел спать.

В конце того месяца Штурмовик подарил мне светлячка.

Светлячок сидел в кофейной банке. В нее Штурмовик налил немного воды и насыпал листьев. В крышке имелись мелкие прорези для воздуха. На улице было светло, и существо походило на обычного черного водяного жучка. Однако Штурмовик утверждал, что это, бесспорно, светлячок:

– Я о них читал.

У меня не было ни причин, ни оснований сомневаться:

– Хорошо, пусть будет светлячком. Только он какой-то сонный.

При каждой попытке выбраться наружу, насекомое скользило по стенке и съезжало на дно банки.

– Во дворе нашел.

– В этом? – удивился я.

– А ты разве не знал? В соседней гостинице для привлечения постояльцев каждое лето выпускают светлячков. Вот один и добрался сюда. – Штурмовик укладывал в сумку одежду и тетради.

С начала лета прошло несколько недель, и в общежитии оставались, пожалуй, только мы вдвоем. Я не хотел возвращаться в Кобэ и продолжал работать. Штурмовик проходил практику. Но теперь практика закончилась, и он собирался домой, в Яманаси^[15].

– Можно подарить его какой-нибудь девчонке. Наверняка будет рада.

– Спасибо, – поблагодарил я.

С заходом солнца общежитие погрузилось в тишину. Казалось, оно вообще превратилось в руины. С флагштока спустили флаг, из окон столовой лился свет. Студенты разъехались по домам, поэтому освещалась только половина зала – левая, а в правой было темно. Но едой все же пахло. На ужин приготовили тушеное мясо.

Я взял банку со светлячком и поднялся на крышу. Там никого не было, лишь на веревке сушилась кем-то забытая белая рубашка, которую вечерний ветерок раскачивал, как сброшенный кокон. Я взобрался по приставной лестнице еще выше, на водонапорную башню. Круглый бак хранил тепло солнечного дня. Я присел на тесной площадке, облокотился на перила, и на мгновение увидел прятавшуюся в облаках луну. По правую руку виднелись огни Синдзюку, по левую – Икэбукуро^[16]. Лучи автомобильных фар слились в яркую реку света, и она перетекала из одного квартала к другому. Различные звуки мешались в мягкий рокот, тучей нависавший над городом.

На дне банки едва различимо мерцал светлячок. Но свет его был слабым, цвет – бледным. Давно я не видел светлячков, но на моей памяти они светились под покровом летней ночи куда более отчетливо и ярко. Я задумался о том, что придает яркость их свечению.

Может, этот светлячок ослаб и умирает? Я взял банку за горлышко и слегка потряс. Светлячок ударился о стеклянную стенку и слегка подлетел. Но лучше светить не стал.

Я попытался вспомнить, когда в последний раз видел светлячков. И где? Ну же... И в памяти всплыл тот свет. Но где и когда это было, я припомнить не мог. Из ночной темноты донесся всплеск воды. Еще там был старый кирпичный шлюз. В действие его приводил ворот. Река, но не слишком большая, течение медленное, почти вся поверхность заросла ряской. Вокруг темно: если выключить фонарик, не видно даже собственных ног. И над заводью шлюза летают сотни светлячков. Их свет

отражается от воды, будто огненная пыльца.

Я закрыл глаза и погрузился во мрак памяти. Ветер дул резче. Вроде бы не сильный, но траектория его была удивительно ярка. А когда я открыл глаза, темнота летней ночи стала еще гуще.

Я открыл крышку, достал светлячка и посадил его на травинку, пробившуюся у основания водонапорной башни. Светлячок долго не мог понять, что его окружает. Он копошился вокруг болта, забегал на струпы сухой краски. Сначала двигался вправо, но когда понял, что там тупик, повернул влево. Затем неторопливо взобрался на головку болта и как бы присел на корточки. словно испустив дух, светлячок замер неподвижно.

Я следил за ним, откинувшись на перила. И долгое время ни я, ни он не шевелились, только ветер обдувал нас. Миллиарды листьев дзельквы шуршали друг другу в темноте.

Я был готов ждать до бесконечности.

Светлячок улетел не сразу. Будто о чем-то вспомнив, он внезапно расправил крылья и в следующее мгновение мелькнул над перилами и растворился в густом мраке. словно пытаясь нагнать упущенное время, начал спешно вычерчивать дугу возле башни. И дождавшись, когда полоска света растворится в ветре, улетел на восток.

Светлячок исчез, но во мне еще долго жила дуга его света. В толще мрака едва заметное бледное мерцание мельтешило, словно заблудшая душа.

Я тянул во тьме руку, но ни к чему не мог прикоснуться. Чуть-чуть не дотягивался до тусклого мерцания.

Глава 4

На летних каникулах институт вызвал спецназ, который снес баррикады и арестовал всех засевших за ними студентов. Тогда многие вузы прибегали к подобным мерам, и это вовсе не считалось делом неслыханным. Институты при этом не расформировывали. В них вкладывали немало средств, и после незначительных студенческих волнений руководство вряд ли сказало бы: «Ну что ж, ладно», – и самораспустилось. К тому же, обложившие наш институт баррикадами студенты вряд ли вообще хотели его распускать. Им лишь хотелось перехватить инициативу. Лично мне было абсолютно все равно, что произойдет с этой самой инициативой. И я не испытывал никаких эмоций, когда забастовку все-таки разогнали.

В сентябре я пошел посмотреть на институт, ожидая увидеть руины, но он нисколько не пострадал. Ни разграбленной библиотеки, ни разгромленных кабинетов преподавателей, ни сгоревшего студенческого корпуса. Я в изумлении думал: «Чем же они тут занимались?»

Бунтовщиков усмирили, после вторжения спецназа возобновились лекции, и первыми же на них пришли сами зачинщики. Они как ни в чем не бывало посещали занятия, вели конспекты, когда их вызывали – отвечали. Странная история. Ведь объявленное ими решение о забастовке оставалось в силе, ибо никто не объявил о ее завершении. Институт лишь ввел спецназ, который разрушил баррикады, поэтому забастовка, в принципе, продолжалась. Сотрясая воздух громкими словами, зачинщики эти осуждали студентов, не согласных с забастовкой, и даже подвергали их гонениям. Я поинтересовался, почему же они теперь не продолжают бастовать, но вразумительного ответа не добился. Им нечего было сказать. Они боялись не получить зачетов из-за пропуска занятий, и самое забавное, что они же призывали к роспуску института. Их голос то крепчал, то хирел, смотря откуда дул ветер.

«Эй, Кидзуки, здесь – жуткий мир», – думал я. Эти придурки получают зачеты, выходят в люди и строят общество подлецов.

Я решил некоторое время посещать занятия, но не отзываться на переключке. При этом я понимал всю бессмысленность такого решения, но ничего с собой поделать не мог. Однако по этой самой причине в группе мне стало еще более одиноко. Когда я молчал, не откликаясь на свою фамилию, в аудитории сгущался воздух. Никто со мной не разговаривал, да

и я ни к кому не обращался.

Началась вторая неделя сентября, и я пришел к выводу, что обучение в институте – занятие совершенно бессмысленное. Я решил несколько дней тренировать в себе выносливость к скуке. Брось я сейчас институт, выйди в люди – и что? Никаких особых планов у меня не было. Поэтому я ежедневно ходил на занятия, конспектировал лекции, а в свободное время шел в библиотеку, читал книги, искал необходимые материалы.

Началась вторая неделя сентября, а Штурмовик так и не возвращался. Не просто редкое явление, а событие воистину потрясающее. Занятия в его институте уже начались, и трудно было представить, что он способен их пропустить. Его стол и радио покрылись толстым слоем пыли. На полке чинно выстроились пластмассовый стакан и зубная щетка, банка с чаем и средство от насекомых.

Я решил сам прибираться в комнате, пока не вернется Штурмовик. За полтора года чистота в комнате вошла в привычку, и теперь ничего не оставалось, как поддерживать ее и без Штурмовика. Я каждый день подметал пол, раз в три дня мыл окна, раз в неделю сушил матрас и ждал, когда Штурмовик вернется и похвалит меня: «Ва-ватанабэ, что с тобой? Откуда такая чистота?»

Но он не вернулся. Однажды я пришел с занятий, а его вещей в комнате не оказалось. С двери сняли табличку с его именем, осталась одна моя. Тогда я пошел к коменданту узнать, что произошло со Штурмовиком.

– Съехал, – ответил комендант. – Так что живи пока один.

– А в чем дело? – поинтересовался было я, но комендант ничего не ответил. Такие типы испытывают безграничную радость от единовластного контроля, не утруждая себя объяснениями.

На стене еще какое-то время висела фотография айсберга, но вскоре я содрал ее и наклеил постеры Джима Моррисона и Майлза Дэвиса. Так комната стала слегка походить на мою обитель. На скопленные деньги я купил небольшой стереопроигрыватель. Вечерами, выпивая, слушал музыку. Иногда вспоминал Штурмовика, но на жизнь в одиночестве при этом не сетовал.

В понедельник с десяти утра у меня была лекция о Еврипиде из курса «История театра II», и закончилась она в полдвенадцатого. После лекции я отправился в ресторанчик – десять минут ходьбы от института. Там заказал омлет с рисом и салат. Ресторан располагался в стороне от шумной улицы.

Цены здесь несколько выше, чем в институтской столовой, зато тихо и спокойно. Омлет с рисом оказался очень даже ничего. Держали ресторан молчаливые супруги, у которых подрабатывала девушка. Пока я, сидя за столом у окна, поглощал свой обед, зашла студенческая компания: два парня и две девчонки, все опрятно одеты. Уселись у входа и, рассматривая меню, принялись обсуждать заказ. Вскоре один подозвал девушку и заказал на всех.

Тем временем я обратил внимание, что одна студентка посматривает на меня. С очень короткой прической, в темных очках, одета в белое мини-платье из хлопка. Лицо незнакомое. Я продолжал есть, но она встала и подошла ко мне. Положив руку на стол, назвала меня по имени:

– Ты же... Ватанабэ?

Я поднял глаза и внимательно всмотрелся в нее. Но припомнить все равно не смог. Хотя девушка симпатичная, если бы я раньше с ней где-нибудь встречался, то теперь наверняка бы вспомнил. К тому же, мало кто в этом институте знал меня по фамилии.

– Можно присесть? Или кто-нибудь придет... сюда?

Я, по-прежнему ничего не понимая, кивнул: «Никто не придет. Пожалуйста».

Она с грохотом выдвинула стул, села напротив, уставилась из-за своих солнечных очков, а затем перевела взгляд на мою тарелку.

– По виду объедение.

– Точно. Вкусно. Омлет с грибами и салат с зеленым горошком.

– А-а, – протянула она. – Закажу в следующий раз. Сегодня уже поздно.

– И что ты выбрала?

– Гратин из макарон.

– Тоже неплохо, – сказал я. – Кстати, где мы с тобой встречались? Никак не могу припомнить.

– Еврипид, – кратко ответила она. – «Электра». «Нет, боги не желают слышать печальных новостей». Только что закончилась лекция.

Я взгляделся пристальнее. Она сняла очки, и тут я наконец-то вспомнил, что действительно видел ее – первокурсницу – на лекции «История театра II». Но узнал не сразу – у нее сильно изменилась прическа.

– До каникул у тебя волосы были вот такой длины, – показал я рукой ниже плеча на добрый десяток сантиметров.

– Да. Решила сделать химию. Каким-то жутким составом. Вот и пришлось... Даже думала покончить с собой. Нет, я серьезно – такой мерзкий был вид. Как утопленница с водорослями на голове. Но чем

умирать, решила, что лучше постричься наголо. Голове прохладно, но это ничего. – И она, погладив отросшие на четыре-пять сантиметров волосы, озорно улыбнулась мне.

– Совсем неплохо выглядишь, – заметил я, доедая омлет. – Ну-ка, повернись боком.

Она повернулась в профиль и замерла секунд на пять.

– Тебе идет. Голова правильной формы. И уши смотрятся симпатично.

– Точно. Это я сама знаю. Как постриглась, подумала: а почему бы и нет? Правда, ни один парень мне об этом не сказал. От них только и слышишь: «прямо первоклассница» или «как из концлагеря». Слушай, а почему парням нравятся девчонки с длинными волосами? Это же чистый фашизм вообще. Почему они думают, что все длинноволосые – непременно воспитанные, нежные и женственные? Я знаю двести пятьдесят пошлых длинноволосых девиц. Нет, правда.

– Ты мне больше нравишься как сейчас, – сказал я. И это была правда. С длинными волосами, насколько я помнил, она казалась мне обычной хорошенькой девчонкой. А теперь жизнь так и била из нее – она походила на выпорхнувшую из гнезда весеннюю птицу. Глаза ее жили на лице отдельно: радовались, смеялись, сердились, изумлялись и смирялись. Я давно не видел настолько живого лица и разглядывал его с восхищением.

– Ты серьезно?

Я кивнул, не отрываясь от салата.

Она снова надела очки и посмотрела на меня сквозь черные стекла.

– Слушай, ты же не врешь, правда?

– Ну, стараюсь быть честным человеком.

– Хм.

– А почему ты носишь такие темные очки? – спросил я.

– Без волос мне вдруг стало очень неудобно. Будто меня голой выбросили в толпу. Никак не могла успокоиться, и стала носить очки.

– Вон в чем дело, – сказал я. Она с интересом следила за тем, как я доедаю омлет. – Тебя там не потеряют? – спросил я, показав на ее спутников.

– В общем-то, нет. Принесут еду – вернусь. Может, я мешаю тебе есть?

– Так ведь я уже доел, – сказал я и, видя, что она не собирается возвращаться за свой столик, заказал кофе. Хозяйка унесла тарелки и поставила мне сахар и сливки.

– А почему ты на лекции не отозвался на перекличке? Твоя же фамилия – Ватанабэ? Ватанабэ Тоору.

– Да.

- Тогда почему ты промолчал?
- Сегодня не хотелось отвечать.

Она сняла очки, положила их на стол и впилась в меня взглядом, будто заглядывая в клетку с редкими животными.

– «Сегодня не хотелось отвечать», – повторила она. – Ты говоришь, как Хамфри Богарт. Спокойно и уверенно.

- Да ну? Я обычный. Таких, как я – пруд пруди.

Хозяйка принесла мне кофе. Сахар и сливки я добавлять не стал, а принялся отхлебывать его мелкими глотками.

- Ого. Ты тоже пьешь без сахара и сливок.
- Просто не люблю сладкое. Ты меня с кем-то путаешь.
- Почему ты такой загорелый?
- Две недели путешествовал пешком. То там, то здесь. Брал с собой

рюкзак и спальник. Вот и загорел.

- И где бывал?
- От Канадзавы до полуострова Ното, и дальше до Ниигаты.
- Один?
- Да, – ответил я. – Но иногда случались попутчики.
- Как романтично. Познакомиться в пути с девчонкой...

– Романтично? – воскликнул я. – Слушай, ты явно заблуждаешься. Где и как может человек со спальником за спиной и густой щетиной попасть в романтическую ситуацию?

- А ты всегда путешествуешь один?
- Да.

– Любишь одиночество? – спросила она, подпирая руками щеки. – В одиночку путешествуешь, в одиночку ешь, сидишь на занятиях в стороне от всех.

– Я не люблю одиночество. Просто не завожу лишних знакомств, – сказал я. – Чтобы в людях лишний раз не разочаровываться.

Она зажала зубами дужку очков и сухо повторила:

– «Я не люблю одиночество. Просто не терплю разочарований». Когда соберешься писать мемуары, реплика придется кстати.

- Спасибо.
- Любишь зеленый цвет?
- С чего ты взяла?

– На тебе зеленая тенниска. Потому и спрашиваю, любишь зеленый или как?

- Да, в общем-то, нет. Мне все равно.
- «Да, в общем-то, нет. Мне все равно», – опять повторила она мои

слова. – Мне очень нравится, как ты говоришь. Будто красиво штукатуришь стену. Кто-нибудь тебе говорил? Такое?

– Нет, – ответил я.

– Меня зовут Мидори^[17]. Но зеленый цвет совсем не к лицу. Странно, да? Тебе не кажется, что это несправедливо? Словно проклята на всю жизнь... Знаешь, мою старшую сестру зовут Момоко. Чудное имя, правда?

– И ей идет розовый^[18]?

– Еще как. Будто рождена носить все розовое. Видишь, какая несправедливость?

На ее стол принесли еду, и парень в полосатом пиджаке позвал:

– Эй, Мидори, иди есть.

Она повернулась и жестом показала, что поняла.

– Слушай, ты лекции конспектируешь? По «Истории театра II»?

– Да, а что?

– Будь другом, дай списать? Я пропустила две, а в той группе у меня знакомых больше нет.

– Бери, конечно. – Я достал из сумки тетрадь, проверил, нет ли там лишних записей, и передал Мидори.

– Спасибо. Ватанабэ, а ты послезавтра пойдешь в институт?

– Пойду.

– Тогда приходи сюда в двенадцать. Верну тетрадь, заодно угощу тебя обедом. Пищеварение не расстроится, если будешь есть не один?

– С какой стати? – сказал я. – Только не нужно благодарностей. За какой-то конспект.

– Ладно тебе. Я люблю благодарить людей. Ну как, идет? Ты не записал. Не забудешь?

– Не забуду. Послезавтра в двенадцать встречаемся с тобой здесь.

Из-за спины раздалось:

– Эй, иди скорей, а то все остынет.

– Ты давно научился так говорить? – не реагируя на зов, спросила Мидори.

– Наверное, да. Я сам не обращал на это внимания, – ответил я. И действительно, она сказала мне об этом первой.

Мидори о чем-то задумалась, но вскоре улыбнулась, встала и пошла за свой стол. Когда я проходил мимо, она помахала мне. Остальные трое лишь скользнули по мне взглядами.

В среду в двенадцать Мидори в ресторане не появилась. До ее прихода

я решил выпить пива, но ресторанчик начал заполняться публикой, и пришлось заказать еду и поесть одному. Когда я закончил, было уже двенадцать тридцать пять, но она так и не пришла. Я расплатился, вышел на улицу и сел на каменную лестницу к маленькому храму, чтобы развеять пивной хмель, а заодно подождать Мидори до часу, но все было тщетно. Так и не дождавшись, я вернулся в институт, почитал в библиотеке книгу, а в два часа пошел на семинар по немецкому.

После занятий зашел в учебный отдел, проверил журнал посещаемости и нашел в группе «История театра II» ее имя. Студентка по имени Мидори была только одна – Мидори Кобаяси. Затем я нашел в картотеке студентов 1969 года поступления карточку на имя «Кобаяси Мидори» и записал ее адрес и номер телефона. Она жила в районе Тосима, в частном доме. Я пошел к автомату и набрал номер.

- Алло, «Книжный магазин Кобаяси».
- Извините, можно позвать Мидори?
- Нет, ее сейчас нет.
- Она в институте?
- Кажется, в больнице. А кто говорит?

Я, не называя себя, вежливо попрощался и повесил трубку. В больнице? У нее травма? Или заболела? Однако в мужском голосе не чувствовалось тревоги: «Кажется, в больнице». Такой тон, будто больница – часть ее жизни. Прозвучало непринужденно, вроде «пошла за рыбой в лавку». Я задумался, но потом все надоело, и я вернулся в общагу и завалился на кровать с «Лордом Джимом» Джозефа Конрада, которого накануне взял почитать у Нагасава. Дочитав последние главы, я пошел вернуть ему книгу.

Нагасава как раз собирался идти на ужин, и я составил ему компанию.

– Ну и как МИДовский экзамен? – поинтересовался я. В августе проводилась вторая ступень экзамена на высший разряд в МИД.

– Обычно, – ответил Нагасава как ни в чем не бывало. – Сдается очень просто. Коллективная дискуссия или там собеседование... девчонку прибалтываешь точно так же.

- Ну то есть, все в порядке? – спросил я. – А когда результаты?
- В начале октября. Если пройду, с меня ресторан.

– Интересно, что это такое – «вторая ступень экзамена на высший разряд в МИД»? Наверное, все такие же умные, как и ты?

– Ерунда. Почти все – болваны. А если не болваны, то дегенераты. Девяносто пять процентов стремящихся стать чиновниками – отребье. Я не вру. Они читать-то толком не умеют.

– Тогда зачем ты поступаешь в МИД?

– По разным причинам, – ответил Нагасава. – Например, мне нравится работа за границей и так далее. Но самое главное – я хочу проверить свои силы. А если проверять, то на высшем уровне. Ну, то есть, на государственном. Докуда я смогу подняться в таком огромном чиновничьем аппарате, как МИД. На что у меня хватит сил. Понимаешь?

– Со стороны похоже на игру.

– Это игра и есть. У меня нет стремления к власти или деньгам. Нет, правда. Может, конечно, я ничтожный и своенравный, но не так, чтобы очень. Как говорится, я – сама беспристрастность и бескорыстие. При этом, человек любопытный. И хочу попробовать на зуб этот бескрайний и жестокий мир.

– И у тебя нет идеалов?

– Куда там? – воскликнул он. – Они и по жизни-то не нужны. Ведь требуются не идеалы, а норма действий.

– Но многие живут иначе, – возразил я.

– Тебе не нравится жить, как я?

– Да при чем тут? – запротестовал я. – Ни то и ни другое. Ведь так? Это не я поступаю в Токийский университет. Не я сплю с понравившимися девчонками, когда заблагорассудится. Не у меня подвешен язык. Не на меня все обращают внимание. У меня и девчонки своей даже нет. О чем можно мечтать, окончив филфак второсортного частного института? Что ты на это скажешь?

– То есть, ты завидуешь моей жизни?

– Нет, не завидую, – ответил я. – Я для этого слишком привык к себе. И, если честно, мне безразличны и Токийский университет, и МИД. Я завидую тебе только в одном: что у тебя такая классная подруга – Хацуми.

Он какое-то время ел молча.

– Знаешь, Ватанабэ, – заговорил Нагасава после еды, – мне кажется, мы с тобой где-нибудь встретимся лет этак через десять-двадцать. Что-то сведет нас вместе...

– Ну, ты прямо по Диккенсу говоришь. – Меня даже смех разобрал.

– Точно, – засмеялся и он. – Однако мои предчувствия часто сбываются.

После еды мы пошли чего-нибудь выпить в соседний бар. И просидели там до девяти вечера.

– Скажи, а какая у тебя норма действий? – спросил я.

– Ты что, шутишь?

– Не шучу. Мне интересно.

– Быть джентльменом.
Я не засмеялся, но чуть не упал со стула.
– Джентльменом – в смысле, как те джентльмены?
– Именно. *Те* джентльмены.
– А что это значит – быть джентльменом? Расскажи, если есть какие-нибудь правила.
– Делать не то, что тебе хочется, а то, что ты должен.
– Ты – самый странный человек из всех, кого я встречал до сих пор.
– А ты – самый серьезный из всех, кого встречал я, – сказал он и сам заплатил по счету.

В следующий понедельник на лекции «История театра II» Мидори опять не оказалось. Я окинул взглядом аудиторию и, убедившись, что ее нигде нет, сел на первый ряд и до прихода преподавателя решил написать письмо Наоко. Описал свои путешествия в летние каникулы. Дороги, по которым ходил; города, которые оставлял позади; людей, которых встречал.

...И как становилось грустно по вечерам, – писал я. – Без тебя, я понял, как ты мне нужна. В институте – беспредельная скука, но я посещаю занятия – для самотренировки. Без тебя мне все, что ни делаю, кажется ничтожным. Хочу скорее встретиться с тобой и обо всем не спеша поговорить. Хотя бы на несколько часов приехать к тебе в санаторий. Это возможно? Если да, то мне хочется, как и прежде, погулять рядом с тобой. Если не трудно, напиши хоть несколько строк.

Закончив это короткое письмо, я аккуратно сложил четыре листка в заранее подготовленный конверт и вписал адрес родителей Наоко.

Вскоре пришел угрюмый низенький преподаватель, проверил посещаемость и промокнул платком пот на лбу. Он хромотал и всегда опирался на металлическую трость. «Историю театра II» нельзя было назвать интересным предметом, но прослушать курс лекций стоило.

– Да, по-прежнему жарко, – сказал препод и начал рассказ о роли «бога из машины» в драме Еврипида. И чем отличаются боги Еврипида от богов у Эсхила и Софокла. Через пятнадцать минут дверь аудитории отворилась и вошла Мидори. На ней была темно-синяя спортивная майка и кремовые хлопковые брюки. На лице – те же темные очки. Она улыбнулась преподавателю: мол, вы же не сердитесь, что я опоздала? – и уселась рядом со мной. Достала из сумочки конспект и протянула мне. В тетрадь была

вложена записка «Извини за среду. Обиделся?»

Прошла примерно половина лекции, преподаватель чертил на доске схему устройства сцены греческого театра. Опять отворилась дверь, и вошли два студента в шлемах. Как пара комиков. Один – худой и бледный верзила, другой – коротышка с круглым землистым лицом и нелепой бородкой. Долговязый держал в руках агитационные листовки, а круглолицый подошел к преподавателю, заявил, что хочет устроить дискуссию и предложил закончить лекцию:

– Современный мир распирают проблемы серьезней греческих трагедий.

Это было не требование, а обычное предупреждение.

– Я не считаю, что в современном мире существуют проблемы глубже греческих трагедий, но спорить с вами бесполезно, поэтому поступайте, как заблагорассудится, – ответил преподаватель, крепко схватился за крышку стола, спустился с кафедры, взял трость и, прихрамывая, вышел из аудитории.

Пока долговязый раздавал листовки, круглолицый взобрался на кафедру и начал речь. Листовки были написаны телеграфно, примитивно, никакого стиля: «Упразднить мошеннические выборы ректора», «Сплотить силы для новой всеобщей забастовки», «Вбить клин в имперский образовательно-индустриальный комплекс». Сама по себе доктрина великолепна, ее содержание – неоспоримо, но в тексте отсутствовала убедительность. А без доверия разве можно увлечь за собой сердца? Да и речь круглолицего не блистала новизной. Все та же старая песня: та же мелодия, только в словах падежи перепутаны. Я подумал: истинный враг этих людей – не государственная власть, а отсутствие воображения.

– Пойдем отсюда, – предложила Мидори.

Я кивнул, и мы двинулись к выходу. Круглолицый что-то сказал, но я не расслышал, а Мидори лишь сделала ему ручкой: пока, мол.

– Мы, наверное, – контрреволюционеры, – сказала Мидори, когда мы вышли из аудитории. – Грянет революция, и нас повесят в ряд на фонарных столбах.

– Пока не повесили, неплохо бы пообедать.

– Точно. Не совсем рядом, но есть тут один ресторан, куда я хочу тебя сводить. У тебя как со временем?

– Нормально. Все равно до двух делать нечего.

Мы сели в автобус и доехали до глухого отдаленного квартала в Йоцуя. Мидори привела меня в небольшое заведение: там подавали бэнто [19]. Мы сели за стол, и нам сразу же принесли два лакированных подноса с

комплексом сегодняшнего дня и супом. Действительно, стоило ехать.

– Вкусно.

– Ага. И при этом достаточно дешево. Я изредка приходила сюда обедать, когда училась в старшей школе. Знаешь, она ведь рядом. Очень строгая школа. Мы ходили обедать сюда тайком. Застукай нас кто-нибудь из преподавов, могло бы дойти до исключения.

Мидори сняла очки: глаза ее покраснели и припухли. В прошлый раз такого не было. Она поправила серебряный браслет на левом запястье и потерла мизинцем глаз.

– Хочешь спать?

– Да, недосыпание. Трудные дни, но все в порядке. Не обращай внимания, – сказала она. – Извини за прошлый раз, у меня возникло срочное дело. Причем стало известно только утром, и я уже ничего не могла поделать. Хотела позвонить в тот ресторан, но оказалось, что даже не помню его название. Твоего номера я тоже не знаю. Ты долго ждал?

– Не переживай. У меня избыток свободного времени.

– Так уж избыток?

– Даже частички хватит тебе выспаться.

Опершись щекой на ладонь, Мидори широко улыбнулась:

– А ты – добрый.

– Вовсе не добрый, просто у меня много свободного времени. Кстати, в тот день я звонил тебе домой, и кто-то из твоих домашних сказал, что ты в больнице. Что-нибудь случилось?

– Звонил домой? – Над ее бровями пробежали морщинки. – Откуда ты знаешь мой номер?

– Все очень просто: посмотрел в учебном отделе. Это не запрещается.

– А-а, – кивнула она и принялась тереть браслет. – Я не догадалась. Выходит, я так же могла узнать и твой? А про больницу расскажу как-нибудь потом. Сейчас не хочется. Прости.

– Ничего страшного. Такое ощущение, будто спросил что-то лишнее.

– Ерунда. Просто я сейчас немного устала. Как вымокшая под ливнем обезьяна.

– Может, тебе лучше вернуться домой и поспать?

– Не сейчас. Давай немного прогуляемся.

Мы зашагали от станции Йоцуя и через некоторое время оказались перед школой Мидори. Проходя мимо станции, я невольно вспомнил бесконечные прогулки с Наоко. Если разобраться, все началось именно с этого места. Я подумал: если бы мы не встретились с нею в тот майский день в электричке Центральной линии, моя жизнь сложилась бы совсем

иначе. И сразу же в голове пронеслась другая мысль. Даже если бы не встретились тогда, рано или поздно это бы произошло. Видимо, встретились, потому что должно было произойти. Если б даже разминулись в электричке, повстречались бы где-нибудь в другом месте. Мысль, конечно, нелепая, но я не мог от нее отвязаться.

Мы с Мидори сели на скамейку и стали разглядывать ее бывшую школу. Здание оплетал плющ, на карнизах отдыхали голуби. Внушительное строение. Во дворе рос огромный дуб, и откуда-то сбоку от него в небо поднималась струйка белесого дыма. В теплых лучах почти летнего солнца этот дым казался вдвойне прозрачным.

– Ватанабэ, знаешь, что это за дым?

– Нет.

– Это горят женские прокладки.

– Да ну? – А что еще скажешь в такой ситуации?

– Прокладки, тампоны и тому подобное, – улыбнулась Мидори. – Все выбрасывают в мусорное ведро в туалете. Школа-то женская. А дед-уборщик их собирает и сжигает в печи. Вот от них и дым.

– От одной мысли жуть берет.

– Я тоже содрогалась, когда на уроках видела этот дым. С ума сойти. Наша школа – средняя и старшая вместе. В общей сложности, в ней около тысячи девочек. Допустим, у некоторых менструация еще не началась. Но пятая часть от девятистот... Примерно сто восемьдесят человек. Выходит, ежедневно в мусорку выбрасываются сто восемьдесят прокладок.

– Получается, так. Хотя, я не совсем понимаю всю эту арифметику.

– Главное тут – много. Целых сто восемьдесят человек. Интересно, каково человеку все это собирать и сжигать?

– Даже не представляю, – сказал я. Да и откуда мне такое знать? И мы посидели еще, наблюдая за дымом.

– По правде говоря, я не хотела идти в ту школу. – Мидори еле заметно кивнула. – Меня вполне устраивала государственная. Ну, то есть, обычная школа, в которой учатся обычные ученики. Юность хотелось провести приятно и неторопливо. Да только отец настоял. Сам знаешь: если кто-нибудь заканчивает начальную школу с хорошими оценками, его определяют в престижную школу. Вот и меня определили. Шесть лет проучилась, но так и не привыкла. Только и думала – скорей бы отсюда выйти, скорей бы. И так – все шесть лет. Кстати, за все время у меня не было ни единого пропуска или опоздания. Даже грамоту за это вручили. Настолько я не любила школу. Понимаешь, почему?

– Нет.

– Я ее ненавидела до смерти, поэтому ни разу не прогуляла. Все время думала: неужели уступлю? Поддашься один раз и... конец. Боялась, что потом уже себя не удержу. Ползла на занятия даже с температурой под сорок. Учителя спрашивали: «Эй, Кобаяси, ты не заболела?» «Нет, все в порядке», – врала я и держалась из последних сил. Вот так, за посещаемость без единого пропуска и опоздания получила грамоту и в подарок – французский словарь. Поэтому и в институте начала учить немецкий. Думаешь, я хотела быть хоть в чем-то благодарной той школе? Ни за что в жизни.

– Почему ты ее так ненавидела?

– А тебе что, в школе нравилось?

– Ни то, ни другое. Я ходил в обычную муниципальную школу и особо не обращал внимания.

– В той школе, – Мидори потеряла глаз мизинцем, – учились отпрыски элиты. Около тысячи таких утонченных примерных девиц. В общем, дочери толстосумов. Иных там не держали. Суди сам: учеба дорогая, регулярно собирают пожертвования, если едут на экскурсию – непременно полностью снимают дорогую традиционную гостиницу с ужином на лакированной посуде, раз в год изучают застольные манеры в ресторане «Оокура»^[20]. Одним словом, высокий уровень. Кстати, знаешь... из ста шестидесяти учениц только я жила в районе Тосима. Один раз специально проверила классный журнал. Хотела узнать, кто где живет. Круто: Самбаммачи в Чиёда, Мотоадзабу в Минато, Дэнъэнчёфу в Оота, Сэйдзё в Сэтагая^[21] и дальше по списку – в том же духе. Только одна жила в префектуре Чибэ – в городе Касива. С ней я и подружилась. Хорошая девчонка. Приглашала к себе в гости. Извинялась, что далеко ехать. Я поехала – и чуть дара речи не лишилась. Чтобы обойти все их поместье, потребовалось минут пятнадцать. Огромный двор, а посередине две собаки размером с малолитражку грызут шматы говядины. Так у этой девочки в классе развился комплекс неполноценности, что живет в Чибэ. А если она опаздывала, ее подвозили к школе на «мерседесе». Причем, с водителем, как в «Зеленом шершне» – в фуражке и белых перчатках. А ей при этом стыдно. Уму непостижимо. Нет, ну ты представляешь?

Я кивнул.

– Специально проверила, что в Кита-Ооцука района Тосима из всей школы жила одна я. К тому же, в графе «место работы родителей» значилось: «управление книжным магазином». Как белая ворона. Говорили: «Хорошо тебе – можешь сколько угодно книжки читать». Чего смеяться?

Все представляют огромный магазин, вроде «Кинокунии»^[22]. Они при словах «книжный магазин» ничего мельче себе представить не могут. На самом деле, все намного ужасней. «Книжный магазин Кобаяси». Ничтожный книжный магазин Кобаяси. Дверь открывается с грохотом, перед глазами – разложенные в ряд журналы. Самый ходовой товар – женские. С заклеенной вставкой «Новая техника секса и иллюстрации сорока восьми поз». Весьма популярно у соседских домохозяек, которые покупают журнал, внимательно изучают его за кухонным столом, а когда вернется муж, пробуют эти самые сорок восемь поз. И кто знает, что у них при этом в голове. Еще манга. Тоже хорошо продается. Журналы «Санди», «Джамп». Конечно, еженедельники. В общем, сплошные журналы. Есть немного художественной литературы, но это так – для ассортимента. Потому что хорошо расходятся одни детективы, исторические романы да женское чтиво. Еще справочная литература. Например, «Правила игры в го», «Разведение бонсай», «Особенности речи на свадьбе», «Что необходимо знать о половой жизни», «Как быстро бросить курить» и прочая дребедень. Мы торгуем даже канцтоварами: рядом с кассой разложены тетради, ручки и карандаши. И все. Ни «Войны и мира», ни «Опоздавшей молодежи» Кэндзабуро Оэ, ни «Над пропастью во ржи». Вот такой он – «Книжный магазин Кобаяси». Чему здесь можно завидовать? Ты, например, завидуешь?

– Я его себе представил.

– Так и живем. Все соседи покупают у нас, мы доставляем на дом, старые клиенты от нас не уходят. Так что на жизнь семье из четырех человек хватает. Долгов нет. Обе дочери учатся в институтах. Но не более того. Ни на что эдакое в семье возможности нет. Поэтому не следовало отдавать меня в такую школу. Там только чувствуешь себя ущербной. Отец постоянно бурчит, когда требуют очередные взносы, меня саму дрожь пробирает, когда на очередной экскурсии иду со всеми на обед в дорогой ресторан и думаю, хватит ли денег. Не жизнь, а сплошные потемки. Твои родители, наверное, богатые?

– Мои? Простые служащие. Не богатые и не бедные. Думаю, учить меня в частном институте в Токио им тяжело, но я – единственный ребенок, так что не проблема. Правда, на жизнь присылают немного, поэтому я подрабатываю. Словом, обычная семья. Есть маленький дом, «королла».

– А где подрабатываешь?

– Три раза в неделю в музыкальном магазине на Синдзюку. Работа – не бей лежачего. Сиди себе, да присматривай за товаром.

– А я подумала, что у тебя денег навалом. Просто у тебя такой вид.

– Ну, от нехватки денег я, в общем-то, не страдаю. Но их при этом не так уж много. Как и у многих в этом мире.

– В моей школе почти все были из богатеньких, – сказала Мидори, положив руки на колени ладонями вверх. – И в этом – главная проблема.

– Ну тебе еще предстоит насмотреться на иной мир.

– Как ты думаешь, в чем главное преимущество богачей?

– Не знаю.

– Они могут легко говорить: «Нет денег». Например, я предлагаю какой-нибудь однокласснице что-нибудь сделать, а она отвечает: «Не могу. У меня сейчас нет денег». Случись наоборот – и я не могу сказать то же самое. Если я скажу, что у меня нет денег, значит, их у меня действительно нет. Как это ни прискорбно. То же самое, если красивая девчонка скажет: «Я сегодня плохо выгляжу, поэтому никуда не пойду». Попробуй то же самое сказать дурнушка – подымут на смех. Вот таким был мой мир. Шесть лет до прошлого года.

– Скоро забудется.

– Скорей бы. Знаешь, я поступила в институт и вздохнула с облегчением. Здесь много простых людей.

Мидори еле заметно улыбнулась и потрепала рукой свой ежик.

– А ты где-нибудь подрабатываешь?

– Да. Пишу комментарии к картам. Когда покупаешь карты, в комплекте идет приложение: описание города, населения, туристических мест. Здесь есть такой-то пешеходный маршрут, об этом месте ходят такие-то легенды, а там цветут такие цветы, поют такие птицы. Моя работа – писать эти комментарии. Раз плюнуть. Стоит сходить в библиотеку Хибия^[23], посидеть денек над книгами – и один комментарий за день. Главное – соблюдать некоторые тонкости, и работы будет сколько угодно.

– Тонкости? Какие тут могут быть тонкости?

– Короче, вкраплять в текст то, чего не напишет никто другой. Тогда редактор из картографической фирмы подумает, что ты умеешь писать хорошо, проникнется и будет подбрасывать заказы постоянно. Впрочем, ничего особенного и не требуется, достаточно мелочи. Например: «Для строительства этой плотины пришлось затопить целую деревню, но перелетные птицы не забыли о ней, и каждый год можно видеть, как они кружат над озером». Добавь такой эпизод – и все будут счастливы. Суди сам: и живописно, и эмоционально. Никто из других девчонок до этого не додумывается. Почти. Вот я и зарабатываю прилично. Комментирую.

– Хорошо, что ты замечаешь такие эпизоды.

– Да. – Мидори задумчиво склонила голову. – Захочешь заметить – так

или иначе заметишь. А если не получится, достаточно писать посредственно.

– Вот как?

– «Пи-ис»^[24].

Она хотела узнать, как мне живется в общежитии, и я рассказал о подъеме флага, об утренней гимнастике Штурмовика. Мидори тоже покатывалась со смеху, слушая о его выходках. Казалось, он просто рожден веселить людей всего мира. Истории мои ей понравились настолько, что она захотела непременно увидеть общагу своими глазами.

– Смотри не смотри, а ничего интересного там нет, – ответил я. – Несколько сотен студентов выпивают и дрожат в своих загаженных комнатах.

– Ты тоже так делаешь?

– Так все делают, – пояснил я. – Это естественно, как месячные у женщин: мужчины мастурбируют. Причем, все до единого.

– Даже те, у кого есть подружки? Ну то есть, партнерши?

– Проблема не в этом. Один мой сосед из университета Кэйо ублажает себя перед тем, как идти на свидание. Говорит, успокаивает.

– Мне такое трудно понять – я училась в женской школе.

– Да, об этом не пишут в приложениях к женским журналам.

– Абсолютно, – улыбнулась Мидори. – Кстати, что ты делаешь в воскресенье? Есть какие-нибудь планы?

– У меня все воскресенья свободны. Работа начинается в шесть вечера.

– Если хочешь, приезжай ко мне. В «Книжный магазин Кобаяси». Сам он закрыт, а я должна сидеть дома – могут позвонить по одному важному делу. Идет? Только не обедай. Я что-нибудь приготовлю.

– Спасибо.

Мидори вырвала из тетради листок, начертила подробную схему и на месте своего дома поставила красной ручкой жирный крест.

– Даже не захочешь – найдешь. По большой вывеске. Приходи к двенадцати. Обед будет готов.

Я поблагодарил Мидори и положил карту в карман: в два у меня начиналась пара по немецкому. У Мидори тоже нашлись какие-то дела, и она пошла на станцию Йоцуя.

В воскресенье утром я проснулся около девяти, побрился, постирал вещи и вывесил их сушиться на крышу. Погода стояла прекрасная. Чувствовалось приближение осени. Во дворе стайками кружили красные стрекозы, за ними гонялись детишки с сачками. Ни дуновения –

национальный флаг понуро свисал с флагштока. Я надел тщательно выглаженную рубашку и двинулся к ближайшей станции. Студгородок в воскресенье казался вымершим: на улице – пустынно, почти во всех магазинах опущены жалюзи. Городской шум слышался четче обычного. Лишь постукивала деревянными колодками сабо переходившая дорогу девушка, да четыре-пять мальчуганов у стены железнодорожного депо сбивали камнями расставленные в ряд консервные банки. Один цветочный магазин оказался открытым, и я купил несколько нарциссов. Нарциссы осенью – конечно, странно покажется, но я с детства любил эти цветы.

В электричке в это воскресное утро оказалось всего три старушки. Едва я вошел в вагон, они по очереди уставились то на мое лицо, то на букет нарциссов у меня в руках. Одна улыбнулась мне, и я тоже ответил ей улыбкой. Затем сел на место в последнем ряду и принялся разглядывать проплывавшую за окном вереницу старых домов. Электричка бежала, едва не касаясь их карнизов. На одном подоконнике выстроился в ряд десяток горшков с помидорами, а рядом на солнцепеке нежилась большая черная кошка. Во дворе дома детишки пускали мыльные пузыри. Откуда-то раздавалась песня Исида Аюми^[25]. И даже доносился запах карри. Электричка словно пронизывала тесные кварталы города. На одной станции в вагон село несколько человек, но три старушки не переставали болтать.

Я вышел недалеко от станции Ооцука, и зашагал по незнакомому проспекту по карте Мидори. Почти все магазины по пути, казалось, от процветания были далеки. Темные развалюхи, не более того. Попадались вывески с изрядно выцветшими надписями. Я понял, что эти кварталы уцелели от бомбежек во время войны, и даже улицы остались прежними. Естественно, встречались и перестроенные дома, а почти во всех остальных в глаза бросались отреставрированные заплатки и надстройки, однако большинство домов от этого выглядели еще более убого.

Из этих кварталов многие – недовольные автомобильными пробками, грязным воздухом, шумом и высокой квартплатой – перебирались в пригород. Такое ощущение, будто здесь остались лишь дешевые съемные квартиры, дома для служащих, неспособные переехать лавки или упрямы, словно вросшие в эту землю. От выхлопных газов все было туманно-грязным, будто в дымке.

Пройдя за десять минут по всем отмеченным на карте дорогам, я свернул около бензоколонки направо, и оказался в маленьком торговом ряду. В его середине издалека виднелась вывеска «Книжный магазин Кобаяси». Не большая, но и не меньше, чем я представлял со слов Мидори.

Обычный книжный магазин обычного квартала. Примерно такой, куда я в детстве бегал покупать долгожданные детские журналы. Я остановился перед «Книжным магазином Кобаяси», и меня охватила ностальгия. Такой книжный магазин есть в любом городе.

Жалюзи оказались плотно закрыты, и на них было написано: «Еженедельник “Бунсюн” выходит по четвергам». До полудня еще оставалось минут пятнадцать, но прогуливаться с букетом нарциссов и убивать время не хотелось. Нажав кнопку звонка сбоку, я отошел на два-три шага назад. Прошло секунд пятнадцать. Никто не отвечал. Я колебался, позвонить еще раз или нет, и в этот момент сверху гроыхнуло, распахиваясь, окно. Я поднял голову – из окна высунулась и замахала мне рукой Мидори.

– Открой жалюзи и входи, – крикнула она.

– Я раньше времени. Ничего?

– Нормально. Поднимайся. У меня сейчас руки заняты. – Окно с таким же грохотом закрылось.

Я со скрежетом приподнял жалюзи где-то на метр, пригнувшись, вошел и опустил их за собой. В магазине стояла крошечная тьма. Спотыкаясь о стопки нераспроданных журналов на полу и всякий раз едва не шлепаясь, я пробрался вглубь, на ощупь разулся и шагнул повыше^[26]. Дом был окутан мраком. Место, в котором я оказался, было приспособлено под простенькую приемную, по стенам стояли диваны. Небольшая комната, в окно сочился тусклый свет, как в каком-нибудь старом польском фильме. По левую руку открывалось что-то похожее на склад, виднелась дверь в туалет. По правую – крутая лестница наверх. Я поднялся на второй этаж и несколько успокоился: здесь было значительно светлее.

– Проходи сюда, – раздался из ниоткуда голос Мидори. Комната справа от лестницы напоминала столовую, там в глубине располагалась кухня. Сам по себе дом был старым, но кухню, казалось, недавно перестроили: мойка, краны и посудные полки сверкали новизной. Мидори варила обед: кастрюля побулькивала, пахло жареной рыбой.

– В холодильнике есть пиво. Глотни пока. – Мидори бросила на меня беглый взгляд.

Я достал пиво и сел за стол. Пиво оказалось очень холодным, будто простояло в холодильнике с полгода. На столе – маленькая белая пепельница и баночка с соевым соусом, лежали газеты. Так же – блокнот с каким-то номером телефона и столбиками цифр: кто-то подсчитывал расходы на покупки.

– Минут через десять будет готово. Подожди там. Ладно?

– Ладно.

– Хорошо, если как следует проголодаешься. Еды много.

Я потягивал пиво и следил за Мидори. Быстро и проворно она готовила одновременно примерно четыре блюда. Пробовала суп, что-то быстро резала, что-то доставала из холодильника и добавляла в блюдо, мгновенно мыла освободившуюся кастрюлю. Со спины Мидори напомнила мне одного индийского барабанщика: там ударил тарелками, здесь постучал по доске, потряс костями буйвола. Я с восхищением смотрел на нее: ни одного лишнего движения, чистая гармония.

– Чем-нибудь помочь? – поинтересовался я.

– Нет. Я привыкла все делать сама. – Мидори улыбнулась мимоходом. На ней были синие джинсы и темно-синяя майка. На спине крупно отпечатан знак фирмы «Эпл Рекордс» – яблоко. Я поразился, какая она стройная. Талия будто пропустила какую-то стадию развития и не успела заостреться. Поэтому Мидори выглядела намного изящнее обычных девчонок в приталенных джинсах. Яркий свет из окошка над мойкой подчеркивал ее гибкий силуэт.

– Не стоило готовить такой шикарный обед, – сказал я.

– Нет в нем ничего шикарного, – ответила она, не оглядываясь. – Вчера была так занята, что не успела толком ничего купить. Всё на скорую руку – из того, что осталось в холодильнике. Seriously. К тому же, гостеприимство в этом доме принято. Не знаю, почему, но в нашей семье любят гостей. Как полагается. Прямо какая-то слабость. В общем-то, мы не такие уж любезные, и делаем это не в надежде на какую-то взаимность. Просто раз приходят гости, их нужно принять на уровне. Причем, такое чувство у нас всех, хорошо это или нет. Хоть отец почти не пьет, в доме полно алкоголя. Как думаешь, для чего? Для гостей. Поэтому пей пиво, не стесняйся.

– Спасибо.

Я вдруг вспомнил, что забыл в прихожей нарциссы. Положил их на пол, когда разувался, да так и забыл. Я спустился, поднял десять белевших в сумраке нарциссов и вернулся обратно. Мидори сняла с буфета высокий стакан и поставила в него цветы.

– Я их очень люблю, – сказала она. – Как-то на школьном смотре даже пела песню «Семь нарциссов»^[27]. Знаешь?

– Конечно, знаю.

– Когда-то я играла в фольклорном ансамбле. На гитаре.

И, напевая «Семь нарциссов», она принялась раскладывать еду по тарелкам.

Блюда Мидори превзошли все мои ожидания, настолько все оказалось вкусно. Ставрида под маринадом, поджаристый омлет, соленая макрель по-киотоски, тушеные баклажаны, зеленый суп, рис с грибами, и горка мелко наструганной и сдобренной перцем маринованной редьки. У всех блюд – тонкий кансайский вкус^[28].

– Прямо объедение, – восторженно сказал я.

– Ватанабэ, скажи честно – не ожидал, что я так приготавливаю? По моему виду?

– В общем-то, нет, – признался я.

– Ты же сам из Кансая. И я решила, что тебе понравится?

– Ты специально готовила для меня по-кансайски?

– Вот еще. Чтобы я что-то специально... Просто у нас в семье любят эту кухню.

– У тебя, выходит, родители из Кансая?

– Нет, отец родом отсюда. Мать – из Фукусимы^[29]. В Кансае – ни одного родственника. Вся наша семья с востока.

– Постой, откуда тогда ты знаешь кансайскую кухню? Где-нибудь училась?

– Долго рассказывать, – ответила она, накладывая себе омлет. – Моя мать терпеть не могла домашнего хозяйства и нормальной еды никогда не готовила. К тому же у нас торговля. То говорит, что некогда, и покупает, что под руку в магазине попадется, то принесет из соседней мясной лавки одни котлеты. И так постоянно. Я с детства все это сильно не любила, но поделаться ничего не могла. Например, сделают карри, и едим его потом три дня. И вот лет в пятнадцать я решила приготовить что-нибудь вкусное сама. Поехала в «Кинокунию» на Синдзюку и купила лучшую поваренную книгу. Вернулась домой, проштудировала ее от корки до корки: как выбирать доску, точить нож, разделывать рыбу, резать стружку из тунца. Ну, то есть, все, что в ней было. Автор оказался из Кансая – вот так я и кухню тамошнюю изучила.

– И что, ты всему этому научилась из книги? – удивился я.

– Потом накопила денег, стала ходить в дорогие рестораны, запоминала, что там подают. Я же практичная. Одной теории мало.

– Научиться самой так готовить... Здорово!

– Сначала приходилось нелегко, – вздохнула Мидори. – Никто в семье меня не поддерживал и не понимал. Думаешь, кто-нибудь давал мне денег на хорошие ножи и кастрюли? Говорили, сойдут и эти. Чего смеяться? Кто сможет разделать рыбу тупым, как зубило, ножом? Говорю им, а в ответ: «А

зачем ее разделывать?» И что мне оставалось? Сэкономила карманные деньги, купила приличные ножи, кастрюли, миски. Можешь себе представить? Девчонке пятнадцать лет, а она по иене собирает на миски, точильный камень, фритюрницу? Вокруг у одноклассниц родительских денег куры не клюют, они себе покупают красивые платья, обувь... Понимаешь меня?

Я кивнул, отпивая зеленый суп.

– В шестнадцать мне очень хотелось иметь особую сковороду для омлета. Знаешь, такая продолговатая, чтобы делать яичный рулет? Я на нее потратила деньги, которые откладывала на лифчик. Пришлось маяться потом. Еще бы, почти три месяца ходила в одном. Можешь поверить?.. Вечером стирала, как могла сушила, надевала утром и шла в школу. Хорошо, если высохнет. А нет – это ад. Самое ужасное в мире – недосушенный лифчик. Больно до слез. Особенно если вспомнить, что все это ради сковородки для омлета.

– Да, пожалуй... – Я не удержался и хмыкнул.

– Поэтому когда мама умерла – конечно, не в обиду ей, – но я вздохнула с облегчением. Тратила семейный бюджет на свои нужды, как хотела. Вот и кухню приличную собрала. Отец в таких делах ничего не смыслит.

– А когда умерла мама?

– Два года назад, – коротко ответила она. – Рак. Опухоль мозга. Полтора года пролежала в больнице, мучилась, конечно, потом с головой стало совсем плохо, и ее перевели на лекарства, но она не умирала. Закончилось все тем, что ее как бы усыпили. Жуткая смерть – и ей самой невмоготу, и окружающим. Мы чуть не разорились: один за другим уколы по двадцать тысяч иен, персональная сиделка и прочее. Пока ухаживала за ней, толком и не училась. Продолжайся так дальше, осталась бы без аттестата. Вот досталось мне, да? И вдобавок ко всему... – начала она фразу, но передумала и замолчала. Затем положила палочки и глубоко вздохнула. – Какой-то мрачный у нас зашел разговор. С чего началось-то?

– С лифчика.

– Попробуй этот омлет, – серьезно предложила она.

Я съел свою порцию и понял, что сыт. Мидори ела мало.

– Когда готовишь, ешь глазами, – пояснила она. Потом убрала посуду, вытерла стол, достала откуда-то «Мальборо» и прикурила от спички. Затем взяла стакан с нарциссами и стала внимательно разглядывать цветы.

– По-моему, так неплохо, – сказала она. – В вазу лучше не переставлять. Когда они в стакане, такое ощущение, будто их только что

сорвали где-нибудь у пруда и поставили так на время.

– Этот пруд – перед станцией Ооцука.

Мидори прыснула.

– А ты действительно странный. Шутишь, а лицо серьезное.

Опираясь на ладонь щекой, она выкурила полсигареты, и вдавила окурок в дно пепельницы. В глаза попал дым, и она потерла их пальцами.

– Обычно девушки тушат сигареты изысканнее, – сказал я. – Ты – как лесоруб. Не нужно так вдавливать. Обычно начинают гасить с боков, тогда бычок почти не мочалится. На этот раз у тебя вышло чересчур. К тому же, ни за что не пускают дым через нос. И не рассказывают парню во время еды о том, как по три месяца ходят в одном лифчике... обычные-то девчонки...

– Я и есть лесоруб, – сказала Мидори, почесывая кончик носа. – Не могу быть слабой. Пробовала в шутку – бесполезно. Еще что скажешь?

– Девушкам не годится курить «Мальборо».

– Ладно тебе. Что ни кури – одна гадость. – Она вертела в руках плотную красную пачку «Мальборо». – Я месяц назад закурила. Без особого желания. Просто взбрело в голову: почему бы не попробовать?

– А с чего?

Мидори ровно сложила ладони и немного подумала.

– Да просто так. А ты куришь?

– В июне бросил.

– Почему?

– Надоело... Просыпаешься ночью, а сигареты кончились... И курить хочется страшно. Так и бросил. Я не люблю, когда что-то связывает.

– А у тебя, похоже, котелок варит что надо.

– Может и так... – сказал я. – Скорее всего, поэтому меня недолюбливают. С детства.

– Еще бы – у тебя на лице написано: «Плевать, любят меня или нет». Некоторых это задевает, – опираясь ладонями на щеки, пробубнила Мидори. – Но мне нравится с тобой болтать. Такая странная манера речи: «Я не люблю, когда что-то связывает»...

Я помог Мидори прибрать со стола, стоя рядом, вытирал тарелки.

– Кстати, а где все твои сегодня?

– Мать – в могиле. Уже два года.

– Ты говорила.

– У сестры свидание с женихом. Укатали куда-то на его машине. Он работает в одном автоконцерне и на машинах помешался. А мне эти

железяки безразличны.

Мидори продолжала молча мыть посуду, а я – вытирать.

– Еще отец, – сказала она после паузы.

– Ну да.

– Он в прошлом июне уехал насовсем в Уругвай.

– Уругвай? – удивился я. – Почему именно в Уругвай?

– Захотел там жить. Дурацкая выходка. У его бывшего сослуживца там ферма. Вот ему и взбрело в голову, что стоит туда только поехать... Собрался и улетел. Мы изо всех сил пытались его отговорить. Ну что он там будет делать: языка не знает, за всю жизнь толком ни разу из Токио не выезжал. Но... бесполезно. Похоже, у него был просто шок после смерти матери. Вот крыша и поехала – так мать любил. Нет, правда.

Я не знал, что сказать и, приоткрыв рот, смотрел на нее.

– Знаешь, что нам с сестрой сказал отец после смерти матери? «Мне очень горестно. Лучше бы вместо матери умерли вы на пару». Мы так обалдели, что слова не могли сказать. Представляешь, что у него на уме? В любом случае, это чересчур. Я понимаю, как тяжело терять любимую спутницу жизни. Жалко, тут ничего не скажешь. Но заявить такое родным дочерям – это сверх моего понимания. Как считаешь?

– Точно.

– Думаешь, нам не больно было такое слышать? – Мидори сама себе кивнула. – Во всяком случае, в нашей семье все со странностями. Причем, каждый со своими.

– Похоже.

– Но разве плохо, когда люди любят друг друга? Так любить свою жену, чтобы суметь сказать дочерям: «Лучше бы вы умерли вместо нее».

– Может, так оно и есть.

– И укатил в Уругвай. Бросил нас на произвол судьбы.

Я молча вытирал тарелки. Когда закончил, Мидори поставила всю посуду в буфет.

– И что, от отца нет вестей? – поинтересовался я.

– Один раз прислал открытку. В марте. Но в ней ничего конкретного: «здесь жарко», или «фрукты не такие вкусные, как я думал», – ну, в этом роде. Чушь какая-то. На открытке – чудовищный осел. Похоже, у него с головой не все в порядке. Даже не написал, встретился со своим другом или нет. В конце дописано: «Немного обустроюсь, приглашу к себе», – и с тех пор тишина. Пытались писать ему сами – бесполезно.

– Если отец позовет к себе в Уругвай, поедешь?

– Пожалуй, да. Разве не интересно? А сестра ни за что не поедет. На

дух не переносит грязные места и вещи.

– А там разве грязно?

– Не знаю. Но она уверена. На дорогах – ослиный навоз, вокруг которого роятся мухи. В туалете толком не течет вода. И кишат ящерицы и скорпионы. Наверное, в каком-нибудь фильме увидела. Сестра терпеть не может насекомых. Ей нравится кататься на машине с ревущим мотором где-нибудь вдоль пляжей Сёнан^[30].

– А-а.

– Разве плохо? Уругвай? Почему бы не съездить?

– А кто занимается сейчас магазином?

– Сестра. Нехотя. Родственник-сосед каждый день помогает развозить журналы. Когда есть время, я тоже не сижу, сложа руки. К тому же, вести дела книжного магазина – не такой тяжкий труд. Как-то само собой получается. Перестанем справляться – свернем бизнес, а магазин продадим.

– Ты отца любишь?

– Не то чтобы очень, – покачала она головой.

– Тогда почему готова поехать в Уругвай?

– Потому что доверяю.

– Доверяешь?

– Да. Любить особо не люблю, но доверяю. Отцу. Человеку, который после смерти жены оставил и дом, и детей, и работу, и подался в Уругвай. Понимаешь?

Я вздохнул:

– И понимаю, и не совсем.

Мидори странно улыбнулась и слегка похлопала меня по спине.

– Ладно. Особой разницы нет, – сказала она.

В воскресенье после обеда одно за другим произошло несколько событий. Странный день. Поблизости от дома Мидори вспыхнул пожар. И поднявшись на чердак поглазеть на пламя, мы ни с того ни с сего поцеловались. Понимаю, что звучит нелепо, но все так и случилось на самом деле.

После еды мы пили кофе, разговаривали об учебе, и тут послышался вой пожарной машины. Постепенно сирена стала громче, казалось – их уже несколько. Под окнами пробежали люди, кто-то кричал. Мидори ушла в другую комнату, открыла окно и посмотрела вниз на дорогу. Затем попросила немного подождать и куда-то исчезла. Я услышал, как она поднимается по лестнице.

Я пил кофе дальше и думал, где находится Уругвай. Здесь – Бразилия, там – Венесуэла, где-то в том районе – Колумбия. А где Уругвай, вспомнить так и не смог. Мидори тем временем спустилась и позвала меня наверх. Я поднялся за ней по крутой лестнице и оказался на просторном чердаке. Дом Мидори возвышался над соседними крышами, и с него открывался хороший вид. В трех-четырех крышах от нас клубился черный дым, и легкий ветерок сносил его к дороге. Пахло гарью.

– Это дом Сакамото, – сказала Мидори, перевешиваясь через перила. – Они раньше торговали строительными инструментами, но сейчас магазин закрыт.

Я тоже облокотился на перила, разглядывая пожар. Горевший дом стоял за трехэтажным строением, и всего, что там происходило, почти не было видно. Судя по всему, несколько пожарных машин тушили огонь. Дорожка к дому была такой узкой, что к нему могли подъехать лишь две машины, а остальные ждали своей очереди на проезжей части. Вокруг толпились зеваки.

– Похоже, лучше собрать все ценное и двинуть отсюда, пока не поздно, – предложил я. – Ветер пока в другую сторону, однако в любую минуту может поменяться. А рядом заправка. Я помогу тебе собраться.

– У меня нет ценных вещей.

– Ну что-нибудь же есть? Банковские книжки, печати, документы. Деньги на первое время.

– Все нормально. Я не уйду.

– Даже если загорится дом?

– Да, и пусть даже я умру.

Я посмотрел в глаза Мидори, она – в мои. Я не мог понять, где в ее словах грань между правдой и шуткой. Я не отрывал взгляда от ее глаз, и мне постепенно стало все равно.

– Хорошо, я остаюсь. С тобой.

– И умрешь вместе со мной? – У Мидори загорелись глаза.

– Еще чего? Станет опасно – убегу. Хочешь умереть – делай это без меня.

– Бессердечный.

– Я умирать не собираюсь, даже если ты накормила меня обедом. Вот если б еще и ужином, куда ни шло.

– Вот как? Ладно, давай поглядим, что будет дальше. А пока что-нибудь споем. Станет опасно – тогда и подумаем.

– Споем?

Мидори принесла снизу две подушки, четыре банки пива и гитару. Мы

пили пиво, поглядывая на густые клубы дыма. Затем Мидори взяла гитару и запела. Я спросил, что подумают соседи. Выпивать и петь песни на балконе, наблюдая за пожаром у соседей, – не самое подходящее занятие.

– Да не переживай ты. Мы не обращаем на соседей внимания, – ответила Мидори.

Она пела когда-то популярные фольклорные песни. Ни игра, ни голос не дотягивали даже до комплимента, но ей было очень весело. Мидори спела одну за другой «Lemon Tree», «Puff», «500 Miles», «Where Have All The Flower Gone», «Michael, Row the Boat Ashore». В начале она объяснила мне вторую партию, чтобы петь на два голоса, но убедившись, что мне слон на ухо наступил, продолжала одна, пока не надоело. Я потягивал пиво, слушал ее и с интересом следил за пожаром. Огонь то усиливался, то, казалось, утихал. Люди что-то громко вопили, отдавали приказы. Стрекоча лопастями, показался вертолет газеты, поснимал и убрался восвояси. «Хорошо, если мы не попали в кадр», – подумал я. Полицейский в мегафон призывал толпу отступить назад. Ребенок плакал и звал мать. Где-то разбилось стекло. Вскоре ветер беспокойно заплясал, и вокруг нас закружился белый пепел. Однако Мидори раз за разом прикладывалась к банке пива и пела дальше. Исполнив все, что знала, Мидори затянула странную песню собственного сочинения.

Хочу сварить тебе рагу,
Но у меня нет кастрюли.
Хочу связать тебе шарф,
Но у меня пряжи нет.
Хочу написать для тебя стихи,
Но нет у меня ручки.

– Песня называется «У меня ничего нет», – пояснила Мидори. – Ужасные стихи, как и музыка, впрочем.

Слушая ее нелепое пение, я размышлял: если огонь перекинется на заправку – взлетит дом Мидори на воздух или нет? Устав петь, она отложила гитару и, как кошка на солнцепеке, прильнула к моему плечу.

– Как тебе моя песня?

– Уникальная и оригинальная. Хорошо проявляет твой характер, – осторожно ответил я.

– Спасибо. «Ничего нет» – тема такая.

– Кажется, я понимаю, – кивнул я.

– Знаешь, когда умерла мама... – Она повернулась ко мне.

– И что?

– Мне ни чуточку не было грустно.

– Ну и?

– Уехал отец, и я совсем о нем не жалела.

– Серьезно?

– Серьезно. Дико, да? Бессердечно?

– Но ведь тому... есть разные причины.

– Пожалуй. Действительно, много чего... по-своему запутанного. В нашей семье. Но знаешь, я вот что думаю. Что бы там ни было, когда умирает родная мать, уезжает родной отец, хоть чуточку должно же быть грустно? Но не мне – все бесполезно. Ничего не чувствую. Ни грусти, ни печали, ни горечи. И совсем никаких воспоминаний. Только снится иногда. Появляется мать, злое ще смотрит на меня из темноты и упрекает: «Поди рада моей смерти?» С чего это мне радоваться? Все-таки мать. Просто ее почти не жаль. Честно говоря, на похоронах я не проронила ни слезинки. А когда в детстве сдохла наша кошка, рыдала целый день...

«Откуда столько дыма, – подумал я. – Пламени не видно, пожар не расширяется, а дым валит. Что может так долго гореть?»

– ...но это не только по моей вине. Да, где-то я черствая, признаю. Если бы они – родители – любили меня чуточку сильнее, я бы выросла более отзывчивой. И тогда мне было бы еще грустнее.

– Считаешь, тебя недолюбили?

Она склонила голову, посмотрела на меня и кивнула.

– Где-то между «не достаточно» и «совсем не любили». Мне всегда не хватало. Хоть бы раз насытиться родительской любовью: «Спасибо, хватит, больше некуда». Один раз. Хотя бы один раз. Но ничего подобного от них так и не дождалась. Они считали, что нельзя баловать, бурчали, что и так сплошные расходы. Постоянно. И вот что я тогда решила: «Сама, своими силами найду человека, который будет круглый год любить меня на все сто процентов». Сколько мне тогда было? Лет одиннадцать-двенадцать.

– Здорово, – восхищенно сказал я. – И как результаты?

– Не так все просто, – ответила Мидори и некоторое время смотрела на клубы дыма. – Видимо, так долго ждала, что со временем слишком задрала планку. Сложность в том, что теперь я мечтаю об идеале.

– Об идеальной любви?

– Чего? Даже я до такого не додумалась. Мне нужен просто эгоизм. Идеальный эгоизм. Например, сейчас я скажу тебе, что хочу съесть пирожное с клубникой. Ты все бросаешь и мчишься его покупать.

Запахавшийся, приносишь мне пирожное, а я говорю, что мне уже расхотелось, и выбрасываю его в окно. Вот что мне сейчас нужно.

– Да это, похоже, к любви не имеет никакого отношения, – растерянно сказал я.

– Имеет. Только ты об этом не догадываешься, – ответила Мидори. – Бывает время, когда для девчонок это очень важно.

– Выбросить пирожное в окно?

– Да. Хочу, чтобы мой парень сказал так: «Понял. Мидори, я все понял. Должен был сам догадаться, что ты расхочешь пирожное с клубникой. Я круглый идиот и жалкий дурак. Поэтому я сбегаю и найду тебе что-нибудь другое. Что ты хочешь? Шоколадный мусс? Или чизкейк?»

– И что будет?

– Я люблю такого человека.

– Бессмыслица какая-то.

– Но для меня это – любовь. Никто, правда, не может этого понять. – Мидори слегка кивнула сама себе, прижавшись к моему плечу. – Для некоторых любовь начинается с пустяка, даже с какой-нибудь банальности. Но не будет ее – не возникнет любви.

– Впервые вижу девчонку с такими мыслями.

– Не ты первый мне об этом говоришь, – заметила она, теребя заусенцы. – Но я на самом деле так считаю. И честно тебе рассказываю. Мне кажется, я не слишком отличаюсь от других, – по крайней мере, никогда к этому не стремилась. Но стоит серьезно об этом заговорить, и все решают, что я либо шучу, либо разыгрываю сцену. К тому же, иногда мне все это надоедает.

– Поэтому ты собираешься сгореть при пожаре?

– Нет, тут другое: простое любопытство.

– Умереть во время пожара?

– Да нет же! Я хотела увидеть твою реакцию. Но и умереть ничуть не страшно. Правда. Задохнуться от дыма, потерять сознание и просто умереть. Мгновенно. Нисколько не страшно. По сравнению с тем, что я видела, когда умирала мама и некоторые родственники. Знаешь, у нас ведь все родственники умирают после тяжелых болезней – как бы избавляются от мук. Такая у нас кровь. Причем, все умирают долго. В конце уже никто не знает, живой человек или уже умер. Под конец в сознании остаются только боль и мучения.

Мидори прикурила «Мальборо».

– Вот такая смерть меня пугает. Когда ее тень медленно, не торопясь, вторгается на территорию жизни. Приходишь в себя, а вокруг темно и

ничего не видно. И окружающие считают тебя скорее мертвецом, чем живым человеком. Жутко. Я такое ни за что не вынесу.

Минут через тридцать пожар потушили. Соседние дома он не тронул, никто не пострадал. У пепелища осталась лишь одна пожарная машина, постепенно разошлись зеваки. Только вращались красные маячки полицейского патруля, который регулировал дорожное движение. Откуда-то прилетела парочка голубей. Они уселись на столб, осматривая окрестности.

Пожар, как мне показалось, очень утомил Мидори. Она бессильно обмякла и рассматривала небо.

– Устала? – спросил я.

– Нет, просто расслабилась. Давно уже так не делала. Красота...

Я смотрел в глаза Мидори, она – в мои. Я обнял ее и поцеловал. Она лишь на мгновение напряглась, но отпустило сразу же, и она закрыла глаза. Секунд на пять или шесть наши губы слились в поцелуе. От осенних лучей солнца ей на щеку падала тень ресниц, и они заметно и мелко дрожали.

То был нежный и долгий, ни к чему не обязывающий поцелуй. Не сиди мы в тот день на солнцепеке чердака, не пей пиво, не глазей на пожар – я бы ни за что ее не поцеловал. Наверное, она думала так же. Мы все это время неспешно созерцали крыши, отражавшие яркий солнечный свет, клубы дыма, красных стрекоз, и постепенно между нами родилась какая-то теплая близость. И подсознательно требовала какого-то выхода наружу. Вот такой это был поцелуй. Но не значит, что он не таил в себе никакой опасности. Как, собственно, и подобает таким поцелуям.

Первой растворила губы Мидори. Она нежно взяла меня за руку и смущенно сказала, что за ней ухаживает парень. На что я ответил, что догадывался.

– А у тебя есть подруга? – спросила Мидори.

– Есть.

– Но по воскресеньям ты всегда свободен.

– Не так все просто.

Я знал, что полуденное колдовство куда-то исчезает.

В пять я ушел от Мидори и направился на работу. Перед этим я предложил ей где-нибудь перекусить, но она отказалась, сославшись на какой-то важный звонок.

– Ненавижу весь день сидеть у телефона и ждать, когда позвонят. Тем более – в одиночестве. Так и кажется: тело начинает постепенно разлагаться. Распадается, тает и превращается в вязкую зеленую жидкость,

а она впитывается в землю. Остается только одежда. Такое вот чувство, когда приходится весь день ждать звонка.

– Когда придется ждать в следующий раз, зови меня. С условием, что накормишь обедом.

– Хорошо. Тогда за мной и послеобеденный пожар.

На следующий день Мидори не пришла на лекцию «История театра II». После занятий я пошел в столовую и в одиночестве съел там холодный безвкусный обед, затем уселся на солнышке и стал разглядывать окрестности. Рядом о чем-то нескончаемо болтали две девчонки. Одна бережно, будто ребенка, прижимала к груди теннисную ракетку, у другой в руках было несколько книг и пластинка Леонарда Бернстайна. Обе симпатичные и болтали очень оживленно. Из клуба доносились раскаты – кто-то репетировал на бас-гитаре. Группки студентов по четыре-пять человек непринужденно беседовали, смеялись и покрикивали что-то друг другу. Кто-то катался по стоянке на скейтборде. Им загородил путь профессор с кожаным портфелем в руке – пытался выпроводить с парковки. Во дворе студентка в шлеме, стоя на коленях, писала плакат о вторжении американского империализма в Азию. Обычный полдень в институте. Однако, созерцая этот пейзаж, я через некоторое время вот о чем подумал. Люди выглядят счастливыми, каждый по-своему. Я не знаю, счастливы они на самом деле или просто выглядят такими. В любом случае, посреди славного полдня в конце сентября люди казались счастливыми, и мне было грустно как никогда. Казалось, я один не вписываюсь в этот пейзаж.

Затем я задумался: а вписывался ли я хоть в какой-нибудь пейзаж за последние несколько лет? Последнее близкое и яркое воспоминание – как мы с Кидзуки катаем шары в бильярдной. Но в ту ночь Кидзуки умер, и с тех пор между мной и окружающим миром образовалось леденящее пространство отчуждения. Чем же был для меня человек по имени Кидзуки? Я не мог ответить на этот вопрос. Твердо уверен я был в одном: его смерть навсегда и бесповоротно лишила меня одной важной вещи – отрочества. Я ощущал и понимал это очень отчетливо. Однако что это означает и к чему приведет, было сверх моего понимания.

Еще долго я убивал время, разглядывая прохожих и студ-городок. Я надеялся на случайную встречу с Мидори, но она в тот день так и не появилась. После обеденного перерыва я пошел в библиотеку повторять заданное по немецкому языку.

На той же неделе в субботу по пути в город за мной зашел Нагасава и позвал с собой.

– Разрешение на тебя я получу, – успокоил он. Я согласился. Всю последнюю неделю мне было муторно, и я готов был переспать с первой встречной девчонкой.

Вечером я принял душ, побрился, надел тенниску и пиджак из хлопка. Мы с Нагасавой поужинали в столовой и поехали на автобусе до Синдзюку. В оживленном Третьем квартале мы вышли и, немного побродив, зашли в наш постоянный бар, где можно было дождаться подходящих кандидаток. Девчонки частенько заглядывали сюда парами, но именно в тот вечер ни одна к нам даже не приблизилась. Часа два мы аккуратно, чтобы не захмелеть, потягивали виски с содовой. Две привлекательные особы уселись было к стойке, заказали «буравчик» и «маргариту», но когда Нагасава попытался с ними заговорить, оказалось, что они ждут своих приятелей. Какое-то время мы непринужденно пообщались вчетвером, но приятели вскоре пришли.

– Пошли в другой бар, – предложил Нагасава. Мы завернули в маленькое кафе в глубине квартала. Почти все клиенты были уже навеселе и жутко шумели. В глубине за столиком сидели три девчонки. Мы подсели к ним и завели разговор впятером. Пока неплохо. Все развеселились. Но когда мы предложили пойти выпить куда-нибудь еще, они отказались, объяснив, что должны вернуться в общежитие до закрытия. Они все учились в каком-то женском институте. В тот вечер нам явно не везло. Мы зашли еще в один бар, но все было тщетно – ни малейшего признака контакта.

В полдвенадцатого Нагасава понял, что ничего не выйдет.

– Извини, что я протаскал тебя весь вечер бестолку.

– Да ладно. Я рад даже, что ты понял – бывают и такие дни.

– Примерно раз в год, – сказал он.

Признаться, мне было уже все равно. Набродившись за три с половиной часа по оживленным кварталам субботнего Синдзюку, пронизанным странной энергией влечения и алкоголя, я понимал, что моя собственная потенция, видимо, не заслуживает особого внимания.

– Что будешь делать, Ватанабэ? – поинтересовался Нагасава.

– Пойду в ночной кинотеатр. Давно не смотрел кино.

– Тогда я пойду к Хацуми, ладно?

– Кто бы возражал? – рассмеялся я.

– Если хочешь, могу познакомить тебя с какой-нибудь девчонкой, и она приютит тебя до утра.

– Не нужно. Хочу кино посмотреть. Сегодня.

– Извини. Как-нибудь заглажу, – сказал он и растворился в толпе. Я зашел в кафе, заел остатки хмеля чизбургером и запил горячим кофе, а потом направился в ближайший кинозал, где показывали «Выпускника». Фильм оказался так себе, но больше делать было нечего, и я посмотрел его два раза подряд. Выйдя в четыре утра на улицу, я в раздумьях пустился бесцельно бродить по пустынным кварталам Синдзюку.

Когда сил уже не осталось, я зашел в круглосуточное кафе, где решил за книгой и чашкой кофе дожидаться первой электрички. Постепенно кафе заполнилось такими же гуляками, как и я. Подошел официант и спросил, можно ли подсадить за мой столик других клиентов. Пожалуйста. Я просто читаю книгу, и мне все равно, кто сядет напротив.

Соседками оказались две девчонки примерно моего возраста. Красавицами их назвать было нельзя, но как и дурнушками – тоже. Приличная косметика и одежда. Такие не ходят по кварталу Кабуки в пять утра. Наверное, просто опоздали на последнюю электричку. Похоже, они с облегчением увидели, какой сосед по столику им достался: аккуратно одетый, с вечера выбрит, вдобавок ко всему – безмятежно читает «Волшебную гору» Томаса Манна. Одна девушка была полновата, в серой парке и белых джинсах, с сумкой из кожзаменителя в руках. В ушах у нее болтались изрядные серьги-ракушки. Другая девушка напротив – худенькая и в очках, одета в синий кардиган поверх клетчатой блузки. На пальце у нее красовалось синее кольцо. Время от времени она по привычке снимала очки и надавливала пальцами на глаза.

Они на пару заказали кофе с молоком и одно пирожное и ели его, не торопясь и тихо о чем-то беседуя. Дородная несколько раз склоняла голову набок. Худенькая тоже несколько раз кивала как-то в сторону. Громко играли Марвин Гэй и «Би Джиз», и разговора я не слышал. Но судя по всему, худенькая либо о чем-то переживала, либо негодовала, а дородная пыталась ее успокоить. Я то читал книгу, то поглядывал на них.

Когда худенькая пошла в туалет, прижимая к телу сумочку, дородная обратилась ко мне. Я отложил книгу.

– Вы не знаете здесь поблизости бар, который еще работает?

– В шестом часу утра?

– Да.

– Вообще-то, в шестом часу утра все уже трезвеют и идут домой спать.

– Это я и сама понимаю, – стыдливо сказала она. – Но подруга очень хочет выпить еще. Ей так нужно.

– Похоже, остается только вернуться и выпить дома.

– Но я в полвосьмого уезжаю в Нагано.
– Ну тогда купить что-нибудь в автомате и расположиться где-нибудь на газончике.

– А вы не могли бы составить нам компанию? А то вдвоем будет неловко.

Многое повидал я на Синдзюку, но никогда еще незнакомые девушки не приглашали меня выпить с ними в пять двадцать утра. Отказывать не хотелось, делать тоже было нечего. Я купил в ближайшем автомате несколько бутылочек сакэ, немного закуски, и мы переместились на лужайку у западного выхода, где и устроили импровизированный банкет.

Судя по рассказу подружек, они работали в одном туристическом агентстве: закончили в этом году женский институт и недавно устроились на работу. У худенькой был парень, с которым она встречалась весь последний год. Однако недавно узнала, что тот спит с другой, и впала в отчаяние. В общих чертах. Дородная же собиралась на свадьбу своего старшего брата и должна была вчера вечером отправиться в Нагано, но не смогла оставить подругу в таком состоянии, и провела с ней всю ночь на Синдзюку, решив сесть на первый утренний экспресс.

– А как ты узнала, что он спит с другой? – спросил я у худенькой.

Та отхлебывала сакэ и дергала вокруг себя траву.

– Пришла к нему домой, открыла дверь, а они там как раз... Что ж тут непонятного?

– Когда это случилось?

– Позавчера вечером.

– Хм, – задумался я. – Выходит, дверь была незаперта?

– Нет.

– Почему же они не закрылись?

– Да откуда я знаю?

– Такое кого угодно шокирует. Жуткое дело. Как же ей теперь быть? – произнесла дородная, судя по всему – человек хороший.

– Не знаю. Наверное, есть смысл попробовать разок с ним поговорить. А тогда уже решать, простить или нет.

– Никто не сможет понять, как мне сейчас, – по-прежнему дергая траву, сказала худенькая. Слова она как бы выплескивала из себя.

Из-за крыши универмага «Одакю» на западе вынырнула стая ворон. Ночь кончилась. Дородной пришла пора уезжать в Нагано. Мы отдали оставшееся сакэ бездомным, что ютились в переходе около западного выхода вокзала, купили перронные билеты и посадили ее на поезд. Когда последний вагон скрылся из виду, мы, не приглашая друг друга, сами по

себе направились в гостиницу. Ни она, ни я не горели особым желанием, но без этого бы дело не закончилось.

В номере я первым разделся и пошел мыться. Принимая ванну, я почти в отчаянии пил пиво. Затем вошла она, и мы стали пить пиво уже на пару. Молча. И сколько бы ни пили, я не хмелел и спать не хотел. У девушки была белая и гладкая кожа, красивые ноги. Когда я похвалил их, она сухо сказала спасибо.

Но стоило нам оказаться в постели, и она до неузнаваемости преобразилась: чутко реагировала на движения моей руки, изгибала тело и вскрикивала. Когда я вошел в нее, она впилась в мою спину пальцами, а с приближением оргазма раз шестнадцать выкрикнула чужое мужское имя. Я считал про себя, чтобы подольше не кончать. Затем мы оба уснули.

Проснулся я в полпервого – девушки уже не было. Не оставила ни письма, ни записки. От избытка выпитого трещала голова. В душе я стряхнул с себя остатки сна, побрился, уселся голышом в кресло и достал из холодильника банку сока. Попытался выстроить в цепочку события прошедшей ночи. Все они казались безучастно нереальными, как будто происходили за двойным-тройным стеклом, но, без сомнений, все это на самом деле было со мной. На столе остались пивные стаканы, в умывальнике лежала использованная зубная щетка.

Я перекусил на Синдзюку, затем нашел телефонную будку и позвонил в «Книжный магазин Кобаяси». Глядишь, она опять сидит и в одиночестве ждет звонка. Но никто не ответил и через пятнадцать гудков. Минут через двадцать я перезвонил, но с тем же результатом. Тогда я сел в автобус и поехал обратно в общежитие. В почтовом ящике у входа меня дожидалось срочное письмо. От Наоко.

Глава 5

Спасибо за письмо, – писала Наоко. – Родители сразу же переслали его сюда. Оно несколько не причинило мне беспокойства. Наоборот, мне стало радостно. Признаться, я и сама подумывала написать тебе.

Дочитав до этого места, я снял пиджак и сел на диван. Из соседней голубятни доносилось воркование. Ветер развеивал шторы. Я держал в руках семь листков письма Наоко и погружался в неиссякаемые воспоминания о ней. Показалось, что уже после первых строк мир вокруг потерял свою обычную окраску. Я закрыл глаза и постепенно справился с собой. Сделал глубокий вдох и стал читать дальше.

Уже почти четыре месяца, как я здесь, – продолжала Наоко. – Все это время я часто думала о тебе. И постепенно поняла, как была к тебе несправедлива. Ты не заслуживал такого отношения с моей стороны.

Хотя эта мысль – несерьезна. Во-первых, девушки моих лет вряд ли имеют представление о «справедливости». Обычным девушкам глубоко безразлично, справедливо они поступают или нет. Они размышляют не с позиций справедливости, а красиво это или нет, и что нужно делать, чтобы стать счастливой. «Справедливость» – слово, характерное для мужчин. Однако для нынешней меня это слово подходит как никогда точно. Красиво или нет, что делать, чтобы стать счастливой, для нынешней меня – хлопотная и надуманная проблема, которая незаметно затрагивает иные основы. Например, справедливость, честность, терпимость.

Но, как бы там ни было, я считаю, что была к тебе несправедлива. Сбивала тебя с толку и причинила немало боли. Однако тем самым я сбивала с толку и причиняла боль самой себе. Я не собираюсь оправдываться или защищать себя, но это так. Если в тебе осталась какая-нибудь боль, то она не только твоя, но и моя. Поэтому не суди меня строго. Я – неполноценный человек. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Если ты будешь меня презирать, я совсем пропаду. Я не могу, как

ты, уйти в себя, чтобы переждать все невзгоды. Не знаю, согласен ты со мной или нет, но мне так просто кажется. Иногда мне становилось очень завидно, и – может быть, поэтому – я еще сильнее сбивала тебя с толку.

Подобный взгляд может показаться чисто аналитическим, не считаешь? Однако нынешнее лечение аналитическим не назовешь. Правда, стоит провести здесь несколько месяцев, как я, – и не захочешь, а так или иначе станешь аналитиком. То-то произошло по такой-то причине, а это означает следующее и потому что... Я не знаю, делает такая аналитика мир проще, или, наоборот, расслаивает его.

Но как бы там ни было, сейчас мне намного лучше, чем некоторое время назад, и так же считают все окружающие. Я долго не могла успокоиться до такого состояния, чтобы написать письмо. То июльское я как бы выдавливала из себя. Признаться, совершенно не помню, о чем. Наверное, очень жуткое. На этот раз я совершенно спокойна. Чистый воздух, тихий, отрезанный от внешнего мира уголок, правильный образ жизни, ежедневные упражнения – все это мне было необходимо. Хорошо, когда есть кому написать. Как это прекрасно – сесть за стол, взять ручку и писать, перенося на бумагу свои мысли. Несомненно, в письме можно выразить лишь частичку того, что хотелось сказать. Ладно. Для меня сейчас за счастье – само желание кому-нибудь что-нибудь написать. И вот я пишу тебе письмо. Сейчас полвосьмого. Я поужинала и приняла ванну. Вокруг – тишина, за окном – темнота. Ни огонька. Обычно очень ярко светят звезды, но сегодня облачно. Живущие здесь люди прекрасно разбираются в звездах, и показывают мне, где созвездие Девы, а где – Стрельца. С наступлением темноты делать становится нечего. Не захочешь, а начнешь разбираться. По той же причине они много знают о птицах, цветах и насекомых. Когда я разговариваю с ними, ловлю себя на мысли, как мало из этого всего я знаю, и чувство это нельзя назвать плохим.

Здесь проживает около семидесяти человек. Кроме них – чуть больше двадцати человек персонала (врачи, медсестры, конторские служащие и т. п.). Очень просторная территория, и такое количество народа – не предел. Правильно будет назвать времяпрепровождение здесь досугом. Привольно, дикая природа, жизнь течет размеренно. Настолько, что порой начинает казаться:

настоящий мир – именно здесь. Хотя это, конечно, не так. Мы живем здесь в соответствии с неким условием и все к нему привыкаем.

Я занимаюсь теннисом и баскетболом. В баскетбольной команде смешанный состав из больных (противное слово, но ничего не поделаешь) и персонала. Но в пылу борьбы я не могу отличить, кто из них больные, а кто – нет. Странное дело. Больше того: когда оглядываешься по сторонам в игре, все вообще выглядит одинаково искаженным.

Когда я однажды сказала об этом врачу, он ответил, что в каком-то смысле я права. Он считает, что мы здесь не для того, чтобы исправить искажение, а чтобы к нему привыкнуть. Одна из наших главных проблем – мы не можем признать это искажение. Так же, как у любого человека есть своя походка, существуют привычки в ощущениях, мышлении и суждении о предметах. Собрешься исправить эти привычки – сразу ничего не получится. Исправишь насильно – повлияет на какое-нибудь другое место. Конечно, это очень упрощенное пояснение. Лишь частичка беспокоящих нас проблем. Хоть врач об этом не договаривает, мне понятно самой. Видимо, мы на самом деле не можем приспособиться к этим самым искажениям, а потому не в силах разобраться в реальной боли и мучениях, ими вызванных, и находимся здесь, чтобы от них отстраниться. До тех пор, пока мы здесь, мы не приносим страданий окружающим, и они не приносят их нам. Почему? Потому что все мы знаем, что сами «искажены». Здесь все не так, как во внешнем мире. Там многие люди живут, не сознавая собственной искаженности. А в нашем маленьком мирке искаженность – предпосылка, условие. Как индейцы прикрепляют на голову перья, чтобы опознавать свои племена, мы не скрываем искажения, и стараемся потихоньку жить, не доставляя друг другу хлопот.

Помимо физических занятий, мы выращиваем овощи: помидоры и баклажаны, огурцы и арбузы, клубнику и лук, капусту и редьку. В общем, выращиваем все, что возможно. У нас есть парник. Живущие здесь люди знают основы садоводства и трудятся увлеченно. Читают специальную литературу, приглашают специалистов, с утра и до вечера дискутируют о тех или иных удобрениях, состоянии почвы. Мне очень понравилось огородничать. Так прекрасно наблюдать, как изо дня в день

растут овощи и фрукты. Ты когда-нибудь выращивал арбузы? Они становятся такими пузатыми, как маленькие зверьки.

Мы ежедневно питаемся свежими овощами. Нам, конечно же, дают и мясо, и рыбу, но чем дольше здесь живешь, такой еды хочется все меньше. Потому что овощи – сочные и очень вкусные. Бывает, мы ходим в лес и собираем там грибы и съедобные травы. У нас есть и такие специалисты (подумать только – сплошные специалисты!), которые подсказывают, какой гриб съедобный, а какой – нет. За это время я поправилась на три килограмма, и сейчас у меня самый подходящий вес. Все – благодаря физическим упражнениям и правильному и своевременному питанию.

В остальное время мы читаем, слушаем пластинки, вяжем. Ни телевизора, ни радио здесь нет, зато очень хорошая библиотека и подборка пластинок. Фонотека разнообразная: от собрания симфоний Малера до «Битлз». Я беру там пластинки и слушаю их в своей комнате.

Одна из проблем этого заведения: один раз попав сюда, выбраться очень непросто, а точнее – страшно. Пока мы здесь, наше состояние – очень мирное и спокойное, и мы можем естественным образом противостоять своим искажениям. Мы себя чувствуем здесь здоровыми. Но мы совершенно не уверены, сможем ли вписаться обратно во внешний мир.

Мой врач надеется, что вскоре я смогу контактировать с внешними людьми. «Внешние люди» – это обычные люди из обычного мира, но у меня всплывает в памяти лишь твое лицо. По правде говоря, я не особо хочу видеть родителей. Они очень за меня переживают, и от разговора с ними мне только станет еще тоскливее. К тому же, я должна тебе кое-что разъяснить. Не знаю, получится у меня или нет, но это такая важная проблема, что ее не избежать.

Однако не принимай мои слова близко к сердцу. Я никого не хочу обременять своим существом. Я лишь чувствую твое доброе отношение, очень рада ему и откровенно пытаюсь выразить свое настроение. Пожалуй, сейчас мне такое расположение необходимо. Извини, если я как-то обидела тебя своими словами. Правда. Как я писала тебе раньше, я куда более неполноценный человек, чем ты считаешь.

Иногда я думаю, что было бы, если б мы встретились и

понравились друг другу в обычной ситуации. Я – нормальный человек, ты – тоже (причем, с самого начала). Как все сложилось бы, не будь Кидзуки? Однако это «если» значит очень много. По крайней мере, я стремлюсь стать справедливой и честной. Больше мне ничего не остается. И я хочу, чтобы мое настроение хоть немного стало понятно тебе.

В этом заведении, в отличие от обычных больниц, свидания не ограничены. Необходимо лишь позвонить накануне, и встречайся, когда захочешь. Можно вместе питаться, есть где переночевать. Приезжай, когда сможешь. Я очень буду ждать. Вместе с письмом отправляю карту. Извини, что оно получилось таким длинным.

Я закончил письмо и перечитал его с самого начала. Затем спустился вниз, купил банку колы, и еще раз прочел от начала до конца. Сунув семь листков в розовый конверт, я положил его на стол. Мое имя и адрес были написаны не свойственным девушкам аккуратным мелким почерком. Я сел за стол и некоторое время разглядывал конверт. На адресе с обратной стороны значилось «Амирё». Странное название. Поразмышляв над ним минут пять-шесть, я предположил, что оно – от французского слова «ami»^[31].

Положив письмо в ящик, я переоделся и вышел на улицу. Казалось, не оставь я его в столе, перечитывал бы десять, а то и двадцать раз. И я пошел в одиночестве погулять по воскресному Токио, как это мы не раз делали вместе с Наоко. Размышляя над каждой строчкой ее письма, я бродил по городским улицам. Начало смеркаться. Я вернулся в общежитие и набрал номер «Амирё» – пристанища Наоко. Ответила девушка из приемной. Я назвал имя Наоко и спросил, можно ли приехать на свидание завтра после обеда. Она записала мое имя и попросила перезвонить минут через двадцать.

Я перезвонил после ужина. Ответил тот же голос:

– Свидание возможно. Пожалуйста, приезжайте. – Я поблагодарил и повесил трубку. Затем положил в рюкзак смену белья и предметы туалета. А затем, выпивая коньяк, принялся читать «Волшебную гору», пока не захочется спать. Но заснул я только во втором часу.

Глава 6

Проснувшись в понедельник в семь, я спешно умылся, побрился и, не позавтракав, сразу пошел в кабинет коменданта за разрешением на двухдневную поездку в горы. Я и прежде несколько раз отправлялся в небольшие походы, когда возникало свободное время, поэтому комендант лишь кивнул. В переполненной утренней электричке я добрался до токийского вокзала, где купил билет на свободное место до Киото, буквально пулей влетел в самый скорый поезд «Хикари» и только там слегка перекусил сэндвичами и горячим кофе. Примерно с час подремал.

В Киото поезд пришел почти в одиннадцать. По инструкции Наоко, я сел в автобус и доехал до станции Сандзё. Там нашел автобусный терминал некоей частной железной дороги и спросил, когда и с какого перрона отправляется автобус номер шестнадцать. В одиннадцать тридцать пять с самой дальней остановки. До нужного мне места – чуть больше часа. Я купил билет, пошел в ближайший книжный магазин и приобрел себе карту. Расположившись на скамейке в зале ожидания, я искал, где именно находится «Амирё». Судя по карте, где-то далеко в горах. Автобус, продвигаясь на север, переваливает несколько хребтов, потом дорога заканчивается, а он разворачивается и едет обратно в город. Моя остановка – почти рядом с конечной. «Оттуда вверх ведет тропинка, пройдешь по ней минут двенадцать и увидишь “Амирё”», – писала Наоко. «В горах должно быть тихо», – подумал я.

Посадив двадцать пассажиров, автобус отправился. Он ехал вдоль реки Камо на север от города. Пейзаж становился все унылее, все чаще мелькали поля и пустыри. Черная черепица крыш и полиэтиленовые парники купались в ярких лучах осеннего солнца. Вскоре автобус углубился в горы. На серпантине дороги водитель едва успевал вертеть рулем влево-вправо, и меня слегка затошнило. В желудке переливался утренний кофе. Постепенно повороты стали попадаться реже, я было облегченно выдохнул – как вдруг автобус въехал в зябкую рощу криптомерии. Деревья росли густо, как в первобытном лесу, закрывали солнце, окутывая все мраком. Внезапно воздух из открытого окна стал холодным и заколот кожу своею влагой. Автобус долго ехал по этой чаще, и когда уже начало казаться, что весь мир навеки заполонили криптомерии, лес закончился, и мы выехали в горную котловину. Вокруг раскинулись зеленые поля, а вдоль дороги текла красивая речка. Вдалеке виднелась тонкая струйка дыма, висело

постиранное белье, лаяли собаки. Перед одним домом висилась поленница дров под самую крышу, а наверху спала кошка. Дома-то вдоль дороги стояли, однако совершенно не попадались на глаза люди.

Картина повторялась несколько раз: автобус то углублялся в лес, то выезжал к жилью и опять углублялся в лес. На каждой остановке в деревеньках выходило по несколько человек, но при этом никто не садился. Через сорок минут автобус остановился на перевале, с которого открывался красивый вид. Водитель объявил, что здесь придется подождать минут пять-шесть, так что желающие могут выйти. Оставшиеся пассажиры – четыре человека, включая меня, – спустились на землю, размялись, покурили, любуясь расстилавшейся перед глазами панорамой Киото. Водитель справил малую нужду. Красиво загорелый мужчина лет пятидесяти, севший в автобус с большой коробкой, перевязанной веревкой, спросил, куда я собираюсь? В горы? Объяснять что-то было лень, и я сказал «да».

Вскоре с другой стороны поднялся автобус и остановился сбоку от нашего. Вышел водитель, перекинулся парой слов с коллегой, и оба разошлись по кабинам. Пассажиры вернулись на места, и автобусы тронулись каждый в свою сторону. Почти сразу стало понятно, зачем мы стояли на перевале. Едва спустившись, дорога резко сузилась так, что два автобуса ни за что бы не разъехались. Навстречу попадались машины и микроавтобусы, и всякий раз кому-нибудь приходилось сдавать назад до специального кармана дороги, плотно прижимаясь к краю. Жилье в речной долине стало поменьше, поля – уже, горы – круче и подступали прямо к дороге. И только собак не убавлялось. Стоило показаться автобусу, они поднимали лай, как бы соревнуясь между собой.

Вокруг остановки, где я вышел, не было ничего: ни домов, ни полей. Лишь одиноко возвышался знак остановки, протекала узкая речушка, и начинался пешеходный маршрут. Я закинул рюкзак на спину и начал взбираться по этой тропинке. По левую руку протекала река, по правую тянулся смешанный лес. Я поднимался так минут пятнадцать, а затем справа показалась боковая дорога, по которой могла бы проехать машина. На въезде маячил щит: «“Амирё”. Посторонним вход воспрещен».

На дороге отчетливо виднелись следы колес. Из соседних зарослей изредка доносилось хлопанье птичьих крыльев. Резкий звук, точно его усилили специально. Вдалеке раздался одинокий ружейный выстрел – но очень тихо, будто сквозь многослойный фильтр.

За рощей виднелась белая каменная ограда, примерно моего роста. Над ней – ни сетки, ни проволоки. При желании перелезть можно запросто.

Черные створки ворот железные, по виду прочные, но сами ворота распахнуты настежь. В сторожке – ни малейшего признака охраны. Сбоку от ворот висел такой же щит, как на въезде. Но в сторожке, видимо, кто-то все же обитал: в пепельнице скрючились три окурка, в чашке – недопитый чай, на полке стоял транзисторный приемник, сухо отсчитывали время часы на стене. Я решил подождать привратника, но никто возвращаться сюда, похоже, не собирался. Тогда я два-три раза нажал на кнопку звонка. Сразу за воротами начиналась парковка, на которой стояли микроавтобус, джип и темно-синий «вольво». Всего три машины на стоянке, рассчитанной минимум на тридцать.

Через две-три минуты со стороны рощи показался привратник в темно-синей форме верхом на желтом велосипеде – высокий лысоватый мужчина лет шестидесяти. Он прислонил велосипед к сторожке и извинился, что заставил меня ждать, но сожаления в голосе его было маловато. На крыле велосипеда белой краской было выведено число «32». Когда я назвался, мужчина куда-то позвонил, дважды повторив мое имя. Ему что-то сказали, в ответ на это он отчеканил: «Да, хорошо, понял!» – и положил трубку.

– Идите, значит, в главный корпус. Там спросите Исида-сэнсэя, – сказал он. – Пойдете по этой тропинке, увидите кольцевую дорожку. Повернете на второе... слышите? – на второе слева ответвление. Упретесь в старый особняк. Далее нужно повернуть направо и пройти через еще одну рощицу. В глубине – бетонное здание. Это и есть главный корпус. Везде расставлены указатели, так что заблудиться трудно.

Следуя указаниям привратника, я свернул на вторую слева дорожку, и в глубине рощицы показался старый дом, с виду похожий на обветшавшую дачу. Во дворе виднелись красивые камни, хорошо ухоженные деревья, свешивались фонарики. Судя по всему, раньше здесь и была чья-то дача. Я свернул направо, пересек рощу и увидел перед собой трехэтажное здание из железобетона. Выстроили его в ложбинке, и, несмотря на свои три этажа, оно не производило особого впечатления. Фасад выглядел просто и опрятно.

Вход оказался на втором уровне. Поднявшись на несколько ступенек, я открыл стеклянную дверь и вошел. В приемной сидела молодая девушка в красном платье. Я представился и сказал, что мне нужно увидеться с Исида-сэнсэем. Девушка улыбнулась, показала мне на коричневый диван и еле слышно предложила немного подождать. Затем набрала номер. Я снял с плеча рюкзак, сел на воздушно-мягкий диван и осмотрелся. Чистый и уютный холл. Несколько горшков с декоративными цветами, на стене –

очень приличная картина маслом, в натертом до блеска полу отражается моя обувь. Дожидаясь сэнсэя, я неотрывно смотрел на это отражение.

– Вот-вот придет, – один раз обратилась ко мне девушка. Я кивнул. В голове пронеслась мысль: «Как же все-таки здесь тихо». Вокруг – ни единого звука. «Как будто у них сейчас сиеста, – подумал я. – И люди, и звери, и насекомые, и деревья – все будто уснули в этот тихий полдень».

Однако вскоре послышались мягкие шлепки резиновых подошв. Появилась женщина средних лет с очень короткими и жесткими на вид волосами. Уселась рядом со мной и закинула ногу на ногу. Пожала мне руку – и при этом внимательно рассмотрела ее с обеих сторон.

– Судя по всему, последние несколько лет музыкальные инструменты брать в руки не приходилось? – первым делом спросила она.

– Точно, – удивился я.

– По рукам видно. – И она улыбнулась.

Странная женщина. На лице – очень много морщин, они бросаются в глаза, но не старят ее, а наоборот подчеркивают превосходящую любой возраст молодость. Эти морщины ей к лицу, будто лежали там с самого рождения. Смеется она – смеются вместе с ней морщины. Сердится – и морщины сердятся. А когда она не смеется и не сердится, морщины, вдруг ставшие ироничными, вальяжно расползаются по лицу. Женщине – под сорок, она не только приятная, но и чарующая. И она понравилась мне с первого взгляда.

Ее волосы были пострижены как попало, местами торчали дыбом, челка неровно спадала на лоб, но при этом прическа ей очень шла. Голубой халат поверх белой майки, хлопковые ярко-кремовые брюки и кроссовки. Худая настолько, что груди почти не видно. Ее губы то и дело саркастично кривились, а в уголках глаз шевелились мелкие морщинки. Этакая душевная и умелая брюзга-плотничиха.

Она слегка опустила подбородок и, скривив губы, осмотрела меня с головы до ног. Казалось, сейчас достанет из кармана рулетку и обмерит всего меня.

– Умеешь играть на инструментах?

– Нет, не умею, – ответил я.

– Жаль. Хорошо, если хоть на чем-нибудь играл бы.

– Точно, – ответил я, совершенно не понимая, к чему эти разговоры о музыке.

Она достала из нагрудного кармана сигарету «Сэвэн Старз», прикурила и с наслаждением выпустила клуб дыма.

– Значит, тебя зовут Ватанабэ? Я подумала, что перед встречей с Наоко

тебе будет полезно кое-что послушать. Поэтому первым делом устроила этот разговор. Это заведение немного отличается от всех остальных, и если не знать, в чем дело, можно попасть впросак. Ты, наверное, толком ничего о нем и не слышал?

– Нет, почти ничего.

– Ну, тогда начнем с самого начала, – сказала она и, как бы о чем-то вспомнив, щелкнула пальцами. – Ты пообедал? Поди голодный?

– Чего-нибудь бы съел.

– Тогда пошли в столовую. За едой и поговорим. Обед уже закончился, но если пойти прямо сейчас, что-нибудь еще осталось.

Она встала раньше меня и быстрыми шагами прошла по коридору, спустилась по лестнице и зашла в столовую на первом этаже. Столовая была рассчитана человек на двести, но сейчас использовали только половину мест. Другая половина была отделена перегородкой. Казалось, будто я попал на курорт не в сезон. На обед давали картофельное рагу с лапшой, овощной салат, апельсиновый сок и хлеб. Как и писала Наоко, овощи оказались на удивление вкусными. Я съел все подчистую.

– А ты действительно очень аппетитно ешь, – восхитилась женщина.

– Так ведь... вкусно. К тому же, я с утра ничего не ел.

– Если хочешь, съешь мою порцию. Вот. Я уже сыта. Ну как, будешь?

– Не откажусь.

– У меня малюсенький желудок – много не влезает. А если чего-то не хватает, я курю, – сказала она и достала еще одну сигарету. – Да, совсем забыла. Зови меня Рэйко. Меня все так зовут.

Она с любопытством наблюдала, как я, не забывая откусывать хлеб, ел ее порцию рагу.

– Вы – лечащий врач Наоко? – поинтересовался я.

– Я – врач? – Она удивленно скривилась. – С чего ты взял?

– Мне сказали найти Исида-сэнсэя.

– А-а, вот в чем дело. Да. Я здесь преподаю музыку, вот некоторые и зовут «сэнсэй». На самом деле, я тоже больная. Но живу здесь уже семь лет, преподаю музыку, помогаю канцелярии и уже сама не знаю, кто я: пациентка или сотрудница. Наоко не писала обо мне?

Я помотал головой. Она смутилась.

– Стало быть, мы с Наоко живем в одной комнате. То есть, соседки. С ней интересно. Разговариваем на разные темы. Нередко и о тебе.

– Например?

– Кстати, прежде всего тебе нужно объяснить вот что, – совершенно пропустив мимо ушей мой вопрос, сказала Рэйко. – Первым делом ты

должен понять: здесь не обычная больница. Проще говоря, здесь не лечат, а опекают. Несомненно, здесь есть врачи, которые ежедневно делают обход. Но он, по сути, сводится к измерению температуры. Никакой «усиленной терапии», как в обычных больницах, здесь нет. Поэтому нет решеток, и ворота распахнуты настежь. Люди приходят сюда по своей воле и так же, по своей воле, уходят. Но принимают сюда только тех, кому желательна такая опека. Кого попало не берут: те, кому требуется специализированное лечение, направляются в заведение по профилю. Пока ясно?

– В целом, да. Кроме одного: в чем заключается «опека»?

Рэйко, выдохнув дым, допила апельсиновый сок.

– Жизнь здесь – и есть опека. Правильный режим, физкультура, отдаленность от внешнего мира, спокойствие, чистый воздух. Мы сами выращиваем овощи и практически живем на самообеспечении. Нет ни телевизора, ни радио. Совсем как в популярных ныне коммунах. Правда, в отличие от коммун, чтобы попасть сюда, приходится немало заплатить.

– Что, так дорого?

– Не очень дорого, но немало. Заведение-то, сам видишь, какое. Просторное, пациентов мало, персонала – достаточно. Я, например, здесь уже давно, наполовину как персонал, поэтому денег с меня не берут. И то ладно... Кофе хочешь?

Я сказал, что хочу. Она затушила сигарету, поднялась, налила из кофейника две чашки и принесла их на стол. Положила сахар, перемешала и, скривившись, выпила.

– Этот санаторий – предприятие не прибыльное. Поэтому и расходы относительно невелики. Один человек пожертвовал землю. Раньше вся эта территория была его дачей. Еще лет двадцать назад. Видел старый особняк?

– Видел, – сказал я.

– Тогда других построек не было. Он собрал здесь больных и устроил групповую опеку. Зачем ему это понадобилось? Его сын страдал душевным расстройством, и один врач посоветовал ему попробовать такой метод. Теория сводилась к тому, что если жить в уединении, помогая друг другу, физически работать под контролем врачей, с помощью их советов – можно вылечивать некоторые душевные заболевания. Вот так все и началось. Постепенно расширялись, получили юридический статус, обзавелись полями, пять лет назад построили спортзал.

– И как – лечение оказалось эффективным?

– Да. Конечно, не панацея, некоторым не помогает, но немало людей, кого в других местах считали безнадежными, вышли отсюда здоровыми.

Самое ценное здесь – все друг другу помогают. Люди понимают собственную неполноценность и стараются друг друга поддерживать. В других местах все иначе. К сожалению. В других местах врач – это врач, больной – это больной. Пациент ждет от врача спасения, и врач его спасает. Мы же здесь спасаем друг друга. Мы – зеркало друг друга, а врачи – наши товарищи. Они рядом, они приходят нам на помощь, когда считают это необходимым. Однако бывают случаи, когда мы спасаем их. Когда разбираемся в чем-то лучше. Например, я даю одному врачу уроки игры на пианино, а еще один пациент учит медсестру французскому. Среди больных немало талантливых профессионалов. Поэтому здесь все мы равны. И пациенты, и персонал, и даже ты. Пока ты здесь, ты – один из нас. Я помогаю тебе, а ты – мне. – И Рэйко расправила морщины на лице в доброй улыбке. – Ты помогаешь Наоко, а она – тебе.

– Что мне нужно делать? Конкретно?

– Во-первых, самому хотеть помочь и считать, что кто-то должен помочь тебе. А во-вторых, быть честным. Не лгать, ничего не замалчивать и не скрывать то, что тебя беспокоит. Только и всего.

– Постараюсь, – сказал я. – А почему вы живете здесь семь лет? Сколько мы беседуем, я не заметил ничего странного.

– Это днем, – мрачно обронила Рэйко. – А ночью – конец всему. С приходом темноты у меня выступает пена и я катаюсь по полу.

– Что, правда? – спросил я.

– Враки. С какой бы стати? – изумленно замотала она головой. – Я уже вылечилась. В настоящий момент. Просто мне нравится жить здесь и помогать выздоровлению других людей. Преподаю музыку, выращиваю овощи. Все – как друзья. С другой стороны, что у меня есть во внешнем мире? Мне уже тридцать восемь, скоро сорок. В отличие от Наоко. Ну, уеду я отсюда, никто меня не ждет, податься некуда – ни друзей, ни приличной работы. К тому же, я провела здесь целых семь лет. Что творится в мире – совсем не знаю. Ну, конечно, время от времени я читаю в библиотеке газеты. Но ни разу за все годы не отлучилась от этого места ни на шаг. Допустим, уйду я отсюда, и что?

– Может, откроется новый мир? – предположил я. – Есть смысл попробовать.

– Может, ты и прав, – сказала Рэйко, теребя в руках зажигалку, – но дело в том, Ватанабэ, что у меня есть на то свои причины. Если хочешь, как-нибудь расскажу.

Я кивнул.

– А как Наоко, ей лучше?

– Да, мы так считаем. Первое время она была в таком смятении, что мы за нее сильно переживали. Сейчас успокоилась, уверенно разговаривает и может спокойно выражать свои мысли... Одним словом – на пути к выздоровлению. Однако ей нужно было начать лечение намного раньше. Симптомы появились, когда умер Кидзуки. Об этом должны были знать и ее семья, и она сама. К тому же... семейные обстоятельства...

– Какие обстоятельства? – удивился я.

– А ты не знал? – в свою очередь, еще больше удивилась Рэйко.

Я помотал головой.

– Тогда спроси об этом у Наоко сам. Так будет лучше. Она о многом собирается честно тебе поведать. – Рэйко еще раз помешала ложечкой кофе и сделала глоток. – И еще. Есть одно правило, о котором лучше сказать тебе сразу: вам с Наоко нельзя оставаться вдвоем. Такие порядки. Наедине с посетителем оставаться запрещается. Поэтому постоянно требуется присутствие наблюдателя – то есть, меня. Так что извини, но с этим придется смириться. Хорошо?

– Хорошо, – улыбнулся я.

– Но ты не стесняйся. Разговаривай с Наоко о чем захочешь, и не обращай на меня внимания. Я знаю о вас, пожалуй, все.

– Все?

– Почти, – ответила она. – Ну а как иначе? Мы ведь проводим групповые сессии, поэтому знаем друг о друге много разного. К тому же, постоянно беседуем с Наоко наедине. Здесь особо скрывать нечего.

Я пил кофе и смотрел на лицо Рэйко.

– Если честно, я не совсем понимаю, правильно ли поступил по отношению к Наоко в Токио. Долго об этом размышлял, но до сих пор не могу дать себе ответ.

– Этого не знаю ни я, – сказала Рэйко, – ни Наоко. Вы сами должны это обсудить и понять. Ведь так? Что бы ни происходило, все – к лучшему. Лишь бы вы понимали друг друга. А о том, правильно это или нет, можно подумать после.

Я кивнул.

– Думаю, мы втроем сможем друг другу помочь: ты, Наоко и я. Быть честными друг к другу и хотеть помочь – вот главное. Временами от такого треугольника очень даже неплохой эффект. Ты сколько здесь пробудешь?

– Послезавтра вечером хочу вернуться в Токио. На работу нужно. А в четверг у меня контрольная по немецкому.

– Хорошо, тогда оставайся у нас. И денег с тебя никто не возьмет, и поговорить сможешь вдоволь, не обращая внимания на время.

– У кого это – у нас?

– У меня и Наоко. Комнаты – отдельные, есть диван-кровать. Так что за ночлег не беспокойся.

– А ничего, что так? В смысле, что посетитель-мужчина ночует в комнате женщин?

– Ну ты же не полезешь ночью к нам в спальню и не станешь по очереди насиловать нас?

– Конечно, нет.

– Тогда какие проблемы? Ночуй у нас – поговорим обо всем не спеша. Так будет лучше. Сможем лучше понять друг друга, слушаешь, как я играю на гитаре. Говорят, неплохо.

– Вам действительно это не в тягость?

Рэйко зажала во рту третью сигарету, скривила уголки рта и прикурила.

– Мы вдвоем уже говорили на эту тему. И вместе приглашаем тебя. В частном порядке. Думаю, такое предложение лучше вежливо принять.

– С удовольствием, – сказал я.

Морщины в уголках глаз Рэйко стали глубже, и она посмотрела мне в глаза.

– Как-то странно ты говоришь, – заметила она. – Не хочешь ли ты сказать, что подражаешь тому пареньку из «Над пропастью во ржи»?

– Да ну, – рассмеялся я в ответ.

Рэйко смеялась, не выпуская сигарету изо рта.

– А ты – человек прямой. По тебе видно. Я здесь давно и столько за это время повидала разных людей... Я разбираюсь, кому открыть душу можно, а кому – нет. Вот тебе – можно. Если точнее, ты можешь распахнуть человеку душу, если захочешь.

– И тогда что?

Рэйко весело сложила на столе руки.

– Человек поправится.

Пепел упал на стол, но она этого не заметила.

Мы вышли из главного корпуса, миновали пригорок, оставили позади бассейн, теннисный корт, баскетбольную площадку. На корте играли двое мужчин: худощавый пожилой и упитанный молодой. Играли неплохо, но на мой взгляд, – в какую-то совсем иную игру. Казалось, они даже не играют, а увлечены упругостью мяча и занимаются его исследованием. Как-то вдумчиво, с энтузиазмом они перебрасывали мяч друг другу и при этом обливались потом. Игравший к нам ближе молодой, увидев Рэйко, прервал

игру, подошел и, улыбаясь, обменялся с нею парой-тройкой фраз. В стороне от корта человек бесстрастно постригал газон громоздкой газонокосилкой.

Мы прошли вперед. Там начиналась роща, по которой были разбросаны пятнадцать или двадцать скромных и аккуратных европейских домиков. Почти перед каждым стоял желтый велосипед – такой же, как у привратника.

– Здесь живут семьи сотрудников, – объяснила мне Рэйко. – Не обязательно ездить в город. Все необходимое можно собрать прямо здесь, – на ходу продолжала она. – Почти все продукты питания, как я уже говорила, – из подсобного хозяйства. Есть своя птицеферма, поэтому яйцами себя обеспечиваем сами. Книги, пластинки, спортивный инвентарь имеются, даже есть некое подобие супермаркета, каждую неделю приезжает парикмахер, по выходным показывают кино. Можно попросить сотрудников, которые живут в городе, купить что-нибудь особенное. Одежду можно заказывать по каталогам. Так что никаких неудобств.

– А в город выходить нельзя?

– Нет. Конечно, поход к зубному – особый случай, за исключением которого, как правило, разрешение не выдается. Человек вправе свободно покинуть это место, но больше он сюда уже вернуться не может. Он как бы сжигает за собой мост. Съездить на два-три дня в город и вернуться обратно нельзя. Представляешь, если все начнут сновать туда-сюда.

Миновав рощу, мы вышли на пологий склон, по которому были беспорядочно разбросаны двухэтажные и очень странные деревянные дома. На вопрос, что в них странного, вряд ли получится дать ответ, но странность эта сразу бросалась в глаза. Будто смотришь на картину, где художник попытался изобразить приятную нереальность. «Соберись Дисней снять мультфильм по картинам Мунка, получилось бы что-то в этом роде», – мелькнула мысль. Все дома были совершенно одинаковой формы и покрашены в один цвет. Форма – близкая к кубу, симметричные бока, широкий вход, много окон. Между домами изгибалась дорожка, похожая на ту, что бывают в автошколе. Перед каждым домом виднелись хорошо ухоженные клумбы. Вокруг ни души. Шторки на всех окнах опущены.

– Это район «С». Здесь живут женщины, ну то есть, мы. Домов всего десять. Каждый разделен на четыре части, в каждой части – по двое. В общей сложности, рассчитано на восемьдесят человек, но сейчас занято всего тридцать два места.

– Очень тихо, – сказал я.

– В это время суток здесь никого нет, – сказала Рэйко. – Я тут на

особом положении, поэтому могу поступать по своему усмотрению. Все остальные занимаются каждый по своей программе. Некоторые – физкультурой, некоторые – уборкой двора. У кого-то групповые процедуры, кто-то отправился в горы собирать съедобные растения. Каждый составляет себе программу и по ней занимается. Так, постой, а что сейчас делает Наоко? Вроде бы переклеивает обои, или перекрашивает стены. Вылетело из головы. Все эти занятия – до пяти часов вечера.

Она вошла в блок под номером «С-7», поднялась по лестнице в конце коридора и открыла правую дверь, которая оказалась не заперта. Рэйко показала мне жилище. Простая и уютная квартира: гостиная, спальня, кухня и ванная. Никаких лишних украшений, громоздкой мебели, но при этом жилье не казалось убогим. Не знаю, почему, но здесь я сразу расслабился и почувствовал себя как дома. Так со мной уже было, когда передо мною села Рэйко. В гостиной я увидел диван, стол, кресло-качалку. На кухне еще один стол – обеденный. И на каждом столе – массивная пепельница. В спальне имелась ниша, две кровати с бра и тумбочками, и на одной лежала раскрытая книга. В кухне стоял холодильник, небольшая электрическая плитка, имелась кухонная утварь, в которой можно было приготовить незамысловатую еду.

– Ванны нет, зато есть душ. Тоже неплохо, – сказала Рэйко. – Ванна и стиральная машина – общего пользования.

– Ну, вы здесь живете! – воскликнул я. – В нашем общежитии – только потолок да окна.

– Ты так говоришь, потому что не знаешь, какие здесь зимы. – Она похлопала меня по спине, усаживая на диван, и сама присела рядом. – Холодные и долгие. Куда ни посмотришь, кругом – снег, снег и снег. Промокаешь и замерзаешь до самых костей. Мы вынуждены почти каждый день его убирать. Зимой мы больше времени сидим в тепле, слушаем музыку, беседуем, вяжем. Так что без таких апартаментов нам не обойтись. Вот приедешь к нам зимой – сам увидишь.

Рэйко глубоко вздохнула, словно вспомнила долгую зиму. Сложила руки на колени.

– Можно опустить спинку – получится кровать, – постучала она по дивану. – Мы спим в спальне, а ты располагайся здесь. Идет?

– Мне все равно.

– Вот и хорошо, – сказала Рэйко. – Мы вернемся часов в пять. А пока и у меня, и у Наоко дела. Ничего, что тебе придется здесь подождать?

– Я как раз позанимаюсь немецким.

Рэйко ушла. Я лег на диван и закрыл глаза. И в окутавшей меня

гробовой тишине вдруг вспомнил нашу с Кидзуки поездку на мотоцикле. «Кажется, тогда тоже была осень, – припоминал я. – Сколько лет уже прошло? Четыре года». Я вспомнил запах его кожанки и ревущую красную «ямаху». Мы поехали далеко на море и вернулись вечером усталые, как черти. Обычная поездка – ничего особенного, но я ее почему-то запомнил. В ушах завывал осенний ветер, и когда крепко обняв Кидзуки, я запрокидывал голову, казалось, будто тело мое запустили в космос.

Долго я пролежал на диване, вспоминая одно за другим события той поры. Не знаю, почему, но, лежа на боку в той комнате, я постепенно восстанавливал в памяти со временем забывшиеся пейзажи и факты. Некоторые – веселые, некоторые – немного печальные.

Интересно, сколько времени я так провел? Меня настолько захлестнул поток неожиданных воспоминаний (которые и вправду струились из меня, как родник из расщелины скалы), что совсем не обратил внимания, когда тихонько открылась дверь и в комнату вошла Наоко. Я просто посмотрел и увидел ее. Приподнял голову и какое-то время не отрывался от ее глаз. А она, присев на ручку дивана, смотрела на меня. Сначала мне показалось, что она выглядит не так, как я ее представлял. Но передо мной была живая Наоко.

– Спал? – очень тихо спросила она.

– Нет, думал о разном, – ответил я и встал с дивана. – Как ты?

– Спасибо, хорошо, – улыбнулась Наоко. Ее улыбка казалась мне далеким бледно-голубым пейзажем. – У меня мало времени. Вообще-то сюда приходить нельзя, но я выкроила минутку. Хотя нужно уходить. Скажи, у меня жуткая прическа?

– Да нет, очень милая, – ответил я. С этой аккуратной стрижкой она выглядела, совсем как ученица младших классов, – и, как и прежде, закалывала челку с одной стороны. Ей действительно очень шла эта прическа, да и сама она, казалось, к ней привыкла. Наоко походила на красавицу со средневековой гравюры.

– Надоели длинные волосы, вот Рэйко меня и подстригла. А ты серьезно? Про милую?

– Серьезно.

– А мама сказала, что она ужасная. – Наоко сняла заколку, распустила волосы и, несколько раз проведя по ним пальцами, опять заколола. Заколка была в форме бабочки. – Мне очень хотелось увидеть тебя, прежде чем нас станет трое. Не разговаривать, а так – посмотреть на тебя, привыкнуть. Не приди я сейчас, привыкнуть было бы труднее. Такая уж я неумеха.

– И как? Привыкла?

– Немного, – ответила она и опять взяла в руки заколку. – Но мне уже пора. Надо идти.

Я кивнул.

– Спасибо тебе за то, что приехал. Я очень рада. Но если здесь тебе станет в тягость, скажи без стеснения. Здесь непростое место, специфичная система, и есть такие, кто привыкнуть никак не может. Поэтому если такое почувствуешь, скажи честно, ладно? Я не расстроюсь. Здесь все – честные, и мы откровенно говорим о разном.

– Обязательно сознаюсь, если что.

Наоко присела рядом на диван и прижалась ко мне. Я обнял ее, и она опустила голову мне на плечо, уткнулась носом в шею. И сидела не шевелясь, будто проверяла мою температуру. Нежно обнимая ее, я чувствовал тепло в груди. Вскоре Наоко молча встала и вышла так же тихо, как и пришла.

Ушла Наоко, и я заснул на диване. Я не собирался спать, но глубоко уснул – такого давно со мной не случалось – от ее ощущения. На кухне стояла ее посуда, в умывальнике лежала ее зубная щетка, в спальне стояла ее кровать. И в этой комнате я спал глубоким сном, как бы выжимая из всех своих клеток усталость до последней капли. И видел сон: в сумерках порхала бабочка.

Когда я открыл глаза, часы уже показывали четыре тридцать пять. По-иному светило солнце, стих ветер, изменилась форма облаков. Я был весь мокрый от пота, поэтому достал из рюкзака полотенце и вытер лицо, передел рубашку. Затем выпил на кухне воды, и посмотрел в окно рядом с мойкой. Виднелось окно соседнего дома, и в нем на нитках свисали очень аккуратно и точно вырезанные из бумаги силуэты птиц и облаков, коров и кошек. Окрестности по-прежнему оставались безлюдны и бесшумны. Казалось, я один живу среди ухоженных развалин.

Люди начали возвращаться в блок «С» в начале шестого. Я посмотрел в кухонное окно: внизу шли две или три женщины. Все были в шляпах, скрывавших лица, и сколько им лет, сказать было трудно. По голосам – уже не молодые. Они свернули за угол и скрылись из виду. Показались еще четыре женщины – и они повернули за тот же угол. Начало смеркаться. Из окна гостиной просматривалась роща и горы, над которыми словно парил зеленый луч.

Наоко и Рэйко вернулись вместе в половине шестого. Мы с Наоко поздоровались, как будто до этого не виделись. Наоко очень смущалась. Рэйко обратила внимание на мою книгу и поинтересовалась, что я читаю.

– «Волшебная гора» Томаса Манна, – ответил я.

– Стала бы я брать с собой в такое место такую книгу? – укоризненно воскликнула Рэйко. В чем-то она была права.

Рэйко приготовила кофе. Я рассказал Наоко о внезапном исчезновении Штурмовика и о светлячке, которого он подарил мне в день нашей последней встречи.

– Жалко, – искренне сказала Наоко, – я хотела услышать о его новых приключениях.

Рэйко тоже заинтересовали эти истории, и мне ничего не осталось, как рассказать все с самого начала. Естественно, Рэйко от души позабавилась. До тех пор, пока жили истории о Штурмовике, в мире царил смех.

В шесть пошли в столовую на ужин. Мы с Наоко взяли жареную рыбу, овощной салат, рис и суп мисо. Рэйко ограничилась салатом с макаронами и кофе. После еды, как всегда, покурила.

– С возрастом организму уже не требуется много пищи, – пояснила она.

В столовой ужинало человек двадцать. Пока они ели, несколько человек зашло, несколько вышло. Столовая, за исключением, пожалуй, разницы людей в возрасте, напоминала общежитскую. Единственное отличие: все голоса были определенной громкости. Никто не кричал, но при этом и не старался говорить тише. Никто громко не смеялся, никто никого не звал, не махал руками. Все тихо беседовали вполголоса. Люди ужинали группами по три-пять человек. Пока кто-то говорил, все внимательно его слушали, кивая головами. Заканчивал говорить один, и в разговор вступал следующий. О чем они говорили, было непонятно, но монологи эти напомнили мне ту причудливую игру в теннис. «В их кругу Наоко говорит точно так же», – предположил я. Странно: на мгновение я ощутил грусть с примесью ревности.

У меня за спиной лысеющий мужчина в белом халате – по виду врач – подробно объяснял нервному молодому парню в очках и женщине средних лет с беличьим лицом, как происходит выделение желудочного сока в условиях невесомости. Парень с женщиной слушали, иногда вставляя «вот оно что» и «да что вы говорите». Но я вслушивался, и меня постепенно одолело сомнение: действительно ли врач этот человек в халате?

Никто здесь не обращал на меня особого внимания, никто не рассматривал в упор и даже не замечал моего присутствия. Мое появление было для них обычным фактом.

Только один раз человек в халате внезапно обернулся и поинтересовался, сколько я здесь пробуду.

- До среды, – ответил я.
- Хорошая сейчас пора. Здесь. Но непременно приезжайте зимой. Так хорошо – все в снегу.
- Наоко, может быть, уедет отсюда до снега, – сказала ему Рэйко.
- И все же зимой хорошо, – повторил он очень серьезно, и мои сомнения стали только основательней.
- Какие разговоры ведут эти люди? – спросил я у Рэйко. Похоже, она не поняла суть вопроса.
- Как какие? Обычные. О событиях прошедшего дня, о прочитанных книгах, о погоде на завтра. Или ты ждешь, что кто-нибудь встанет и закричит: «Сегодня белая медведица съела звезды, поэтому завтра пойдет дождь!»
- Нет, я не об этом. Просто, все говорят так тихо, что я невольно подумал: о чем?
- Действительно, здесь тихо, поэтому люди естественным образом начинают и говорить тихо. – Наоко аккуратно сложила рыбьи кости на край тарелки и вытерла платком рот. – К тому же нет никакой необходимости разговаривать громко. Как и уговаривать собеседника, или привлекать его внимание.
- Пожалуй, так, – согласился я, но за тихим спокойным ужином среди этих людей я вдруг понял: удивительно, мне не хватает людской суеты. Вдруг стали милы смех, бессмысленные окрики и надменные фразы. Одно время мне действительно надоела вся эта канитель, но сейчас, жуя в странной тишине рыбу, я не мог найти себе места. В столовой – как на выставке специфических инструментов и механизмов: в определенном месте собрались эксперты определенной сферы и обмениваются информацией, понятной только им.

После ужина мы вернулись в комнату. Наоко с Рэйко собрались сходить в общую баню – здесь же, в блоке «С».

- Если хочешь, прими душ, – уходя, сказали они.
- Хорошо, – ответил я. Женщины ушли, а я разделся, залез под душ, вымыл голову и, ероша волосы под феном, поставил пластинку Билла Эванса. И вскоре поймал себя на мысли, что несколько раз крутил эту пластинку в день рождения Наоко. В ту ночь, когда она плакала, а я ее обнимал. Прошло каких-то полгода, но мне казалось, что минула вечность. Наверное, потому, что я много раз мысленно возвращался к событиям той ночи – так часто, что время растянулось и окончательно исказилось.

Ярко светила луна, я выключил лампы и, лежа на диване, слушал

Билла Эванса. Падавший в окно лунный свет вытягивал тени предметов и очень бледно, словно разбавленной тушью, окрашивал стены. Я достал из рюкзака металлическую флягу с коньяком, отхлебнул и, не торопясь, проглотил. Я чувствовал, как тепло медленно перемещается из горла в желудок, а оттуда – во все уголки тела. После еще одного глотка я закрыл крышку и сунул флягу в рюкзак. Казалось, луна покачивается под музыку.

Наоко и Рэйко вернулись минут через двадцать.

– Вот ты нас напугал. Смотрим с улицы, а окна – темные, – сказала Рэйко.

– Грешным делом подумали, что ты собрал вещи и укатил назад в Токио, – вторила ей Наоко.

– Еще чего... Просто давно не видел такую яркую луну – вот и погасил свет.

– Разве это не прекрасно? – воскликнула Наоко – Рэйко, помнишь, у нас оставались свечки после того, как отключали свет. Где они?

– В ящике кухонного стола... вроде бы...

Наоко сходила на кухню и принесла толстую белую свечу. Мы зажгли ее, накапали на тарелку воска и закрепили, чтобы не упала. Рэйко прикурила от огонька. В округе по-прежнему было тихо. Мы втроем сидели вокруг пламени, и начинало казаться, что лишь мы и остались на окраине этого мира. На белой стене перекрещивались и путались ровные тени луны и нервные тени свечи. Мы с Наоко сели рядом на диван, а Рэйко разместилась в кресле-качалке напротив.

– Ну как, выпьем вина? – спросила она у меня.

– А что, здесь можно выпивать? – слегка удивился я.

– Вообще-то нельзя, – почесывая мочку уха, смущенно ответила Рэйко. – Просто все смотрят сквозь пальцы. Вино, там, пиво... главное – не напиваться. Я прошу одного знакомого из персонала, вот он меня понемногу и снабжает.

– Иногда любим поддать на пару, – шутливо сказала Наоко.

– Хорошо вам.

Рэйко достала из холодильника и откупорила бутылку белого вина, принесла три фужера. Вино легкое и приятное – будто его сделали здесь же, на заднем дворе. Закончилась пластинка, Рэйко достала из-под кровати гитарный чехол, слегка подстроила инструмент и неспешно заиграла фугу Баха. Пальцы местами не поспевали, но играла она душевно. Как-то тепло и близко. В самой игре звучала радость.

– Я взялась за гитару уже здесь. В комнате ведь пианино нет. Вот и осваивала сама. Правда, пальцы – не для гитары, но получается сносно. И

мне нравится играть на ней. Такая маленькая, простая и нежная... как уютная теплая комната.

Она сыграла что-то еще. Фрагмент какой-то сюиты. За бокалом вина, всматриваясь в пламя свечи, я прислушивался к Баху и, сам того не заметив, успокоился. После Баха Наоко попросила сыграть «Битлз».

– По заявкам слушателей. – Рэйко прищурилась. – Как сюда приехала Наоко, с тех пор я вынуждена играть сплошных «Битлз». Раб печальной музыки.

И она очень прилично заиграла «Michelle».

– Хорошая мелодия. Мне нравится. – Рэйко отпила вино и закурила. – Словно дождь шуршит над широким лугом.

Затем она сыграла «Nowhere Man» и «Julia». Иногда зарывала глаза и покачивала головой. И опять пила вино и курила.

– Сыграй «Норвежский лес», – попросила Наоко.

Рэйко принесла из кухни копилку в форме зазывно поднявшей лапу кошки, Наоко достала из кошелька стоиеновую монетку и бросила внутрь.

– А это еще зачем? – удивился я.

– У нас так заведено: когда я прошу сыграть эту песню, опускаю монетку. Я специально так делаю, потому что она мне нравится больше всего. Это просьба от сердца.

– Эти деньги идут мне на сигареты.

Рэйко хорошенько размяла пальцы и заиграла «Norwegian Wood». Она вкладывала в мелодию всю душу, но порыву чувств при этом не поддавалась. Я тоже достал из кармана сто иен и опустил в копилку.

– Спасибо, – улыбнулась Рэйко.

– Иногда слушаю и мне становится невыносимо грустно. Не знаю, почему, но мне кажется, что я заблудилась в дремучем лесу, – сказала Наоко. – Я одна, темно и холодно, никто не придет и не спасет. Поэтому она не играет эту песню, пока я не попрошу.

– Как в «Касабланке», – тихонько рассмеялась Рэйко.

Затем Рэйко сыграла несколько композиций боссановы.

Я все это время рассматривал Наоко. Она, как и писала в своем письме, выглядела бодрой, загорелой и подтянутой. Все-таки тут спортивные занятия, работа на свежем воздухе... Неизменными оставались лишь глубокие и прозрачные, как озеро, глаза и стыдливо трепетные губы. В целом, красота ее становилась зрелой. Некая изощренность, сравнимая разве что с завораживающим тонким лезвием, таившаяся в тени ее прежней красоты, отступила, и теперь вокруг Наоко витала особенная, как бы успокаивающая тишина. И красота ее пленяла мое сердце. Я поразился,

насколько может измениться женщина за какие-то полгода. Наоко привлекала меня, как и прежде, а может быть, даже сильнее, но при этом оставалось только жалеть о том, чего она лишилась. Если вдуматься. Своенравная красота девушки, постепенно обретающей самостоятельность, к ней уже не вернется.

Наоко хотела узнать о моей жизни, и я рассказал ей о забастовке, о Нагасаве. Я раньше никогда не рассказывал о нем. Правильно описать его человеческую натуру, уникальную систему мышления и предубежденную нравственность оказалось очень даже непросто. Но она поняла, что я имел в виду. И только о наших с ним сексуальных похождениях я предпочел умолчать. Лишь объяснил, какой уникальный человек – мой близкий товарищ в общежитии. Тем временем Рэйко, обняв гитару, опять заиграла фугу. И по-прежнему отхлебывала вино и затягивалась сигаретой.

– Станный он, видимо, человек, – сказала Наоко.

– Действительно странный, – согласился я.

– А он тебе нравится?

– Не знаю, но вряд ли. О нем нельзя сказать, нравится он или нет. Да и сам он к этому равнодушен. В этом смысле – очень честный, откровенный и стоический человек.

– Странно, что ты считаешь его стойком после такого количества женщин, – рассмеялась Наоко. – Сколько, говоришь, их у него было?

– Думаю, восемьдесят, а то и больше, – ответил я. – Но у него их чем больше, тем меньше смысла в каждой его выходке. И это как раз то, что ему нужно.

– Это и есть стоицизм? – спросила Наоко.

– Для него – да.

Наоко некоторое время размышляла.

– Думаю, он еще хуже меня на голову.

– Согласен, – ответил я. – Но только он подгоняет все свои искривления под систему, а затем аргументирует. Голова-то умная. Попробуй привезти его сюда – выйдет уже через два дня. Это он знает, то знает. Оп – и во всем разобрался. Вот человек. В народе таких уважают.

– Выходит, это у меня не все в порядке с головой, – сказала Наоко. – Я здесь еще не разобралась. Так же, как и в себе самой.

– Все с твоей головой в порядке. Нормальная голова. Я сам себя порой понять не могу. Уж на что обычный.

Наоко уселась с ногами на диван и уткнулась в колени подбородком.

– Знаешь, мне хочется больше узнать о тебе, – сказала Наоко.

– Говорю же, обычный. Из простой семьи. Воспитывался как и все.

Лицом – так себе. Успехи в учебе – посредственные. В голове – обычные мысли.

– А разве не твой любимый Скотт Фицджеральд писал: «Нельзя доверять человеку, считающему себя обычным»? Помнится, я брала у тебя эту книгу почитать, – поддразнила меня Наоко.

– Точно, – признал я. – Но я не умышленно так сказал. Просто на самом деле я считаю себя обычным человеком. Вот, ты, например, можешь найти во мне что-нибудь необычное?

– Естественно, – удивилась Наоко. – Разве ты не понимаешь? Если бы не так, думаешь, я легла бы с тобой в постель? Или ты думал, что я пьяная, и мне уже все равно, что и с кем?

– Нет, конечно, я так не считаю.

Наоко молчала, разглядывая свои носки. Я тоже не знал, что сказать, и пил вино.

– Сколько у тебя было женщин? – как бы очнувшись, тихо спросила Наоко.

– Восемь или девять, – признался я.

Рэйко прекратила играть и неожиданно положила гитару на колени.

– Тебе, поди, еще и двадцати нет? Как же ты живешь?

Наоко молчала и пристально смотрела на меня ясным взглядом. Я рассказал Рэйко, как переспал, а затем расстался с первой своей девчонкой. И что при этом почему-то так и не смог ее полюбить. А затем рассказал и о том, как идя на поводу у Нагасавы, спал с незнакомыми девчонками.

– Я не оправдываюсь, но было тяжело, – сказал я Наоко. – Почти каждую неделю встречаться и разговаривать с тобой, сознавая, что в твоём сердце – лишь Кидзуки. От одной этой мысли становилось тягостно. Может, поэтому я спал с чужими.

Наоко несколько раз кивнула, затем подняла голову и посмотрела мне в лицо.

– Помнишь, ты спросил тогда, почему я не спала с Кидзуки? Ответить?

– Пожалуй, будет лучше.

– Я тоже так думаю. Мертвый навсегда останется мертвецом. А нам нужно жить дальше.

Я кивнул. Рэйко раз за разом отрабатывала сложный пассаж.

– Мне хотелось близости с Кидзуки. – Наоко сняла заколку, распустила волосы и принялась крутить в пальцах пластмассовую бабочку. – Естественно, он тоже хотел меня. Мы пробовали много раз, но все было тщетно. Ничего не получалось. Почему, я тогда не знала, как, впрочем, не знаю и сейчас. Я любила Кидзуки. Если он хотел, я была готова сделать для

него все, что угодно. Но не получалось.

Наоко опять собрала и заколола волосы.

– Внутри все было сухо, – тихо сказала она. – Не раскрывалось. Ничуть. И было больно. Сухо... и больно. Мы пробовали. Пробовали по-разному. Но ничего не помогало. Пытались чем-нибудь смочить, а боль не проходила. Поэтому я всегда делала рукой или ртом... Понимаешь?

Я молча кивнул. Наоко разглядывала в окно луну. Она казалась большой и яркой.

– Была б моя воля, ни за что не стала бы тебе этого рассказывать. Слышишь? Была б моя воля, спрятала бы все это глубоко внутри. Но ничего не поделаешь. Об этом не получается молчать. Я сама ничего не могу понять. Потому что когда я спала с тобой, внутри было очень влажно. Ведь так?

– Да, – ответил я.

– Я... в тот день хотела тебя. Едва мы встретились, я хотела тебя. И все время ждала, когда ты меня обнимешь. Обнимешь, разденешь, начнешь меня ласкать и войдешь в меня. Я никогда раньше так не думала. Почему? Почему так получается? Ведь я вправду любила Кидзуки.

– А меня не любила, но при этом... Так?

– Прости, – сказала Наоко. – Я не хотела тебя обидеть. Но пойми правильно. У нас с Кидзуки были какие-то особые отношения. Мы играли вместе с трех лет. Мы всегда были вместе, разговаривали, понимали друг друга. Так и росли. Первый раз поцеловались в двенадцать лет. Как это было прекрасно... У меня тогда впервые начались месячные, и я пришла вся в слезах к нему – так мы были близки. Поэтому после его смерти я перестала понимать, как вести себя с людьми. И что значит – любить человека.

Она попыталась взять стоявший на столе бокал, но выронила из рук. Бокал упал на пол и покатился, вино разлилось по ковру.

– Хочешь вина? – спросил я у Наоко. Она некоторое время молчала, а потом вся затряслась и заплакала. Она согнулась пополам, спрятала лицо в ладонях, и так же, как тогда, рыдала взахлеб. Рэйко отложила гитару, подошла к Наоко и нежно погладила ее по спине. Положила руку ей на плечо, и Наоко, как младенец, прижалась к ее груди.

– Слушай, погуляй где-нибудь минут двадцать, а? За это время, думаю, все образуется.

Я кивнул, встал, надел поверх рубашки свитер и извинился перед Рэйко.

– Ладно. Чего там. Не переживай, ты здесь ни при чем. Когда

вернешься, все будет в порядке, – подмигнула мне она.

Я прошел по тропинке в нереальном лунном свете, оказался в роще и принялся бесцельно бродить по ней. В странном свете все даже звучало иначе. Мои шаги, как будто по морскому дну, глухо доносились совершенно с другой стороны. Иногда за спиной слышались сухие тихие звуки. В роще было тягостно, как если бы ночные звери затаились и ждали, пока я пройду мимо.

Миновав рощу, я сел на пологом склоне и стал рассматривать корпус, в котором жила Наоко. Найти ее комнату оказалось несложно: достаточно было разглядеть в глубине темного окна еле заметное колыхание маленького огонька. Я все смотрел и смотрел на огонек – последний язычок пламени на пепелище души. Я хотел взять его в руки и сберечь. Как Джей Гэтсби каждую ночь наблюдал за лучиком света на другом берегу, я долго вглядывался в тот трепетный огонек.

Я вернулся в комнату где-то через полчаса. Аккорды Рэйко слышались даже у входа в корпус. Я тихо поднялся по лестнице и постучал. В комнате Наоко не оказалось – только Рэйко сидела на ковре, перебирая струны. Она показала пальцем на спальню – видимо, хотела сказать, что Наоко там. Затем положила гитару на пол, села на диван и велела мне сесть рядом. Разлила остатки вина по бокалам.

– Все нормально, – слегка похлопав меня по колену, сказала Рэйко. – Полежит и успокоится. Не переживай. Просто немного расстроилась. Слушай, а что если нам пока прогуляться вместе?

– Хорошо, – согласился я.

Мы с Рэйко не спеша прошли по освещенной фонарями тропинке, миновали теннисный корт и баскетбольную площадку и присели на скамейку. Из-под скамейки она достала оранжевый мяч и повертела его в руках. Спросила, играю ли я в теннис.

– Очень плохо, но умею, – ответил я.

– А в баскетбол?

– Не так чтобы очень.

– Тогда что же у тебя получается хорошо? – улыбнулась она, а в углах ее глаз собрались морщинки. – Кроме хождений по девкам?

– Да я и в этом не мастак, – слегка обиделся я.

– Не сердись. Я пошутила. А на самом деле? В чем ты силен?

– Особо ни в чем. Есть несколько любимых занятий...

– Например?

– Путешествовать пешком, плавать, читать книги.

– То есть, то, что можно делать в одиночестве.

– Да. Пожалуй, так. Мне с детства неинтересно играть в компании. Сколько ни пробовал, ничего не нравилось. Сразу становилось все равно, чем игра закончится.

– Тогда приезжай сюда зимой. Мы зимой бегаем на лыжах. Думаю, тебе понравится. Находишься за весь день по снегу, весь вспотеешь... – сказала Рэйко и посмотрела на свою правую руку в свете фонаря – словно оценивала старинный музыкальный инструмент.

– С Наоко часто так бывает?

– Иногда, – ответила Рэйко, разглядывая теперь левую руку. – Иногда она доводит себя до такого состояния. Расстраивается, плачет, но это ладно. Чему быть – того не миновать. Нужно выплескивать чувства наружу. Хуже, если она перестанет это делать. Иначе они будут накапливаться и затвердевать внутри. А потом – умирать в ней. Тогда все станет очень плохо.

– Я что-то не так сказал?

– Ничего. Все в порядке. Все так, не переживай. Говори откровенно, это лучше всего. Даже если станет больно обоим, или, как сегодня, ранит чьи-либо чувства – в конечном итоге, это все равно лучший способ. Если ты всерьез хочешь, чтобы она поправилась, делай так. Как я тебе говорила в самом начале, нужно не думать, как помочь ей, а делая так, чтобы она поправилась, самому стремиться стать лучше. Такой здесь метод. Поэтому тебе тоже необходимо обо всем говорить откровенно... пока ты здесь. Суди сам, во внешнем мире люди разве часто говорят правду?

– Это точно, – ответил я.

– Я здесь уже семь лет. Много людей прошло мимо меня за это время. Видимо, всякого насмотрелась. Поэтому теперь стоит лишь взглянуть на человека, и можно интуитивно определить, удастся ему вылечиться или нет. А вот что касается Наоко – я не понимаю. Даже предположить не могу, что с нею станет. Может, уже через месяц все как рукой снимет, а может, затянется на долгие-долгие годы. Поэтому тут я тебе не советчица. Могу сказать только простые истины: будь откровенен и помогайте друг другу.

– Почему непонятно только с ней?

– Видимо, она мне нравится, вот и не получается разобраться. Слишком много личного. Знаешь, она мне по-настоящему нравится. Нет, правда. Но вокруг нее много разных проблем... как бы это сказать... запутались в клубок, и распутывать нужно осторожно – по ниточке. Не исключено, что потребуется немало времени, чтобы размотать все до конца. А может, распутается вмиг – как по хлопку руки. Тут я ничего не решаю.

Она опять взяла в руки мяч, покрутила его и начала стучать им об землю.

– Самое главное – не падать духом, – сказала Рэйко. – Вот тебе еще одно предостережение. Не падать духом. Когда станет не по силам, и все перепутается, нельзя отчаиваться, терять терпение и тянуть, как попало. Нужно распутывать проблемы, не торопясь, одну за другой. Справишься?

– Попробую.

– Потребуется время. А может, даже спустя много времени полностью не вылечится. Ты об этом думал?

Я кивнул.

– Ждать трудно, – сказала Рэйко, ведя мяч. – Особенно человеку твоего возраста. Терпеливо ждать, когда она поправится. При этом нет ни сроков, ни гарантий. Сможешь? Настолько ли ты любишь Наоко?

– Не знаю, – честно признался я. – Я и правда толком не знаю, что значит «любить человека». Не в смысле – только Наоко. Но я сделаю все, что в моих силах. Не сделай я этого, самому будет непонятно, куда идти дальше. Действительно, нам с Наоко необходимо помочь друг другу. Иного выхода нет.

– И продолжать спать со случайными девчонками?

– Здесь я тоже не знаю, как быть. Что мне делать-то? Что я должен – ждать и при этом мастурбировать? Я сам не могу разобраться.

Рэйко положила мяч на землю и похлопала меня по колену.

– Послушай, я не говорю, что спать с девчонками – нехорошо. Спи, если тебе это нравится. Это ведь твоя жизнь. Решай сам. Но я хочу сказать тебе не это. Нельзя связывать себя неестественно, понимаешь? Иначе долго это не продлится. Девятнадцать-двадцать лет – очень важный период. Если что-то хоть чуть-чуть пойдет криво, с годами пожалеешь. Я серьезно. Поэтому хорошенько подумай. Хочешь оберечь Наоко – береги и себя.

– Я подумаю.

– Мне тоже когда-то было двадцать. Давным-давно, – сказала Рэйко. – Веришь?

– Верю... конечно.

– От всего сердца?

– От всего, – рассмеялся я.

– Ну, не такая, как Наоко, но я тоже была ничего себе... в ту пору. Без морщин.

– Мне нравятся такие морщины.

– Спасибо. Но впредь знай – женщинам нельзя говорить: «У вас очаровательные морщины». Только я рада таким словам.

– Буду знать.

Она достала из кармана брюк портмоне, вынула из кармашка для проездного билета фотографию и протянула мне. Цветной снимок хорошенькой девочки лет десяти. В ярком лыжном костюме. Она приветливо улыбалась, стоя на снегу.

– Красавица, правда? Моя дочь. Прислала мне эту фотографию в начале года. Сейчас учится в четвертом классе.

– Улыбка похожа, – сказал я и вернул фотографию. Она сунула снимок в портмоне, тихонько шмыгнула носом и закурила.

– В молодости я собиралась стать профессиональной пианисткой. Меня признали. Блистала талантом, росла избалованной. Побеждала на конкурсах. Лучшие оценки в консерватории, после окончания меня собирались отправить на стажировку в Германию. Короче, безоблачная юность. За что ни бралась, все спорилось, а если не получалось, делали так, чтобы получилось. Но произошло непостижимое, и в одночасье все пошло прахом. Было это на четвертом курсе консерватории. Мы готовились к ответственному конкурсу, и я непрерывно репетировала. И вот ни с того ни с сего перестал двигаться мизинец на левой руке. Почему – непонятно, не двигается – и все тут. Массировала, опускала в горячую воду, дала рукам два-три дня отдыха, но все тщетно. Вся бледная пошла в больницу. А там говорят: «С пальцем все в порядке, нерв не нарушен, значит, дело не в пальце, а раз так, это – из области психики». Пошла к психиатру. Но там мне тоже ничего толком не сказали: мол, видимо, из-за стресса перед конкурсом. И напоследок посоветовали: оставь на некоторое время пианино в покое.

Рэйко глубоко затаилась и выдохнула дым. Несколько раз крутнула шеей.

– Тогда я решила съездить отдохнуть к бабушке на полуостров Идзу. Подумала: бог с ним, с этим конкурсом, проживу здесь недельку-другую, развеюсь, не прикасаясь к инструменту. Но не тут-то было. Чем бы ни занялась – в голове одно пианино и ничего больше. А вдруг мизинец так и останется неподвижным до конца жизни. Как тогда жить? Все мысли только об этом. Что тут поделаешь, если до сих пор инструмент был всей моей жизнью? Я начала заниматься в четыре года и с тех пор жила одной мыслью о музыке. Все остальное в голове не задерживалось. Попробуй отобрать инструмент у девчонки, которая выросла, и пальцем не притрагиваясь к работе по дому, лишь бы не повредить руки, а все вокруг твердили, как хорошо она играет. Что у нее останется? Щелк – и крышу повело. В голове все смешалось и... полный мрак!

Она бросила на землю окурок и затоптала его ногой. Затем опять несколько раз повернула шею.

– Мечта о карьере пианистки померкла. Два месяца в больнице, выписка. Кстати, не успела лечь в больницу, как мизинец начал двигаться. Восстановилась в консерватории, еле-еле закончила. Но что-то к тому времени уже испарилось. Какой-то сгусток энергии покинул тело. Врачи отговаривали: мол, для профессиональной пианистки – слишком слабые нервы. Тогда после консерватории я стала давать уроки на дому. Нелегко приходилось. Будто на этом закончилась моя жизнь. Самый лучший период оборвался в двадцать лет. Не двадцать лет. Несправедливо, да? Столько было возможностей в руках, смотрю – а вокруг уже ничего. Никто не хлопает, никто со мной не возится, никто не хвалит, и только каждый божий день – этюды Черни для соседских ребятишек. Настроения – никакого. Часто плакала. Обидно же... Когда узнаешь, что бездари занимают призовые места на таких-то конкурсах, устраивают свои концерты в таких-то филармониях. Слезы сами льются из глаз.

Родители относились ко мне так, будто притрагивались к опухоли. Их состояние тоже можно понять. Еще совсем недавно гордились своей дочерью, а теперь она возвращается из психушки. Таковую и замуж толком не выдашь. С таким вот настроением и жили. Когда делишь кров, оно любому передается. Как такое терпеть? Выйдешь на улицу – кажется, будто соседи обо мне сплетничают, становится страшно и не хочется выходить из дому вовсе. Вот так еще раз – щелк! Опять повело крышу, все смешалось и снова в голове мрак. Было мне тогда двадцать четыре. Прописали семь месяцев лечения в санатории. Не в этом, а с высокой оградой и запертыми воротами. Грязно, пианино нет... В то время я уже не знала, как быть. Только нестерпимо хотелось побыстрее оттуда выйти, и я отчаянно старалась поправиться. Семь месяцев – долгий срок. Так у меня прибавилось морщин.

Рэйко усмехнулась.

– Вскоре после выписки я познакомилась с будущим мужем, мы поженились. На год младше меня, инженер в авиастроительной компании, из моих учеников. Хороший человек. Молчаливый, но искренний и добрый. Примерно полгода у меня занимался, а потом неожиданно предложил выйти за него замуж. Представляешь, внезапно так... за чаем после занятия. Без единого свидания, ни разу даже не прикоснулся ко мне. Я перепугалась и ответила, что не могу стать его женой. «Ты – хороший человек, нравишься мне, но по разным обстоятельствам я не могу выйти замуж». Он захотел узнать, по каким таким обстоятельствам, и я во всем

честно призналась. Что два раза сходила с ума и лечилась. Рассказала ему все до мельчайших подробностей. По какой причине, и что со мною после этого стало. Не исключено, что это может повториться в будущем. Он попросил время подумать, на что я ответила: «Подумай хорошенько. Я не тороплю». Прошла неделя, он приходит и говорит, что не передумал. На что я ему: «Потерпи три месяца. Давай это время будем встречаться, и если точно не передумаешь, вернемся к этому разговору».

Три месяца мы встречались раз в неделю, ходили в разные места, разговаривали на разные темы. За это время я его очень полюбила. С ним казалось, что ко мне возвращается жизнь. С ним мне было легко. Забывались неприятности. Ну не вышло из меня пианистки, лежала в дурдоме – жизнь на этом ведь не заканчивается. Впереди меня ждет немало интересного. И я от всего сердца была ему благодарна за то, что он для меня сделал. Прошло три месяца, а он по-прежнему хотел меня в жены. Я ему: «Хочешь со мной спать – я не против. Я еще ни с кем этого не делала. Ты мне очень нравишься. Хочешь меня – бери. Но жениться на мне – совсем другое дело. Женишься – и на тебя лягут все мои заботы. Они куда серьезней, чем ты думаешь. Ты готов?»

Он отвечает: «Готов. Я не хочу только спать с тобой. Я хочу жениться, чтобы делить с тобой все, что у тебя внутри». Он действительно так думал. Такой человек: говорит лишь то, что думает, а что сказал – непременно выполнит. «Хорошо, – говорю, – давай поженимся». А что я еще могла ему ответить? Мы поженились спустя еще четыре месяца. Он из-за этого поссорился с родителями и порвал с ними все отношения. Дом его родителей – старый особняк на Сикоку. Те досконально изучили мое прошлое и узнали про обе клиники. Встали на дыбы, вконец разругались. Может, они по-своему были правы. Но мы из-за этого не смогли сыграть свадьбу, а просто пошли в мэрию и подали заявление на регистрацию. Съездили на две ночи в Хаконэ, и были при этом очень счастливы. Целиком и полностью. В общем, я до замужества оставалась девственницей. До двадцати пяти лет. Поверишь?

Рэйко перевела дыхание и вновь взяла в руки баскетбольный мяч.

– Считала, что пока я с этим человеком, все будет в порядке. Пока я с ним, хуже не станет. Знаешь, при нашем заболевании самое главное – такое вот доверие. А на такого человека можно положиться. Станет мне плохо – в смысле, опять поедет крыша, – он сразу это заметит и осторожно и терпеливо приведет меня в порядок: поправит голову, распутает клубок... Пока сохраняется это доверие, болезнь не возникнет, того самого щелчка не произойдет. Как я была рада... Думала, что жизнь – прекрасна! Настроение

такое, будто меня подобрали в холодном бушующем море, закутали в одеяло и уложили в теплую постель. Через два года у нас родился ребенок, начались новые хлопоты. Я почти забыла о своей болезни. Утром проснусь – занимаюсь по дому, смотрю за ребенком, возвращается муж – кормлю его ужином... И так день за днем. Пожалуй, то было самое настоящее счастье в моей жизни. Сколько лет оно длилось-то? Пока мне не исполнился тридцать один. И опять – щелк! Взрыв.

Рэйко закурила. Ветер уже стих. Дым поднимался и пропадал в темноте ночи. Я посмотрел наверх – все небо усыпали мириады звезд.

– Что случилось? – спросил я.

– Ах да... – как бы очнулась она. – Произошла очень странная история. Будто меня все это время поджидала ловушка или западня. Как вспомню, до сих пор дрожь пробирает... – Рэйко потеряла рукой висок. – Извини, ты приехал к Наоко, а я загрузила тебя своими историями.

– Мне на самом деле хочется узнать, что было дальше. Если, конечно, можно.

– Ребенок пошел в детский сад, и я понемногу начала играть на пианино, – продолжала Рэйко. – Не для кого-нибудь, для себя. С маленьких композиций Баха, Моцарта, Скарлатти. Конечно, пробел был большим, инстинкты уже не вернешь. Пальцы не слушались, как раньше. Но я все равно была рада. Я могу играть... Стоило только сесть за инструмент, чтобы сразу понять, как я люблю музыку, как мне ее не хватало. И как это прекрасно – играть для самой себя!

Я уже говорила: я начала играть с четырех лет, – но теперь поймала себя на мысли, что ни разу не играла для души. Я садилась за инструмент, чтобы сдать экзамены, выполнить домашнее задание, привести кого-нибудь в восторг. Конечно, тоже важно, чтобы стать мастером своего дела. Однако в определенном возрасте человеку необходимо играть музыку для себя. На то она и музыка. И вот, сойдя с прежнего элитного пути, в тридцать один или тридцать два я наконец-то поняла это. Отправляла ребенка в сад, быстро расправлялась с домашними делами и по часу-другому играла любимые произведения. До сих пор проблем не возникало. Правильно?

Я кивнул.

– И вот однажды приходит ко мне женщина, которую я знала только в лицо – мы лишь здоровались, встречаясь на улице. «Дело в том, что моя дочь очень хочет заниматься у вас пианино. Не могли бы вы давать ей уроки?» Сказала, что живут они поблизости, но, видимо, на приличном расстоянии, раз я ничего не знала о ее дочери. По ее словам, девочка, проходя мимо нашего дома, часто слышит мою игру, и в полном восторге

от нее. Видела меня и просто восхищена. Ей четырнадцать лет, учится в средней школе, до сих пор брала уроки у разных преподавателей, но дело почему-то не заладилось, и сейчас никто с ней не занимается.

Я отказалась. Прошло столько лет: ладно бы ученик начинающий, но преподавать ребенку с многолетним опытом занятий – дело бессмысленное. Мне в первую очередь собственного воспитывать нужно, и к тому же – этого я вслух, естественно, не сказала – если у ребенка часто меняются преподаватели, толку от этого не будет. Но мамаша не унималась: можно хотя бы встретиться. Ну хорошо, только раз. Напористая женщина. Я не устояла и согласилась – тем более, что отказывать во встрече причин у меня не было. Через три дня девочка пришла одна. Ангельски красивая. Такую красавицу я не видела ни разу – ни до, ни после. Длинные и черные, как только что разведенная тушь, волосы. Стройные ноги и руки, сияющие глаза. А губы – изящные и нежные, словно их только что вылепили. Как увидела ее, так и обомлела... на какое-то время. Она сидела на диване в гостиной – и вся комната преображалась. Я смотрела на нее, и слепило глаза так, что хотелось прищуриться. Вот такой ребенок. До сих пор стоит у меня перед глазами.

Рэйко прищурилась, будто на самом деле увидела перед собой лицо той девочки.

– Мы пили кофе и около часа беседовали. О музыке, о школе. По виду – смущенный ребенок. Говорит по сути, имеет собственное острое мнение, умеет притягивать к себе собеседника. Даже страшно. Но в чем крылся страх, я тогда не знала. Лишь пронеслось в мыслях: есть у нее что-то жуткое в чертах лица. Но чем дольше мы разговаривали, тем тише звучал голос здравого смысла. Иными словами, она была настолько молода, красива и поразительна, что рядом с ней я почувствовала себя гадким утенком. Подумаешь о ней плохо вскользь и понимаешь, что это – мысли корыстные и завистливые.

Она несколько раз кивнула сама себе.

– Мне бы такую красоту и голову – наверняка была б лучше, чем сейчас. Или... Чего еще можно желать с такими красотой и умом? Зачем нужно издеваться и презирать слабых, если тебя окружают такой заботой? Ведь для этого нет никаких причин, да?..

– И что она сделала плохого?

– Если говорить по порядку, она была хронической лгуньей. Только болезнью это и назовешь. Сочиняла все подряд, и пока рассказывала, сама начинала в это верить. А чтобы придать истории правдоподобность, подстраивала под нее все остальные обстоятельства. Обычно что-то

начинало казаться странным, сомнительным, а у нее так стремительно работала голова, что она обгоняла мысль собеседника, нанизывала разные подробности так, что тот уже ничего не подозревал. И мысли не возникало, что все это – ложь. Никому ведь и в голову не придет, что такая красивая девочка будет врать по мелочам. Я тоже так думала. Много я наслушалась историй за полгода, и ни разу ни в чем ее не заподозрила. Ни разу не усомнилась, что все это от начала и до конца – сплошная выдумка. Как последняя дура.

– Что, например, она врала?

– Всякое, – ехидно ухмыльнулась Рэйко. – Как я только что говорила, человек раз соврет – и нужно продолжать врать дальше. Это синдром лжи. Но у большинства людей, страдающих этим синдромом, ложь – невинная, и все окружающие об этом знают. А с ней было все иначе. Она врала, причиняя боль другим, только чтобы прикрыть себя, она использовала все, что возможно. Выбирала, кому врать, а кому – нет. Например, если врать матери или близким подругам, ложь быстро разоблачат. Здесь она себя сдерживала. Когда ничего не оставалось, врала, но с большой осторожностью. Так, чтобы наверняка не поняли. А если ее ловили на враньях, лила из своих красивых глаз крокодильи слезы, отнекиваясь или извиняясь. Несчастливым голоском. Кто на такую будет сердиться?

До сих пор не могу понять, почему она выбрала именно меня. Выбрала в качестве жертвы, или в надежде на помощь. Я и сейчас не знаю... совершенно. Сейчас-то уже безразлично. Все позади и, в конце концов, сложилось вот так.

Повисло молчание.

– Она повторила все, что сказала мне ее мать. Проходила мимо, слышала пианино, прониклась. Видела и восхищалась мною на улице. Представляешь, так и сказала: «Я восхищена!» Я аж покраснела. Еще бы – вызывать восхищение у такой красивой, как кукла, девочки. Хотя, наверное, не все сказанное ею было ложью. Конечно, мне тогда перевалило за тридцать, я не такая умница и красавица, как она, не талант, но было и во мне что-то привлекательное, чего не хватало ей. Пожалуй, так. Поэтому она мною и заинтересовалась. Сейчас уже можно так предположить. Не думай, что я хвальнось.

– Понимаю.

– Она принесла ноты и спросила, можно ли попробовать. Хорошо, говорю, пробуй. Она сыграла инвенцию Баха. Это было, как бы сказать... интересное исполнение. Интересное – или странное. Одним словом, необычное. Умелым тоже не назовешь. С другой стороны, в музыкальной

школе она не учится, уроки то берет, то нет. Играет в своем стиле. Поэтому звук оказался не отрепетированным. Сыграй она так на вступительном экзамене в музыкальную школу, сразу дали бы от ворот поворот. Но... что-то звучит. На девяносто процентов – ужасно, а оставшиеся десять: там, где должно звучать, – звучит. И это инвенция Баха. Меня заинтересовало, что же она из себя представляет.

В мире много юных талантов, играющих Баха гораздо... гораздо лучше. Раз в двадцать лучше ее. Но в таком исполнении, как правило, нет содержания. Одна пустота. А девочка играла неумело, но было в ее игре немного того, что привлекает внимание людей, по крайней мере, привлекло меня. Тогда я подумала: кажется, есть смысл с нею позаниматься. Конечно, переучить ее до уровня профессионала – дело немыслимое. Но сделать счастливую пианистку, способную играть себе в радость, как я сама в то время, да и сейчас тоже, – можно. Однако все это оказалось пустой надеждой. Она была не из тех, кто делает что-то тихонько для себя. Этот ребенок просчитывал все до мелочей и использовал любые способы, чтобы восхищать других. Она прекрасно знала: все придут в восторг, обязательно будут хвалить. Она даже знала, как сыграть, чтобы привлечь мое внимание. Все четко просчитывалось. И много раз изо всех сил репетировалось только то, что будет сыграно мне. Я даже вижу, как она это делала.

Но и сейчас, уже зная обо всем, должна признаться: то было прекрасное исполнение. Сыграй она мне еще раз, я опять была бы тронута до глубины души. Даже помня обо всем ее коварстве, лжи и недостатках. Вот ведь в мире как бывает.

Рэйко сухо откашлялась и замолчала.

– Выходит, она стала ученицей? – спросил я.

– Да. Раз в неделю. По субботам в первую половину дня – они в этот день не учились. Ни разу не пропустила, всегда приходила вовремя – идеальная ученица. Занималась усердно. А после занятий мы ели пирожные и разговаривали... – Рэйко, будто о чем-то вспомнив, посмотрела на часы. – Не пора ли нам вернуться? Я беспокоюсь за Наоко. Ты ведь не забыл еще о ней?

– Не забыл, – рассмеялся я. – Просто увлекся рассказом.

– Если хочешь узнать, что было дальше, расскажу завтра вечером. Длинная история – за раз все не перескажешь.

– Прямо как сказки Шехерезады.

– Точно. Ты так и в Токио не сможешь вернуться, – тоже засмеялась Рэйко.

Мы опять прошли через рощу и вернулись в комнату. Свеча потухла, в

гостиной темно. Дверь в спальню открыта, над тумбочкой зажжен бра, и еле заметные лучи падают на ковер. И в этом мраке на диване неподвижно сидела Наоко. Она переделалась в халат, укутала шею в воротник и сидела, подвернув под себя ноги. Рэйко подошла к ней и положила руку ей на голову.

– Лучше?

– Да, все хорошо. Прости, – тихо сказала Наоко. Затем повернулась ко мне и так же извинилась. – Удивился?

– Немного, – улыбнулся я.

– Иди сюда, – сказала она.

Я сел рядом, и Наоко, будто собиралась выдать тайну, нежно прижалась губами к краю моего уха.

– Прости, – тихо повторила она и отстранилась. – Порой я сама не понимаю, что и как происходит.

– Со мной тоже часто бывает такое.

Наоко посмотрела на меня и улыбнулась.

– Знаешь, я хочу побольше узнать о тебе, – сказал я. – Как ты здесь живешь, чем занимаешься, какие тут люди.

Наоко довольно четко и размеренно описала свой день. Подъем в шесть утра, здесь же завтрак. Прибравшись в птичнике, как правило, работает в поле. Выращивает овощи. Час до или после обеда – собеседование с врачом или дискуссия по группам. После обеда – занятия по свободному расписанию. Здесь можно выбирать самостоятельно: какой-нибудь курс лекций, работы по хозяйству или спортивные занятия. Наоко ходила на французский язык, вязание, пианино, древнюю историю.

– Пианино преподавала нам Рэйко. Еще она учит игре на гитаре. Мы то становимся учениками, то превращаемся в учителей. Французскому учит человек, который прекрасно владеет этим языком. Историю ведет бывший преподаватель по обществоведению. Мастер-рукодельница – курсы вязания. Получается своеобразная школа. Одно жаль – я сама никого ничему научить не могу.

– Я тоже.

– В общем, здесь заниматься даже интереснее, чем в институте. Я хорошо учусь, и мне это в радость.

– А что вы делаете вечерами после ужина?

– Я разговариваю с Рэйко, читаю книги, слушаю пластинки, хожу к соседями, и мы играем в разные игры, – перечислила Наоко.

– А я играю на гитаре и пишу автобиографию, – подхватила Рэйко.

– Вот как?

– Шутка, – засмеялась Рэйко. – Около десяти мы ложимся спать. Здоровый образ жизни, не находишь? И спится без задних ног.

Я посмотрел на часы – около девяти.

– Выходит, вас скоро потянет в сон?

– Сегодня не страшно... если ляжем позднее, – сказала Наоко. – Давно не виделись, хочется обо всем поговорить. Расскажи что-нибудь?

– Пока я вас здесь ждал, неожиданно вспомнил много разных старых событий, – сказал я. – Помнишь, как мы с Кидзуки ездили тебя проводить? В больнице у моря. Кажется, летом предпоследнего класса.

– Когда мне оперировали грудь? – весело улыбнулась Наоко. – Помню хорошо. Вы тогда приезжали на мотоцикле и привезли растаявший шоколад. Помаялась я тогда, чтобы его от коробки отодрать. Кажется, это было так давно...

– Да. Помнится, ты тогда сочиняла длинные стихи.

– В таком возрасте все девчонки сочиняют, – фыркнула Наоко. – И чего тебе это в голову пришло?

– Не знаю. Просто мелькнуло и все. Случайно вспомнил запах бриза, нэриум^[32]... Кстати, Кидзуки тебя тогда часто навещал?

– Крайне редко. Мы из-за этого даже поругались... после. Приехал один раз в самом начале, потом с тобой и... все. Наглец, а? В первый раз немного посуетился, а через десять минут его и след простыл. Апельсины привез. Что-то побурчал. Почистил и накормил меня ими. Опять пробурчал что-то невнятное и испарился. Говорил, что не переносит больницу и все такое, – сказала Наоко и засмеялась. – В этом смысле он так и оставался ребенком, разве нет? В больнице к постели прикован любимый человек, которого навещают, чтобы поддержать и ободрить. Мол, держись, выздоравливай. А ему разве до таких мыслей было?

– Но когда мы приезжали вместе, я ничего не заметил. Вы общались, как обычно.

– Потому что тогда был ты, – сказала Наоко. – Он в твоём присутствии всегда старался держаться. Не показывал свои слабости, потому что ты ему нравился. Эх, Кидзуки... Он изо всех сил пытался поворачиваться к тебе только сильной стороной. А когда мы оставались вдвоем, все было иначе. Он позволял себе слабинку. Вообще у него характер был переменчивый. Например, он мог какое-то время неугомонно тараторить, а в следующий миг уходил в себя. И так очень часто. Причем, у него это с детства. Он постоянно стремился измениться, стать лучше.

Наоко вытянула затекшую ногу.

– Но получалось плохо, он нервничал, сокрушался. Столько в нём

было всего хорошего и прекрасного, но до самого конца он так и не смог поверить в себя. Только и думал: нужно сделать то, изменить это. Бедный Кидзуки...

– Если он старался всегда показывать мне свои лучшие стороны, ему это удавалось. Я его видел лишь с лучшей стороны.

Наоко улыбнулась.

– Думаю, он рад это услышать. Ты был его единственным другом.

– Он моим – тоже, – сказал я. – Ни до, ни после него у меня не было тех, кого я мог бы назвать друзьями.

– Поэтому мне нравилось быть с вами обоими. Еще бы, ведь я тоже могла видеть только лучшие его стороны. Мне при этом становилось очень приятно и спокойно. Интересно, а что ты об этом думал?

– Я беспокоился, как ты к этому относишься. – И я слегка кивнул.

– Но вся штука в том, что это не могло длиться вечно. Невозможно было сохранять этот маленький круг вечно. Это понимал и Кидзуки, и я, и ты. Ведь так?

Я опять кивнул.

– Если честно, я очень любила его слабые стороны. Не меньше, чем сильные. В нем совершенно не было ни плутовства, ни злобы. Только слабость. Но он не верил, когда я ему об этом говорила, и твердил одно и то же. «Наоко, все это потому, что мы вместе с трех лет, и ты слишком хорошо меня знаешь. Вот и не можешь отличить плохое от хорошего, все валишь в одну кучу». Постоянные его слова. Но, что бы ни говорили, я любила его, и никто больше не был мне интересен.

Наоко посмотрела на меня и печально улыбнулась.

– У нас все было совсем не так, как у других пар. У нас будто сами тела слились. Разведи нас, и тела опять сольются, будто их тянет друг к другу. Поэтому ничего удивительного, что мы были вместе. У нас не было ни выбора, ни возможности для раздумий. В двенадцать мы поцеловались, с тринадцати ласкали друг друга. Или я приходила к нему домой, или он ко мне в гости, и я делала ему... Правда, сама я не считаю, что мы были скороспелками. Для меня это было естественно. Я не отказывала, когда он хотел потрогать мою грудь или поласкать клитор. Когда он хотел кончить, я помогала ему рукой. Если бы кто-нибудь начал нас за это ругать, я бы наверняка удивилась и рассердилась. Ведь мы не делали ничего плохого – только само собой разумеющееся. Мы знали наши тела от головы до пят, и казалось, будто мы обладаем ими совместно. Но какое-то время мы дальше не заходили. Боялись залететь, а как предохраняться, тогда еще не знали... Вот так и росли вместе – двое одна пара. Проблем с созреванием у нас

почти не было, обычных детских вспышек эгоизма – тоже. Я уже говорила: секс для нас был полностью открыт, и мы не заостряли на нем внимания, потому что могли делиться своим самым сокровенным. Мы будто пили друг друга. Понимаешь, о чем я?

– Понимаю, – ответил я.

– Мы не могли существовать раздельно. И если бы Кидзуки был жив, мы бы, вероятно, остались вместе, любили друг друга и постепенно становились несчастливы.

– Почему?

Наоко поправила рукой волосы, а когда наклонилась вперед, прядь упала ей на лицо.

– Видимо, нужно было вернуть жизни долг. – Наоко подняла голову. – Долг за трудное детство. Мы не заплатили вовремя по счетам, и вот они настигли нас. Кидзуки – в могиле, я – здесь. Мы были как голые дикари, выросшие на необитаемом острове. Проголодались – сорвали банан, стало грустно – обнялись и уснули. Но вечно так продолжаться не могло. Мы выросли, пора было выходить в люди. Поэтому ты оказался для нас очень важным. Через тебя мы по-своему пытались вступить во внешний мир. Но толком ничего не вышло.

Я кивнул.

– Только не считай, что мы тебя использовали. Кидзуки и вправду тебя очень любил. Отношения с тобой оказались нашим первым контактом с людьми. И длится это до сих пор. Кидзуки умер, его больше нет, но ты для меня – по-прежнему единственная связь с миром. И я люблю тебя так же, как прежде это делал Кидзуки. Мы сделали тебе больно, не желая этого. Нам даже в голову не могло прийти, что все может так получиться.

Наоко опять потупилась и замолчала.

– Может, какао попьем? – предложила Рэйко.

– Да, хотелось бы. Очень, – сказала Наоко.

– Я бы выпил коньяку. У меня есть. Можно? – спросил я.

– Пожалуйста-пжалуйста, – сказала Рэйко. – Мне тоже дашь глоточек?

– Конечно, – улыбнулся я.

Рэйко принесла два стакана, и мы выпили. Затем она пошла на кухню варить какао.

– Может, поговорим о чем-нибудь хорошем? – спросила Наоко.

Но у меня не нашлось ни одной веселой темы. «Был бы Штурмовик», – с горечью подумал я. Одного упоминания о нем достаточно, чтобы всем вокруг стало весело. Ничего не поделаешь, и я

принялся рассказывать о нечистоплотной жизни общажного народа. Нечистоплотной настолько, что от одного воспоминания мне стало противно, но женщины покатывались со смеху. Затем Рэйко пародировала больных из клиники. Тоже достаточно смешно. В одиннадцать глаза Наоко сделались сонными, Рэйко разобрала диван-кровать и постелила мне.

– Ночью можешь прийти насиловать, только не перепутай кровати, – сказала Рэйко. – Тело без морщин на левой кровати – Наоко.

– Враки, я сплю на правой.

– Завтра можно пропустить несколько занятий после обеда. Давайте устроим пикник? Поблизости есть очень хорошее место, – предложила Рэйко.

– Хорошо, – ответил я.

Они по очереди почистили зубы и ушли в спальню. Я выпил немного коньяку, улегся в постель и попытался вспомнить все события сегодняшнего дня по порядку, с самого утра. День показался очень длинным. Комнату по-прежнему наполнял лунный свет. В спальне Рэйко и Наоко стояла полная тишина, не доносилось ни единого звука. Лишь изредка раздавался тихий скрип кровати. Я закрыл глаза: во мраке кружились маленькие фигурки, в ушах отдавались отголоски гитары Рэйко, но и это длилось недолго. Меня окутывал сон и увлакивал тело в теплую грязь. Я увидел во сне иву. По обеим сторонам дороги стояли в ряд ивы. Просто немыслимое количество. Дул сильный ветер, а ветви даже не шевелились. «Интересно, почему?» – подумал я. На каждой ветке сидело по маленькой птичке. И ветки под их весом оставались неподвижны. Я постучал обломком палки по ближайшей. Думал согнать птичку и заставить ветку шевельнуться, но птичка не улетела. Ни одна – птички превращались в металлических и со звоном падали на землю.

Открыв глаза, я подумал, будто вижу продолжение сна. Комнату окутывал белый свет луны. Я машинально начал было искать по полу упавших металлических птиц, но их, конечно, нигде не было. На краю дивана сидела Наоко и неотрывно смотрела в окно. Она подогнула ноги и съежилась, как голодная сирота, опираясь на колени подбородком. Я хотел посмотреть время и начал искать часы в изголовье, но их на месте не оказалось. «Судя по луне, часа два-три», – предположил я. Мучила сильная жажда, но я решил не спускать с Наоко глаз. На ней был тот же голубой халат, одна сторона челки заколота все той же бабочкой. Лунный свет падал на ее красивый лоб. «Странно», – подумал я. Перед сном она снимала заколку.

Наоко сидела, не шелохнувшись. Она походила на маленькую

зверушку, замороженную лунным светом, а он падал так, что отчетливо виднелась тень от ее губ. И тень эта – легкая, ранимая – едва шевелилась в такт сердцу или тайным порывам души. Будто Наоко беззвучно шептала, обращаясь к ночной темноте.

Чтобы хоть как-то прогнать жажду, я сглотнул слюну, но в тишине звук показался до жути громким. Вдруг, будто бы это послужило неким знаком, Наоко встала, едва шурша одеждой, опустилась на колени у изголовья дивана и посмотрела мне в глаза. Я тоже смотрел ей в глаза, но они мне ничего не говорили. Зрачки были неестественно прозрачными, словно из них выглядывал иной мир, но сколько бы я ни всматривался, ничего не смог обнаружить в их глубине. Лица наши разделяли сантиметров тридцать, но мне показалось, что Наоко – за несколько световых лет от меня.

Я протянул руку, чтобы коснуться ее, а Наоко подалась назад, и ее губы слегка задрожали. Затем она подняла руки и, не спеша, начала расстегивать пуговицы халата. Семь пуговиц. Я смотрел, как ее тонкие и красивые пальцы одну за другой расстегивают эти пуговицы, словно сон мой продолжался. Когда поддалась последняя, Наоко стянула халат, как насекомые сбрасывают кожу, и откинула его назад. Под халатом ничего не было. На ней осталась лишь заколка-бабочка. Сбросив халат, Наоко, продолжая стоять на коленях, смотрела на меня. В мягком лунном свете ее мерцающее тело выглядело беспомощным, как у новорожденного младенца. Стоило ей немного – самую малость – шевельнуться, и едва заметно сдвинулся попавший на тело свет луны, изменив ее силуэт. Грубая тень, сотканная из частиц – груди с маленькими сосками, впадины пупка, талии и волосков лобка, – изменялась, подобно кругам на спокойной глади озера.

«Какая идеальная плоть», – подумал я. С каких это пор у Наоко такое совершенное тело? И куда делось то, которое я прижимал к себе в ту незапамятную весну?

В ту ночь, когда я медленно раздевал плачущую Наоко, у меня осталось впечатление какого-то несовершенства. Грудь – твердая, соски – как выступы не на своем месте, талия – жесткая. Конечно, Наоко была девушкой красивой, а тело ее – пленительным. Оно возбуждало меня и увлекало с невероятной силой. Но даже так, прижимая к себе ее нагое тело, лаская и целуя его, я вдруг поймал себя на странном и глубоком ощущении его неловкости, какой-то несбалансированности. Обнимая ее, я будто хотел сказать: «Я имею тебя. Я вхожу в тебя. Но это ничего не значит. Мне все равно. Ведь это лишь телесная связь. Мы лишь говорим друг другу, что

можем общаться только соприкосновением наших несовершенных тел. И мы тем самым разделяем между собой наше несовершенство». Но, естественно, на такое объяснение я не решился. Я лишь молча и крепко ее обнимал и чувствовал чужеродную сухость, что оставалась в теле Наоко, не в состоянии к нему привыкнуть. И это осознание лишь добавило мне чувства и сделало мой член до невероятности упругим.

Однако сейчас тело Наоко передо мной – совсем другое. «Оно будто бы переродилось в свете луны, стало совершенным», – подумал я. Его детская пухлость, как после смерти Кидзуки, исчезла, плоть словно бы созрела. Тело ее стало настолько красивым, что я даже не почувствовал возбуждения. Я лишь рассеянно всматривался в ее тонкую талию, округлые гладкие груди, тихие толчки обнаженного живота и ниже – в дымку мягких черных волос на лобке.

Она показывала мне свое обнаженное тело минут пять или шесть. А потом опять накинула халат, застегнув сверху все пуговицы по порядку. Встала, тихо открыла дверь в спальню и скрылась.

Я неподвижно лежал на диване. Долго лежал. Затем передумал, встал, подобрал упавшие на пол часы поднес их к свету. Без двадцати четыре. Я выпил на кухне несколько стаканов воды, вернулся в постель, но не смог уснуть до рассвета, пока бледно-голубой лунный свет не померк в заливших всю комнату первых лучах солнца. Я был в полудреме, когда подошла Рэйко и, похлопав меня по щекам, прокричала:

– Утро! Утро!

Пока Рэйко приводила в порядок диван, Наоко на кухне готовила завтрак. Она улыбнулась мне:

– Доброе утро!

– Доброе утро, – ответил я. Стоя рядом с Наоко, я смотрел, как она, мурлыча себе что-то под нос, кипятит чайник и режет хлеб. Ни взглядом не выдала она своего ночного прихода.

– У тебя красные глаза... Что-нибудь случилось? – разливая кофе, спросила Наоко.

– Ночью проснулся да так и не смог толком уснуть.

– Мы не храпели? – спросила Рэйко.

– Нет.

– Вот хорошо, – сказала Наоко.

– А он – воспитанный, – зевнула Рэйко.

Сначала я подумал, что Наоко делает перед Рэйко вид, будто ничего не произошло, или стыдится, но даже когда Рэйко на время вышла из кухни,

вид ее нисколько не изменился, и взгляд оставался, как и всегда, ясным.

– Хорошо спала? – спросил я Наоко.

– Да, очень крепко, – беспечно ответила она. Волосы были заколоты простой заколкой без украшения.

Весь завтрак мне было как-то смутно. Намазывая на хлеб масло, очищая с яиц скорлупу, я ждал какого-нибудь знака и то и дело вскользь поглядывал на сидевшую напротив Наоко.

– Послушай, Ватанабэ, почему ты все утро только и смотришь на меня? – с удивлением спросила она.

– Он... в кого-нибудь влюбился, – сказала Рэйко.

– Ты в кого-то влюбился? – спросила Наоко.

– Вполне может быть, – ответил я и засмеялся. Женщины принялись потешаться надо мной, а я решил не думать о событиях прошлой ночи и принялся за свой хлеб с кофе.

После завтрака они сказали, что идут кормить птиц, и я решил сходить с ними. Они переоделись в рабочие джинсы и рубахи, обули белые сапоги. Птичник располагался в маленьком скверике за теннисными кортами, и в нем жили всевозможные пернатые: куры и голуби, воробьи и даже попугайчики. Вокруг были разбиты клумбы и расставлены лавочки. Двое мужчин где-то между сорока и пятьюдесятью, по виду – пациенты, сметали вениками с дорожки опавшие листья. Женщины подошли и поздоровались, Рэйко пошутила, мужчины рассмеялись. На клумбе цвели космеи, кусты были заботливо пострижены. Стоило Рэйко появиться, как птицы, щебеча, запорхали по клетке.

Женщины достали из сарая мешок с кормом и резиновый шланг, Наоко прикрутила его к крану и включила воду. И осторожно, чтобы никто не вылетел, зашла в клетку, чтобы смыть грязь. Рэйко чистила пол щеткой. Играли на солнце брызги, воробьи спасаясь от них, метались по клетке. Индюк задрал голову и с ненавистью вперился в меня придирчивым старческим взглядом. Попугай, не находя себе места на жерди, громко хлопал крыльями. Но стоило Рэйко по-кошачьи мяукнуть, попугай забился в угол. Отойдя от шока, он закричал:

– Спасибо... чокнутая... жопа...

– Кто-то научил ведь, – вздохнула Наоко.

– Только не я. Я таким словам не учу, – сказала Рэйко и опять мяукнула. Попугай замолчал. – Этот парень как-то раз попал в лапы к кошке, и с тех пор боится их до смерти.

Закончив уборку, женщины сложили инструменты и наполнили кормушки. Шлепая по лужицам воды на полу, пришел индюк и сразу сунул

в кормушку голову. Наоко похлопала его по задку, но тот, не обращая ни малейшего внимания, жадно клевал корм.

– И так каждое утро?

– Да. Как правило, этим занимаются новенькие женщины. Потому что это просто. Хочешь посмотреть кроликов?

– Хочу, – ответил я. За птичником стояли клетки, где спало около десятка кроликов. Наоко сгребла метлой помет, насыпала корма, взяла в руки крольчонка и прижала его в щеке.

– Смотри – хорошенький, правда? – радостно спросила она и дала мне его поддержать. Маленький теплый комочек неподвижно съехал у меня на груди и только шевелил ушками. – Не бойся, Ватанабэ добрый. – Наоко погладила его по голове пальцем, посмотрела на меня и засмеялась. Настолько безоблачным и ослепительным смехом, что и я не удержался. А про себя подумал: «Что же с ней было ночью? Однозначно, то была живая Наоко. Она не приснилась мне – она действительно пришла и сняла передо мной одежду».

Рэйко, умело насвистывая «Proud Mary», собрала мусор в полиэтиленовый мешок и завязала горлышко. Я помог отнести в сарай инструменты и мешок с кормом.

– Утро люблю больше всего, – сказала Наоко. – Кажется, что все начинается с самого начала. Приходит время обеда, и мне становится грустно. А вечер ненавижу. Так и живу, думая об этом каждый божий день.

– И за этими думами летят ваши годы. Пока размышляете, как там наступает утро, опускается ночь, – весело сказала Рэйко. – Оглянуться не успеете.

– Можно подумать, тебе вечера в радость, – сказала Наоко.

– Я совсем не радуюсь. Но и молодой становиться опять не хочу, – сказала Рэйко.

– Почему? – спросил я.

– А надоело! Разве не ясно? – ответила Рэйко и, продолжая насвистывать «Proud Mary», отправила метлу в сарай и закрыла дверь.

Вернувшись в комнату, они сняли резиновые сапоги, переобулись в обычную спортивную обувь и сказали, что идут на поле.

– Это работа неинтересная, к тому же – совместно с другими людьми, поэтому тебе лучше остаться здесь. Почитай книгу, например, ладно? – сказала Рэйко. – Потом постирай наше грязное белье, оно в ведре, в ванной.

– Шутите? – уточнил я.

– Еще бы, – засмеялась Рэйко. – Конечно, шучу. Разве не видно? Какой

он милый! Как считаешь, Наоко?

– Согласна, – ответила она.

– Буду учить немецкий, – вздохнул я.

– Хороший мальчик. Мы к обеду вернемся. Смотри занимайся, – сказал Рэйко. И они, хихикая, вышли из комнаты. Послышались шаги и голоса – под окнами прошло несколько человек.

Я пошел в ванную и еще раз умылся, взял щипчики и постриг ногти. Очень скромная ванная комната – с учетом того, что здесь живут две женщины. Лишь одинокие баночки с косметическим кремом, что-то для губ, что-то от загара и какой-то лосьон. Настоящей косметикой тут и не пахло. Покончив с ногтями, я перебрался на кухню, сварил кофе и, усевшись за стол, открыл учебник немецкого. На кухне в одной майке, под припекающим солнцем, зубря грамматическую таблицу – мне вдруг стало очень странно. Показалось, что неправильные немецкие глаголы и кухонный стол – от меня на таком огромном расстоянии, какое только можно представить.

В полдвенадцатого женщины вернулись с поля, по очереди приняли душ и переоделись. Потом мы пошли в столовую, а после обеда прогулялись до ворот. На этот раз в сторожке, как и положено, находился привратник, который очень аппетитно поедал принесенный из столовой обед. Из транзистора лилась популярная музыка. Заприметив нас, он поднял руку в приветствии. Мы тоже поздоровались.

– Мы прогуляемся за территорией. Думаю, часам к трем вернемся, – сказала Рэйко.

– Да-да, пожалуйста. Погода хорошая. Недавно тропинку в долине размыло, так что будьте осторожны. А в других местах все в порядке, – сказал привратник. Рэйко внесла в список себя и Наоко и проставила время.

– Удачной прогулки, – пожелал привратник.

– Любезный человек, – сказал я.

– Он странненький. – И Рэйко покрутила пальцем у виска.

В любом случае, как и сказал привратник, погода стояла прекрасная. Голубой небосвод, на котором, словно робкие мазки краски, прилипли тонкие белые облака. Некоторое время мы двигались вдоль низкой каменной ограды «Амирё», затем отошли от нее и гуськом поднялись по узкой крутой тропинке. Впереди шла Рэйко, за ней – Наоко, последним – я. Рэйко взбиралась по склону таким уверенным шагом, что становилось ясно: она исходила тут все окрестности и знает дорогу наизусть. Мы почти не разговаривали и только шли вперед. Наоко была в синих джинсах и

белой рубашке, а куртку она сняла и несла в руках. Я шел и разглядывал, как вправо-влево покачиваются на ходу ее прямые волосы. Наоко иногда оглядывалась на меня и улыбалась, если наши взгляды встречались. Подъему, казалось, не будет конца, но Рэйко не сбавляла темп, и Наоко, вытирая пот, старалась от нее не отставать. Я довольно долго не ходил по горам и уже начал выдыхаться.

– Часто здесь гуляете? – поинтересовался я у Наоко.

– Примерно раз в неделю, – ответила она. – Тяжело, да?

– Немного.

– Прошли уже две трети. Осталось немного. Держись, ты же мужчина! – призвала Рэйко.

– Я мало двигаюсь.

– Поди, только по девочкам и бегаешь? – сказала Наоко, как бы сама себе.

Я хотел было что-нибудь ответить, но дыхания не хватило и у меня ничего не вышло. Иногда мимо пролетали красные птицы с хохолками на головах. В ярко-голубом небе они выглядели очень эффектно. На лугу беспорядочно цвело несчетное количество белых, голубых, желтых цветов. Повсюду жужжали пчелы. Разглядывая мир вокруг, я уже ни о чем не думал и просто шаг за шагом передвигал ноги.

Минут через десять подъем закончился. Мы вышли на ровное место, похожее на плоскогорье и там сделали привал, вытерли пот, отдышались, попили из фляги воды. Рэйко нашла какие-то листья и сделала из них дудочку. Затем начался пологий спуск. По обеим сторонам тропинки рос высокий мискант. Еще минут через пятнадцать мы прошли селение, но в нем не было ни одного человека – стояла лишь дюжина заброшенных домов, а вокруг – трава по пояс. В проемах стен белел засохший птичий помет. Один дом совсем завалился, остались только столбы, но были и такие, что открой ставни и селись хоть сейчас. Мы прошли по тропинке, стиснутой безмолвными вымершими домами.

– Какие-то семь-восемь лет назад здесь еще жили люди, – объяснила Рэйко. – Вокруг были сплошные поля. Но все уехали. Уж очень тяжелая здесь была жизнь. Зимой засыпает снегом, и никуда не выйти. А почва бедная. Куда выгодней уехать в город.

– Никуда не годится. Столько пригодных для жизни домов, – сказал я.

– Одно время тут жили даже хиппи, но зимой их и след простыл.

Селение осталось за спиной, мы прошли еще немного вперед, и показалась изгородь пастбища. Вдалеке на нем виднелись лошади. Мы пошли вдоль изгороди, и вдруг, виляя хвостом, на нас выскочила огромная

собака. Она кинулась на Рэйко, обнюхала ее лицо, а затем игриво прыгнула к Наоко. Я свистнул, собака подбежала и вылизала мне всю руку.

– Пастушья, – трепля голову собаки, сказал Наоко. – Ей уже лет двадцать. Зубы слабые, твердое грызть не может. Только спит перед магазином, а услышит шаги – прибегает и ластится.

Стоило Рэйко достать из рюкзака обрезок сыра, собака почуяла запах, подскочила к ней и радостно вцепилась зубами в угощение.

– Недолго нам с ней осталось встречаться, – похлопывая собаку по голове, сказала Рэйко. – В середине октября посадят в грузовик вместе с коровами и лошадьми и отвезут на нижнюю ферму. Их привозят сюда попаситься на свежей траве только на лето, пока для туристов работает небольшое кафе. За день бывает человек по двадцать, а бывает – и никого.

– Может, хочешь чего-нибудь выпить?

– Хорошо бы, – ответил я.

Собака побежала вперед проводить нас до самого кафе. То было маленькое здание с верандой, выкрашенное спереди белым. С карниза свисала полустершаяся вывеска в форме кофейной чашки. Собака взбежала по ступенькам, завалилась на бок и зажмурилась. Мы сели за стол на веранде, а из дома вышла девушка с волосами, забранными на затылке в хвост, в белых джинсах и тренировке, и приветливо кивнула Рэйко и Наоко.

– Это – товарищ Наоко, – представила меня Рэйко.

Девушка поздоровалась, и я ответил ей.

Пока женщины о чем-то беседовали, я трепал по шее лежавшую под столом собаку. Шея ее и впрямь была старческой, с затвердевшими жилами. Стоило поскрести ей эти твердые места, как собака довольно и громко задышала.

– Как ее зовут? – спросил я у девушки.

– Пэпэ.

– Пэпэ, – попробовал позвать я собаку, но она даже не шелохнулась.

– Она глуховата. Нужно громче звать, чтоб слышала, – сказала девушка на местном диалекте.

– Пэпэ! – громко позвал я. Собака открыла глаза, подпрыгнула и гавкнула.

– Хорошо, молодчина, хватит, спи дальше да живи дольше, – сказала девушка, и собака вновь улеглась у моих ног.

Наоко и Рэйко заказали молоко со льдом, я – пиво. Рэйко попросила девушку включить радио, та повернула на усилителе ручку и включила стерео-программу. Послышалась песня группы «Кровь, Пот и Слезы» «Spinning Wheel».

– Если честно, я прихожу сюда послушать музыку, – довольно сказала Рэйко. – У нас-то радио нет. Если хоть изредка не заглядывать, совсем не будешь знать, что сейчас в мире слушают.

– Вы здесь постоянно живете? – спросил я девушку.

– Еще чего! – засмеялась она. – Ночью здесь можно помереть с тоски. Вечером меня отвозит вот на этой штуке работник фермы. А утром привозит обратно.

И девушка показала на стоящий перед фермой вседорожник.

– Здесь скоро делать будет совсем нечего? – спросила Рэйко.

– Да, немного осталось, – ответила девушка. Рэйко достала сигареты, и они на пару закурили.

– Без тебя будет скучно, – сказала Рэйко.

– В мае приеду опять, – засмеялась девушка.

Заиграла песня «Крим» «White Room», затем пустили рекламу, которую сменил хит Саймона и Гарфункеля «Scarborough Fair». Когда она закончилась, Рэйко сказала:

– Хорошая песня.

– Я видел этот фильм, – сказал я.

– Кто в главной роли?

– Дастин Хоффман.

– Не знаю такого, – грустно покачала головой Рэйко. – Пока я здесь, мир меняется.

Рэйко попросила у девушки гитару. Та выключила радио и принесла старый инструмент. Собака задрала морду, принюхиваясь к запаху.

– Это не едят, – сказала Рэйко так, чтобы та услышала. На веранде сильно пахло травой. Перед нашими глазами четкой линией вдаль уходили горы.

– Прямо как в «Звуках музыки», – сказал я Рэйко.

– Что это? – спросила она. И, настроив гитару, заиграла вступление к «Scarborough Fair». Сначала немного путалась в аккордах, как это бывает, если впервые играешь что-то без нот. Однако вскоре подобрала мелодию и, за исключением перехода, сыграла всю песню до конца. А уже с третьего раза начала добавлять даже соло.

– Хорошее чутье, – подмигнула она мне и показала пальцем на свою голову. – С трех раз могу сыграть на слух почти любую мелодию.

И, тихонько мурлыча себе под нос, сыграла «Scarborough Fair» еще раз. Мы вдвоем похлопали, Рэйко вежливо поклонилась.

– Когда я раньше играла концерты Моцарта, аплодисменты были громче, – сказала она.

Девушка предложила принести Рэйко молока со льдом за счет заведения, если та сыграет «Here Comes The Sun». Рэйко в знак согласия подняла большой палец и заиграла на заказ. Пела она тихо – прокуренный голос подрагивал, но то был все равно прекрасный голос, и в нем чувствовалась сила. Я пил пиво, разглядывал горы, слушая Рэйко, и мне казалось, что солнце выглянет оттуда еще раз. Такое вот теплое и нежное чувство.

Закончив «Here Comes The Sun», Рэйко вернула гитару и попросила опять включить радио. Затем предложила нам с Наоко погулять с часик по окрестностям.

– Я послушаю здесь музыку, поболтаю с хозяйкой. Вы, главное, вернитесь к трем.

– Ничего, что мы так долго останемся наедине? – спросил я.

– Вообще-то нельзя, но ладно. Я вам здесь не нянька, тоже хочу немного расслабиться. И ты – приехал издалека, так разговаривай вволю, – сказала Рэйко, подкуривая новую сигарету.

– Пойдем, – встала Наоко.

Я пошел за ней. Собака проснулась и некоторое время бежала с нами, но вскоре передумала и поплелась обратно. Мы неторопливо шагали по ровной тропинке вдоль ограды фермы. Иногда Наоко сжимала мою ладонь или брала меня под руку.

– Тебе не кажется, что мы очень давно так не ходили? – сказала Наоко.

– Совсем недавно – этой весной, – улыбнулся я. – Мы ходили так до весны этого года. Если это – «давно», то десять лет назад – античная история.

– Действительно, античная... Извини за вчерашнее. Расстроилась ни с того ни с сего. Ты ко мне приехал, а я... Прости.

– Ерунда. Наверное, лучше чаще выплескивать чувства наружу. И тебе, и мне. Если надо будет их на кого-нибудь обрушить, пусть уж лучше на меня. Так мы и узнаем друг друга.

– И что будет, когда ты узнаешь меня?

– Слушай, ты не понимаешь, – сказал я. – Проблема не в том, что будет. В мире есть люди, которые любят изучать железнодорожные расписания и делают это дни напролет. Другие строят из спичек метровые корабли. И нет ничего удивительного, что в этом мире кому-то захотелось узнать тебя ближе.

– Из любопытства? – странно спросила Наоко.

– Может, и так. Нормальные люди называют это дружелюбием или чувством любви. Тебе нравится называть его любопытством – я не против.

– Послушай, Ватанабэ, ты же любил Кидзуки?

– Конечно, – ответил я.

– А Рэйко?

– Она мне тоже очень нравится. Хороший человек.

– Почему тебе нравятся сплошь такие люди? – спросила Наоко. – Мы все немного повернуты, мы чокнутые, мы не умеем плавать и постепенно опускаемся на дно. И я, и Кидзуки, и Рэйко. Мы все. Почему бы тебе не найти нормальных друзей?

– Потому что я так не считаю, – немного подумав, ответил я. – Я не считаю ни тебя, ни Кидзуки, ни Рэйко повернутыми. Мне кажется, как раз повернутые бодро разгуливают по улицам.

– Но мы всё же ненормальные. Я знаю, – сказала Наоко.

Некоторое время мы шагали молча. Тропинка свернула от забора фермы и вывела на круглую, как пруд, поляну, окруженную лесом.

– Иногда просыпаюсь по ночам, и становится жутко, – прижимаясь к моей руке, сказала Наоко. – Кажется, я так и останусь ненормальной и никогда не поправлюсь. Состарюсь и закончу здесь свои дни. От одной мысли до костей пробирает дрожь. Страшно. Горько. И холодно.

Я обнял Наоко и прижал ее к себе.

– Иногда чудится, будто Кидзуки манит меня, протягивая руку из темноты. «Эй, Наоко, мы с тобой неразлучны». Он говорит так, а я не знаю, что делать.

– И что ты делаешь тогда?

– Только не подумай ничего.

– Не подумаю.

– Прошу Рэйко меня обнять. Толкаю ее, ныряю к ней постель. Она обнимает меня, а я плачу. И гладит мое тело, пока не согреюсь. Как это по-твоему – странно?

– Ничего странного. Только вместо Рэйко обнимать тебя хочется мне.

– Сейчас... обними... здесь... – сказала Наоко.

Мы обнялись, присев на сухую траву. Наши тела полностью утонули в ней, и видно было только небо и облака. Я осторожно положил Наоко на землю. Ее тело было теплым и мягким, а руки хотели меня. Наши губы слились в поцелуе сами.

– Послушай, Ватанабэ, – раздалось возле моего уха.

– Что?

– Хочешь со мной спать?

– Конечно.

– А подождать можешь?

- Конечно, могу.
- Мне сначала нужно разобраться в себе. Разобраться и стать подходящим для тебя человеком. Потерпишь до тех пор?
- Конечно, потерплю.
- Сейчас твердый?
- Лоб?
- Дурак! – прыснула Наоко.
- Если ты о том, встал или нет, то, конечно, да.
- Прекрати это свое «конечно».
- Хорошо, не буду.
- Как это – тяжело?
- Что?
- Когда твердый?
- Тяжело? – переспросил я.
- Ну, в смысле, тягостно?
- Как посмотреть.
- Давай помогу?
- Рукой?
- Да, – сказала Наоко. – Если честно, он уже долго тычется в меня – аж больно.
- Так лучше? – спросил я, немного сдвинувшись.
- Спасибо.
- Послушай, Наоко...
- Что?
- Сделай, а?
- Хорошо, – улыбнулась Наоко. Она расстегнула мне ширинку и взяла в руку твердый пенис.
- Теплый, – сказала она.
- Я остановил Наоко, когда она начала было двигать рукой, расстегнул пуговицы на ее блузке, застежку лифчика, и прильнул губами к мягким розовым грудям. Наоко закрыла глаза и начала медленно двигать пальцами.
- Классно у тебя выходит, – сказал я.
- Будь умницей – молчи, – ответила она.

Кончив, я обнял ее и еще раз поцеловал. Наоко поправила лифчик и блузку, я застегнул ширинку.

- Теперь будет легче идти? – поинтересовалась она.
- Благодаря тебе.
- Тогда, если не возражаешь, давай пройдемся еще немного.

– Давай, – ответил я.

Мы прошли луг, рощу, еще один луг. Наоко рассказывала мне о смерти своей старшей сестры.

– Я не говорила об этом почти никому, но хочу, чтобы ты знал, – сказала она. – У нас была разница в шесть лет. Мы были совершенно разными, но это не мешало нам ладить. Мы ни разу не ругались. Нет, правда – видимо, разница была такой, что даже не давала нам ссориться.

Что бы сестра ни делала, она всегда стремилась стать первой. В учебе, в спорте. Она и была, и слыла прирожденной заводилой – но доброжелательная, спокойная. Парни к ней тянулись, учителя баловали. Она целых сто грамот собрала. В любой школе есть хотя бы одна такая девчонка. Я ее так расписываю не потому, что она была моей сестрой. Она не зазнавалась, не важничала, не задирала нос и не любила привлекать к себе лишнее внимание. Просто за что бы ни бралась, как-то естественно становилась лучшей.

И я с малых лет решила тоже стать красивой, – продолжала Наоко, вертя в руках колосья мисканта. – Еще бы: вокруг меня только и говорили, что о сестре – какая она умная, какая хорошая спортсменка, какая у нее безупречная репутация. Как ни крути, опередить ее в чем-то было практически невозможно. Только лицом я вышла капельку лучше ее. Потому родители и задумали вырастить меня красивым ребенком. Потому и отдали с самого начала в такую школу. Бархатное платье, блузка с оборками, лакированные туфельки, уроки пианино и балета. Но при всем этом сестра меня очень любила. Как свою маленькую хорошенькую сестренку. Покупала и дарила мне всякие мелочи, водила с собой в разные места, следила, как я учусь. Даже иногда брала меня с собой на свидания. Классная была сестра.

Не знаю, что заставило ее решиться. Как и Кидзуки. Все – то же самое. И возраст – семнадцать, и никаких намеков до самой смерти, и записки не было... Ведь сходится?

– Да, – ответил я.

– Все только и говорили: мол, шибко умная, книжек начиталась. Действительно, она много читала. Много книг после ее смерти читала уже я. На страницах я находила ее пометки, засушенные цветы, письма ее парня – и всякий раз не могла сдержать слез. Горько.

Наоко некоторое время молча крутила колосья мисканта.

– Она всегда старалась все уладить сама. Ни с кем не советовалась, не просила о помощи. Не потому, что была гордая. Просто считала, что так и должно быть. Как мне кажется. Родители к этому привыкли и были

уверены, что в ее дела лучше не вмешиваться. Я часто спрашивала у нее о чем-то, и сестра всегда по-доброму все объясняла, но сама не советовалась ни с кем. Все устраивала сама. Я ни разу не видела ее сердитой или не в духе. Нет, правда, я не преувеличиваю. Девчонки, например, во время месячных становятся раздражительными. В той или иной степени. Она же – нет. Не в духе она не бывала, зато часто замыкалась в себе. Так бывало раз в два-три месяца: закрывалась в своей комнате и пару дней носа из нее не показывала. Пропускала занятия, почти ничего не ела. А сама в полутемной комнате просто ничего не делала. Но при этом она не была не в духе. Когда я возвращалась из школы, звала меня к себе, сажала рядом и расспрашивала, как прошел день. Ничего особенного. Как играла с подругами, что говорили учителя, что поставили за контрольную, ну и в таком духе. Внимательно слушала, что-то советовала. Но когда я уходила – например, поиграть с подругами или на балетную репетицию, – она опять оставалась одна. А дня через два как ни в чем ни бывало приходила в себя и бодро отправлялась в школу. И так длилось, чтобы не соврать, года четыре. По-первости родители волновались и даже водили ее к врачу, но через пару дней ее как подменяли. Поэтому они постепенно пришли к выводу, что лучше ее оставить в покое, пока все не образуется. Как-никак, нормальный смышленный ребенок.

Но после смерти сестры я подслушала один разговор родителей. Об отцовском младшем брате. Он тоже был неглупый парень, но с семнадцати лет и до двадцати одного года безвылазно просидел в своей комнате. В конечном итоге, однажды вышел на улицу и бросился под поезд. Отец тогда сказал: «Видимо, зов крови. По моей линии».

Рассказывая, Наоко машинально теребила пальцами колосья мисканта и развеивала их по ветру. А когда остались одни обшелушенные колоски, начала завязывать их, как шнурки.

– Мертвой сестру обнаружила я, – продолжала она. – Случилось это осенью, в шестом классе. В ноябре. Шел дождь, было очень мрачно и пасмурно. Сестра уже училась в выпускном. В полседьмого я вернулась с балета, мать готовила ужин. Сказала, что можно садиться за стол и попросила позвать сестру. Я поднялась на второй этаж, постучалась к ней. Ответа не было, и внутри стояла мертвая тишина. Мне показалось странным, я постучала еще раз и тихонько отворила дверь. Думала: мало ли, может, она заснула. Но она не спала. Стояла около окна, слегка наклонив голову набок, и пристально смотрела на улицу. Будто о чем-то размышляла. В комнате было темно, свет выключен, все как в тумане. Я сказала: «Ты что там делаешь? Пойдем ужинать», – и тут обратила

внимание, что она выглядит как-то выше обычного. С чего бы это? – удивилась я. Может, на каблуках, или встала на какую-нибудь подставку. А когда подошла поближе и хотела было позвать ее снова, заметила – у нее на шее веревка. С кронштейна на потолке тянулась вниз веревка – причем на удивление прямо, будто кто-то по линейке прочертил линию в пространстве. На сестре была белая блузка – примерно такая же простая, как на мне сейчас, – серая юбка, носки вытянулись, будто она делала стойку в балетных тапочках, а между полом и носками – пустота сантиметров в двадцать. Я увидела все это до мельчайших подробностей. И лицо. Лицо я увидела тоже. Просто не могла его не увидеть. В голове пронеслось: нужно идти вниз, сказать матери, позвать ее. Но тело не слушалось. Оно двигалось самостоятельно, вне моего сознания. Сознание подсказывало скорее бежать вниз, а тело само пыталось освободить сестру от веревки. Но откуда у ребенка столько сил? И я пять-шесть минут простояла, как онемевшая. В полной растерянности. Не понимая, что к чему. Будто что-то умерло внутри меня. До тех пор, пока не пришла мать и не спросила: «Что здесь происходит?» – я простояла там. Рядом с сестрой. В темном и холодном месте.

Наоко кивнула.

– Три дня я молчала. Лежала на кровати, будто мертвая, не шевелясь, только глаза открыты. Совершенно не понимая, что есть что. – Наоко прижалась к моей руке. – Я ведь писала тебе. Я куда более неполноценный человек, чем ты можешь предположить. Я больна куда сильнее, чем ты думаешь. И корни этой болезни очень глубоки. Поэтому если ты сможешь пойти дальше, иди один. Не жди меня. Хочешь спать с другими – спи. За меня не беспокойся. Делай то, что тебе хочется. Иначе я собью тебя с верного пути. Только этого я ни за что не хочу – не хочу тебе портить жизнь. Я уже говорила: ты время от времени навещай меня и никогда меня не забывай. Больше я ничего не желаю.

– А я желаю не только этого, – сказал я.

– Но связываясь со мной, ты испортишь себе жизнь.

– Ничего я не испорчу.

– Но ведь я могу так и не поправиться. И что – ты будешь меня ждать? Сможешь ждать меня и десять, и двадцать лет?

– Ты слишком многого боишься, – сказал я. – Мрака, горьких кошмаров, силы умерших людей. А тебе нужно только забыть все это. Стоит лишь забыть – и ты непременно поправишься.

– Если получится забыть, – кивнула Наоко.

– Давай будем жить вместе, когда ты выйдешь отсюда? – предложил

я. – Тогда я смогу защитить тебя от мрака и кошмаров. Не будет рядом Рэйко – смогу тебя обнять, когда станет немого.

Наоко еще теснее прижалась к моей руке.

– Хорошо, если так получится, – только и сказала она.

Мы вернулись к кафе без нескольких минут три. Рэйко читала книгу и слушала второй концерт Брамса для фортепиано. Брамс на безлюдной бескрайней поляне – это было нечто. Рэйко насвистывала партию виолончели из третьей части.

– Бакхаус и Бом, – сказала она. – В молодости заигрывала эту пластинку до дыр. Она и вправду в конце концов заездила. Я только успевала переворачивать. Стерлась, будто наждаком.

Мы с Наоко заказали горячий кофе.

– Наговорились? – спросила Рэйко у Наоко.

– Еще как, – ответила та.

– Потом расскажешь... какой он у него.

– Мы ничего такого не делали, – покраснела Наоко.

– Что, правда? – спросила Рэйко теперь у меня.

– Нет.

– Скукота, – разочаровано сказала Рэйко.

– Точно, – поддакнул я, прихлебывая кофе.

Ужин напоминал вчерашний. Ни общий дух, ни голоса, ни лица людей не отличались ничем – другим было только меню. К нам присоединился мужчина, который вчера разглагольствовал о секреции желудочного сока в невесомости. На этот раз его волновала тема соотношения размера мозга с его функциями. Поедая нечто, именуемое «соевым гамбургером», мы внимали рассказу об объемах мозга Бисмарка и Наполеона. Мужчина отодвинул в сторону тарелку и нарисовал в блокноте мозг. Затем, поскоблывшись, что не совсем правильно вышло, перерисовал еще раз. Покончив с художествами, он аккуратно сложил картинку в карман халата и вернул ручку в нагрудный карман, из которого теперь выглядывали три ручки, карандаш и линейка. Доев, он повторил вчерашнее:

– Какие здесь чудные зимы. Непременно приезжайте, когда выпадет снег, – и ушел.

– Он врач или больной? – спросил я у Рэйко.

– А сам как считаешь?

– Даже представить не могу. В любом случае, на нормального человека он не похож.

– Врач. По фамилии Мията, – сказала Наоко.

– Но он самый чудной в этих краях. Могу поспорить, – добавила Рэйко.

– Дежурный привратник Оокура еще безумнее, – продолжала Наоко.

– Этот действительно ненормальный, – кивнула Рэйко, нанизывая на вилку брокколи. – Каждое утро беспорядочно размахивает руками – так он делает зарядку – и вопит всякий вздор. А еще до Наоко здесь работала бухгалтером женщина по фамилии Киносита. Так она пыталась покончить с собой – на почве невроза. А медсестру по фамилии Токусима в том году уволили из-за пьянства.

– Получается, больные и персонал могут запросто поменяться местами, – удивился я.

– Именно, – взмахнув вилкой, поддакнула Рэйко. – Кажется, ты начинаешь понимать структуру этого мира.

– Кажется, – сказал я.

– Наше самое нормальное качество, – подытожила она, – в том, что мы сами понимаем, что мы – ненормальные.

Вернувшись в комнату, мы с Наоко начали играть в карты, а Рэйко опять принялась репетировать Баха.

– Когда ты завтра уедешь?

– После завтрака. В десятом часу придет автобус – последний, чтобы я успел к вечеру на работу.

– Жаль. Пожил бы еще немного.

– Поживу – глядишь, останусь навсегда, – рассмеялся я.

– Держи карман. – И Рэйко, обращаясь к Наоко, воскликнула: – Надо же сходить к Ока за виноградом! Совсем вылетело из головы.

– Вместе сходим? – предложила Наоко.

– Ничего, если я позаимствую у тебя Ватанабэ?

– Сколько угодно.

– Это будет наша с тобой вечерняя прогулка, – взяв меня за руку, сказала Рэйко. – Вчера не хватило самую малость. А сегодня все до ума доведем.

– Ну и как хотите, – фыркнула Наоко.

На улице дул холодный ветер. Рэйко надела на майку светло-голубую кофту и засунула руки в карманы брюк. Она разглядывала небо, принюхивалась, как собака, а потом сказала:

– Дождем пахнет.

Я тоже принюхался, но ничего не почувствовал. По небу плыли облака, закрывая тенями луну.

– Если здесь долго живешь, начинаешь угадывать погоду по запаху, – сказала Рэйко.

Когда мы вошли в рощу, где стояли домики персонала, Рэйко попросила меня подождать, направилась к одному дому и позвонила в дверь. Вышла хозяйка, перебралась с Рэйко парой слов, посмеялась, а потом вынесла из дома большой полиэтиленовый пакет. Рэйко сказала спасибо, попрощалась и вернулась ко мне.

– Вот, виноградом угостили. – Рэйко показала мне полный пакет. – Любишь виноград?

– Да.

Она достала верхнюю гроздь и протянула мне:

– Он мытый. Можно есть прямо так.

Я на ходу ел виноград, выплевывая шкурки и косточки на землю. Он оказался очень сочным. Рэйко не отставала от меня.

– Я понемногу учу их сына играть на пианино и получаю взамен всякие разности. Хорошие люди. Недавно угостили вином. Кое-что покупают мне в городе.

– Я хочу услышать продолжение вчерашней истории, – сказал я.

– Хорошо, – согласилась она. – Вот только если мы будем возвращаться каждый вечер поздно, Наоко нас заподозрит.

– Ну и пусть. Все равно мне хочется узнать, что было дальше.

– О'кей. Только давай где-нибудь спрячемся. Сегодня что-то прохладно.

Она свернула перед теннисными кортами, спустилась по узкой лестнице и вышла к веренице складов. Открыла дверь ближнего, вошла и включила свет.

– Добро пожаловать. Правда, здесь ничего нет.

Внутри ровными рядами тянулись лыжные комплекты: сами лыжи, палки и ботинки. Здесь же на полу лежали мешки с посыпкой, лопаты для чистки снега.

– Раньше я часто приходила сюда играть на гитаре. Когда хотелось побыть наедине с собой. Уютно, правда?

Рэйко уселась на один мешок и предложила мне сесть рядом.

– Ничего, если я немного подымлю?

– На здоровье, – ответил я.

– Только это никак не могу бросить, – скривилась Рэйко и со вкусом затянулась. Я подумал: «Ну кто еще может так смачно курить?» Я ел одну за другой виноградины и складывал косточки и шкурки в жестяную банку, ставшую нам пепельницей.

– На чем я вчера остановилась?

– На чем-то вроде: «В ненастную ночь я взбиралась по отвесной скале за гнездом ласточки...»

– Ты такой забавный, когда шутишь, а лицо серьезное, – восхищенно сказала Рэйко. – Я начала давать той девочке уроки по субботам. Точно.

– Правильно.

– Если всех в мире разделить на способных и неспособных учить других людей, пожалуй, меня можно причислить к первым, – сказала Рэйко. – Хотя в молодости я так не считала. И на то были свои причины. Но с возрастом я научилась разбираться в окружающих меня вещах и теперь могу так сказать. Я умею учить других. И весьма неплохо.

– Я тоже так думаю, – согласился я.

– Я намного терпимее к посторонним, чем к самой себе, и куда проще раскрываю положительные стороны других людей, чем свои собственные. Такой вот я человек. В общем, существо наподобие чиркалки спичечного коробка. Хотя... я отношусь к этому спокойно. Лучше первоклассная спичечная коробка, чем второсортные спички. Я стала так рассуждать, если не изменяет память, именно после встречи с той девочкой. В молодости у меня было несколько учеников, но подобные мысли в голову не приходили. И только начав преподавать ей, я впервые задумалась: «Вот, оказывается, как неплохо я умею учить людей». Так успешно продвигались наши занятия.

Я, кажется, говорила вчера, что техника у нее была посредственная. Музыкантом она становиться не собиралась, что облегчало мне работу. В школе ей было достаточно получать минимальные оценки, чтобы автоматически поступить в институт. Грызть гранит науки ей не хотелось, к тому же мать просила особо не усердствовать. Я и не пыталась на нее давить, потому что с первой встречи поняла: заставлять ее что-либо делать – бесполезно. Общительный ребенок, но делает *только* то, что хочет. Тут первым делом нужно дать ей возможность играть произвольно. Предоставить стопроцентную свободу. Затем сыграть то же самой в разных вариациях, обсудить, какая лучше, какие места понравились. И попросить ее повторить. Глядишь, исполнение станет на порядок лучше, самое ценное она переймет.

Рэйко вздохнула и посмотрела на огонек сигареты. Я продолжал есть виноград.

– Я не считаю себя обделенной чувством музыки, но у нее оно было острее моего. «Жаль, – подумала я, – брала бы с детства уроки у сильных учителей – играла бы намного лучше». Хотя нет, она бы не потянула

серьезную учебу. В мире немало таких людей. По крупичкам разбазаривают свой талант, не могут удержать его в руках. Мне доводилось таких видеть. Сначала думаешь: вот это да! Например, берут и играют сложную вещь с листа, и при этом – очень даже прилично. Слушатели сражены наповал. Сажу и думаю: куда мне до такой игры? Но на этом – всё. Дальше прогресса нет. Почему? Не хватает усилий. Потому что их не приучили выкладываться, избаловали. Потому что обладая талантом с детства, можно было не напрягаясь, сносно играть, и слушатели бы нахваливали. Зачем стараться, если и так все видят? На что другим требуется три недели, получается за полторы. Учитель слушает и говорит: «Здесь уже хорошо, пойдем дальше». И опять – в два раза быстрее остальных. И опять они идут дальше. Не набив ни одной шишки, теряют то, без чего не может состояться личность. Это – трагедия. Со мной тоже такое могло произойти, но, к счастью, преподаватель оказался на редкость строгим, и все обошлось.

Но девочка занималась с увлечением. Это же как гнать по автостраде на прищипоренной машине. Стоит шевельнуть пальцем, и она подчиняется тебе беспрекословно. Даже если едешь на очень большой скорости. Один из секретов преподавания таким ученикам – не перехваливать их. Они и так с детства слишком к этому приучены и воспринимают каждую новую похвалу как должное. Достаточно изредка найти нужное слово. И еще: главное – на них не давить. Пусть выбирают сами. Направляй вперед, а если застопорятся – заставляй думать. Только и всего. И все будет получаться.

Рэйко бросила окурок на пол и раздавила его ногой. Как бы для успокоения глубоко вздохнула.

– После уроков мы разговаривали за чашкой чая. Иногда я копировала джазовых пианистов. Это – Бад Пауэлл, а это – Телониус Монк. Но в основном говорила она. Да так умело, что постепенно увлекала разговором... Я рассказывала вчера, что большинство ее историй были выдумкой, но при этом – весьма интересной. Взгляд очень острый, слова – к месту, с юмором и сарказмом. В общем, она очень искусно брала людей за живое и играла их чувствами. При этом сама знала о своих способностях и старалась их как можно ловчее использовать. Могла сердить, печалить, проникаться, унижать, радовать, управлять людьми, как вздумается. Только ради собственной прихоти бессмысленно манипулировала чужими чувствами. Естественно, я поняла это не сразу.

Она сама себе кивнула и съела несколько виноградин.

– Это болезнь, – продолжала Рэйко. – Она – нездоровый человек. И

заболевание похоже на гнилое яблоко, которое портит соседние. Лечить ее бесполезно. Она останется такой до самой смерти, поэтому в каком-то смысле ее жаль. Если бы я сама от нее не пострадала, пожалуй, так бы и думала. Но и она – жертва.

Рэйко съела еще винограда. Похоже, размышляла, каким образом продолжить рассказ.

– Примерно с полгода я с удовольствием вела уроки. Иногда закрадывались сомнения, и все это казалось странным. Я, бывало, поражалась, когда чувствовала ее бессмысленную враждебность к окружающим. Размышляла, о чем на самом деле она думает своей очень расчетливой головой? Хотя нет в мире людей без недостатков. К тому же, я – лишь простой преподаватель фортепьяно. По сути, разве не безразлично мне, какой у нее сложится характер? Разве не достаточно мне, чтобы она лишь хорошо репетировала? Вдобавок ко всему, она мне, в общем-то, нравилась. Если честно.

Я лишь старалась в разговорах поменьше касаться своих личных тем. Инстинктивно чувствовала. А когда она заваливала меня вопросами – все-то ей хотелось знать, – я ограничивалась отговорками. Как я росла, в какую школу ходила... ну, и в том же духе. Она говорила: «Хочется больше о вас узнать». «Допустим, ты узнаешь обо мне, и что с того? Банальная жизнь, обычный муж, подрастает ребенок, вся в домашних хлопотах», – отвечала я. «Просто вы мне очень нравитесь», – говорила она, впиваясь в меня взглядом. Мне даже не по себе становилось. Старалась не обращать особого внимания. И при этом лишнего о себе не говорила.

Был, кажется, май, когда посреди урока она вдруг пожаловалась на недомогание. Смотрю, действительно – лицо бледное, вся в поту. Спрашиваю, что будем делать? Пойдешь домой? Можно, говорит, я немного полежу – сразу пройдет. Хорошо, говорю, иди сюда, ложись на мою кровать, – и, почти обняв, веду в свою спальню. Диван у нас маленький, ничего не оставалось, как положить ее в спальне. Она: «Извините за беспокойство». Я ей в ответ: «Ладно, что уж там. Не переживай. Может, что-нибудь попить? Воды?» «Не стоит. Просто, посидите немного рядом». «Это запросто».

Немного погодя: «Извините, вы не могли бы немного погладить меня по спине?» – таким страдальческим голосом. Смотрю, а у нее вся спина в поту. Я давай изо всех сил ее гладить. Вдруг она говорит: «Извините, не сможете мне снять блузку – трудно дышать». Что поделаешь? Помогла. Блузка была в обтяжку – я расстегнула пуговицы, петельку на спине. Для тринадцатилетней девочки грудь – огромная, раза в два больше моей.

Бюстгальтер даже не подростковый, а самый настоящий, для взрослых. И при этом очень дорогой. Но это тоже ладно. Продолжаю гладить ее по спине. Как дура. «Извините», – хнычет она, действительно таким виноватым голоском. А я каждый раз: «Не переживай, не переживай».

Рэйко сбросила пепел себе под ноги. Я к тому времени отложил пакет с виноградом и внимательно слушал ее.

– Смотрю, а она уже плачет навзрыд. «Что случилось?» – спрашиваю. «Ничего». «Что значит, ничего? Ну-ка выкладывай». «Со мной иногда такое бывает. Ничего не могу с собой поделать. Печально, горестно и не к кому обратиться. Никому я не нужна. Очень тяжело – и происходит такое. Ночью толком не сплю, аппетита нет. Одна у меня отдушина – ваши уроки». «Рассказывай, в чем причина. Я слушаю».

В семье, говорит, разлад. Родителей не любит, они ее – тоже. У отца есть любовница, дома он почти не появляется. Мать в полубезумном состоянии, сама не своя. Почти каждый день – побои. Домой возвращаться не хочется. Говорит и слезами заливается – накопила, видимо, в своих прекрасных глазах. При виде такого сам господь бог расчувствуется. Я ей говорю: «Если тебе так неприятно возвращаться домой, можешь приходить ко мне и в другие дни, кроме занятий». А она прижалась ко мне и говорит: «Честное слово, простите. Если бы не вы, прямо и не знаю, как мне быть. Не бросайте меня. Если и вы меня бросите, мне больше некуда идти».

Ну что тут поделаешь? Глажу ее по голове, успокаиваю. «Хорошо, хорошо», – говорю. А она тем временем обвила меня руками и ласкает. Чувствую – а со мной что-то странное происходит. Все тело будто пылает. Ну еще бы: обнимаюсь вдвоем в постели с красивой девочкой, будто с обложки журнала, и девочка эта гладит меня по спине. Да так чувственно, что мой муж ей и в подметки не годится. И я понимаю, что с каждым ее движением мое тело млеет все сильнее, настолько мне хорошо. Очнулась – а она уже сняла с меня блузку, расстегнула бюстгальтер и ласкает мне грудь. Тут я наконец-то поняла: она – лесбиянка. Со мной так уже однажды поступали. Старшеклассница в школе. «Прекрати, – говорю, – отстань».

«Прошу вас, хоть немного. Мне очень одиноко. Я не вру. Правда, одиноко. Никого, кроме вас. Не бросайте меня», – говорит она, а сама берет мою руку и прикладывает к своей груди. И грудь эта – очень хорошей формы, прикасаешься – и прямо кровь в голову. И я это понимаю, притом что сама женщина. Не зная, что делать, я, как дура, лишь повторяю: «Прекрати, что ты делаешь?» Не знаю, почему, но меня как парализовало. Тогда, еще в школе, я смогла увернуться. А на этот раз не удалось – тело совершенно не слушалось. Она взяла меня за руку и начала ею ласкать себе

грудь. Нежно покусывала и лизала мои соски, а другой рукой гладила спину, живот, бедра. Мне до сих пор не верится, что в полутемной спальне тринадцатилетняя девочка буквально раздела меня догола, – когда я уже ничего не соображала, постепенно сняла с меня всю одежду, ласкала и унижала меня. А я – как дура... Будто меня уже околдовало. А она, присасываясь к моей груди, все повторяла и повторяла: «Одиноко. Только вы. Не бросайте. Правда, одиноко...» А я: «Прекрати, прекрати...»

Рэйко умолкла и закурила.

– Знаешь, я впервые в жизни рассказываю эту историю мужчине, – сказала она, глядя мне в глаза. – Считаю, что тебе стоит знать, вот и рассказываю. Хотя мне и стыдно.

– Извините, – сказал я. А что еще тут скажешь?

– Чуть погодя ее правая рука спустилась ниже. И поверх трусов коснулась того места. А я-то... у меня там все было уже влажным. Вот стыдоба... Ни до, ни после того у меня не было так влажно. Честно говоря, до тех пор я не считала себя сексуально активной. И прямо обалдела, когда со мной произошло такое. Затем ее нежные и тонкие пальцы проникли под трусы. И... думаю, сам понимаешь. В общем, что было дальше – у меня язык не поворачивается сказать. Особенно по сравнению с грубыми пальцами мужчины... Нет, правда – как будто щекочут перышком. Тут-то у меня крышу чуть не сорвало. Но совершенно поплывшими мозгами я осознавала: допустить этого нельзя. Один раз позволишь – и будет продолжаться бесконечно. Такую тайну голова моя не выдюжит. Подумала о ребенке: что если дочь застанет меня за этим делом? По субботам она до трех бывала в гостях у моих родителей, но вдруг что-нибудь случится, и она вернется домой? Что делать-то? Я собрала в кулак все свои силы, поднялась и крикнула: «Прошу тебя, прекрати!»

Но она не останавливалась. Сняв с меня трусы, она сосала меня. Я от стыда не позволяла такое делать даже собственному мужу, а тут какая-то тринадцатилетняя пигалица вылизывает мне там все своим языком. Ну что тут делать? Хотя плачь... И вместе с тем – блаженство, как в раю.

«Прекрати!» – крикнула я еще раз и ударила ее по лицу. Наотмашь. Разбила губу. И она перестала наконец-то, поднялась и уставилась на меня в упор. Представляешь: мы с ней, обе голые, стоим на кровати и смотрим друг на друга в упор. Ей тринадцать, мне тридцать один... Правда, мое тело не идет с ее телом ни в какое сравнение. До сих пор хорошо его помню. Мне и тогда не верилось, что это – тело тринадцатилетнего ребенка, а сейчас – подавно. Поставь нас рядом, я покажусь такой уродиной, что хоть с тоски вой. Нет, правда.

Сказать мне было нечего, и я промолчал.

– «Ну почему? – спросила эта девочка. – Вы ведь тоже это любите? Я знала с самого начала. Ведь любите? Я знаю. Сознаться, так приятней, чем с мужчиной? Я же видела, как было влажно. Я сделаю еще лучше. Намного лучше. Правда. Станет так хорошо, что все тело размякнет. Идет? Ну?»

И она была права. С ней мне было намного приятней, чем с мужем. *Я хотела еще. Но не могла себе это позволить.* «Давайте будем встречаться раз в неделю? Всего разок? Никто не узнает. Это будет только наш с вами секрет», – сказала она.

Но я встала, накинула халат и сказала: «Убирайся и больше сюда не приходи». Она смотрела на меня в упор. Взгляд – не такой, как всегда, монотонный, неглубокий. Плоский, будто по картону написан. Без объема. Спустя какое-то время она молча собрала свою одежду, медленно, будто напоказ, оделась, вернулась в гостиную, где стояло пианино, достала из сумки гребень, расчесала волосы, вытерла с губ платком кровь, обулась и вышла. Уходя, сказала: «Вы – лесбиянка. Правда. И как бы ни скрывали, останетесь ею до смерти».

– И как? Она права? – спросил я.

Рэйко поджала губы и задумалась.

– И да, и нет. С ней у меня было больше ощущений, это так. И в какой-то момент я серьезно засомневалась – может, правда, а я просто раньше не обращала внимания? Но теперь я так не думаю. Я не говорю, что у меня нет такой склонности. Есть наверняка. Но я не лесбиянка в прямом смысле. Почему? У меня нет явной страсти при виде женщины, понимаешь?

Я кивнул.

– Просто некоторые женщины меня чувствуют, и чувство их передается мне. Только тогда со мною что-то происходит. Так, например, обнимая Наоко, я ничего особо не ощущаю. В жару мы ходим в комнате почти голые, вместе моемся, иногда спим в одной постели... но ничего нет. Ничего не чувствую. Хотя у Наоко тело очень красивое. Но не более. Кстати, один раз мы с ней играли в лесбиянок. Рассказать?

– Пожалуйста.

– Когда я рассказала эту историю Наоко – а о чем мы с нею только ни говорим, – она пыталась на пробу ласкать мое тело. По всякому. Мы обе разделись. Но... бесполезно. Вообще никак. Только чуть не защекотала до смерти. Как вспомню, до сих пор зудит. Наоко в этом смысле – и вправду неумеха. Как, отлегло?

– Да. Если честно, – сказал я.

– Ну вот такая история, – сказала Рэйко, почесывая мизинцем бровь. – Она ушла, а я уселась на стул, да так и просидела недвижно. Не зная, что мне делать. В самой глубине тела сердце глухо стучит, руки-ноги – как вата, во рту – сухо, будто наглоталась мотыля. Но скоро вернется ребенок, нужно принять ванну. Чтобы отмыть все те места, к которым она прикасалась, которые лизала. Но сколько я ни терла себя с мылом, какая-то слизь все равно не хотела сходить. Конечно, мне так лишь показалось, но что я могла поделать? Той ночью муж обнял меня. И я будто от скверны очистилась. Разумеется, ему рассказывать ничего не стала. Не то чтобы... но не смогла. Просто попросила обнять и трахнуть меня. «И не торопись, растяни подольше», – лишь сказала я. Он был очень нежен. Долго держался. Я кончила сильно. Вот так: у-у-ух!.. Впервые за нашу совместную жизнь... так сильно. Как ты думаешь, почему? Потому что на мне оставались касания ее пальцев. Только и всего. У-у-ух. Вот стыдоба – рассказываю такие вещи. Аж вспотела. *«Трахнул... Кончила...»* – Рэйко поджала губы и засмеялась. – Но и это не помогло. Прошло два дня, три, а ощущение той девочки оставалось. Из головы не выходила наша последняя сцена, в ушах отдавалось эхо ее слов.

В следующую субботу она не пришла. «А вдруг придет? Что делать тогда?» – колотило меня. Все валилось из рук. Но она не пришла. «Ну и правильно. Она – гордая. К тому же, все так получилось». И через неделю, и еще через неделю, и через месяц она не появилась. Я считала, что со временем все забуду – но не смогла. Остаюсь дома одна, чувствую вокруг ее присутствие, и не могу успокоиться. Не могу играть на пианино, не могу даже думать. За что ни возьмусь – ничего толком не выходит. Прошел примерно месяц – и вдруг обращаю внимание: иду по улице – и что-то не то. Соседи на меня как-то странно смотрят. Холодно. Конечно, здороваться здороваются, но голос и обхождение – не как раньше. Раньше соседка иногда заходила, а теперь сторонится. Вообще-то я старалась не принимать все это близко к сердцу. Начнешь беспокоиться по таким пустякам – верный признак заболевания.

И вот однажды приходит одна моя знакомая. Примерно одного со мной возраста, дочь материнской подружки. Наши дети ходили в один сад, и мы дружили семьями. Так вот, она неожиданно приходит и говорит: «Знаешь, какие о тебе ходят слухи?» «Нет, – отвечаю я. – Какие?» «Какие-какие... даже язык не поворачивается сказать». «Что значит, не поворачивается? Начала – так продолжай. Говори все, как есть».

Но она все равно сильно стеснялась, и мне пришлось выпрашивать. Раз пришла – значит, собиралась рассказать. Сначала помялась, но все же

выложила. По ее словам, пошел слух о том, что я – отъявленная лесбиянка, к тому же, несколько раз лежала в психушке. Я дескать раздела пришедшую на урок девочку, собираясь поглумиться над нею, а когда та начала сопротивляться, избивала так, что все лицо распухло. Придуманно-то лихо, но я удивилась другому: откуда ученица моя узнала, что я лежала в больнице.

«Я давно тебя знаю и говорила им всем, что ты – не такой человек, – сказала приятельница. – Но мать той девочки поверила и разболтала всем соседкам, как ты глумилась над ее дочерью. Навела о тебе справки и узнала о твоём психическом заболевании».

Судя по ее рассказу, однажды – ну, то есть, в тот самый день – девочка вернулась с занятий музыкой вся зареванная. Что случилось? – спрашивает мать. Лицо распухшее, губа разбита, кровь сочится, на блузке не хватает пуговиц, трусы разорваны. Поверишь? Естественно, для пущей убедительности все это она сделала сама. Заляпала блузку кровью, оторвала пуговицы, отодрала с лифчика кружева, наревелась, пока глаза не покраснели, все волосы спутала, в таком виде заявила домой и наврала там с три короба. Так и вижу, как все это было.

Но разве могла я винить всех только за то, что они поверили рассказам той девочки. Я бы сама на их месте поверила. Кто угодно поверит, когда красивая, словно куколка, девочка, способная тебя заговорить, заколдовать, лопочет, вся в слезах: «Нет, не хочу ничего рассказывать, мне стыдно», – а потом признается. К тому же, разве не правда, что мне, к сожалению, приходилось лежать в психиатрической больнице? Разве я не ударила ее изо всех сил? Раз так, кто поверит моим словам? Только муж...

Несколько дней я мучилась, а потом решила и рассказала ему об этой истории. Он мне действительно поверил. Естественно, я ни о чем не умолчала. Как та пыталась меня соблазнить, как я ее ударила. Лишь о своих чувствах говорить не стала – о них-то распространяться как раз не стоило. «Я этого так не оставлю. Сейчас пойду к ним домой и во всем разберусь, – заявил разъяренный муж. – Ты замужем, у тебя ребенок. С какой стати должны тебя называть лесбиянкой? Что за вздор?»

Но я его остановила. «Не ходи. Оставь их. От этого нам самим только станет хуже». Серьезно. Я понимала: у той девочки больная душа. Я сполна насмотрелась на таких в больнице и все понимала. Та девочка – гнилая до мозга костей. Снять с нее слой красивой кожи – и под ним окажется сплошная падаль. Может, сказано слишком, но это правда. Никому не понятная правда. Как ни крути, у нас нет шансов на победу. У той

девочки – долгий опыт такой манипуляции чувствами взрослых, а в наших руках – ни одного доказательства. Кто поверит, что тринадцатилетняя девочка будет склонять к лесбийским играм женщину тридцати одного года? Что бы мы ни говорили, люди верят только в то, во что хотят. И чем больше мы будем метаться, тем хуже будет наше положение.

«Давай переедем, – предложила я. – Другого не остается. Не уедем – все обострится, и у меня опять съедет крыша. У меня и сейчас уже голова идет кругом. Переберемся куда-нибудь далеко, где нас никто не знает». Но муж не хотел уезжать. Еще не осознавал всю серьезность ситуации. Как раз в ту пору у него была интересная работа, мы едва-едва заимели собственный дом, хоть и проектной постройки. Дочь привыкла к садику. «Постой, подожди. Мы не можем так внезапно сняться и уехать, – сказал он. – Где я сразу найду работу? Нужно продать дом, найти для дочери детсад. Самое малое – понадобится месяца два».

«Нет, так не годится. Еще раз такую травму я уже не перенесу, – говорю я ему. – Я тебя не пугаю. Это – правда. Я чувствую». У меня уже начиналась бессонница, звенело в ушах, пошли слуховые галлюцинации. «Ну тогда поезжай куда-нибудь первой, пока я разберусь здесь со всеми делами».

«Нет, – говорю, – Одна я тоже никуда не поеду. Если мы сейчас с тобой разбежимся, мне конец. Ты мне нужен сейчас. Не оставляй меня одну».

Он обнял меня. И сказал: «Потерпи хоть самую малость. Всего один месяц. Я за это время все улажу: доделаю начатый проект, продам дом, устрою ребенка в сад, найду себе новую работу. Если повезет, есть одна подходящая должность в Австралии. Поэтому подожди лишь один месяц. И все образуется». Что я могла на это сказать? Ровным счетом ничего. Каждое новое слово будет лишь подталкивать меня к одиночеству.

Рэйко вздохнула и посмотрела на лампочку под потолком.

– Но я не вынесла этот месяц. И однажды мне снова снесло крышу. Щелк!.. На этот раз пришлось нелегко. Я выпила снотворное и открыла газ. Но не умерла – очнулась на больничной койке. Это – конец. Спустя несколько месяцев, когда мало-помалу успокоилась и начала соображать головой, предложила мужу развестись. Мол, так будет лучше и для тебя, и для дочери. Он: «И не подумаю. Мы сможем начать все сначала. Уедем втроем на новое место и начнем новую жизнь».

«Поезд ушел, – говорю я ему. – Все было кончено, еще когда ты попросил подождать месяц. Если ты действительно хотел начать все сначала, то не должен был тогда так говорить. Куда бы мы ни поехали, это случится опять. Ты опять будешь страдать из-за меня, а я этого не хочу».

И мы развелись. Точнее говоря, я настояла. Два года назад он повторно женился, но я по-прежнему считаю, что поступила правильно. Так оно к лучшему, правда. Уже тогда я понимала, что останусь такой до конца своих дней, и больше никого не хотела вовлекать в свои проблемы. Навязывать жизнь, полную страха, когда же у меня опять сорвет крышу.

Я за многое ему благодарна. Он искренний верный человек, сильный и выносливый – мой идеальный мужчина. Из всех сил пытался меня исцелить, и я старалась выздороветь. Ради него и ребенка. Я и сама считала себя исцеленной. Шесть лет замужества, счастливая жизнь. Он делал все на 99 процентов. Но один процент, всего лишь один процент – и все смешалось. Затем – щелк! И все, что мы возвели, в одночасье рухнуло, превратившись в ничто. Все из-за той девочки.

Рэйко подобрала растоптанные окурки и сложила их в жестяную банку.

– Жуткая история. Сколько нам пришлось всего вытерпеть, чтобы наладить свою жизнь. А рухнуло все в один миг. Р-раз – и нет ничего. – Рейко поднялась и сунула руки в карманы: – Пойдем домой. Уже поздно.

Небо затянули совсем темные тучи. Луна совершенно скрылась. Теперь и я уже ощущал запах дождя, с которым смешивался аромат молодого винограда из пакета у меня в руках.

– Вот почему я не могу выбраться отсюда, – сказала Рэйко. – Меня пугает контакт с внешним миром. Страшно встречаться с разными людьми, думать о разных вещах.

– Я понимаю, – сказал я. – Хотя кто-кто а Рэйко в этом мире жить сможет.

Она улыбнулась невесело, но ничего не сказала.

Наоко сидела на диване и читала книгу. Закинув ногу на ногу, подпирая пальцами виски, читала, но выглядело так, будто она, как бы проверяя, дотрагивается пальцами до слов, роящихся у нее в голове. За окном падали первые капли дождя, а вокруг Наоко мелкой пылью мерцал свет лампы. Взглянув на нее после долгого разговора с Рэйко, я вновь убедился, как она все-таки молода.

– Извини, что мы задержались. – Рэйко погладила Наоко по голове.

– Хорошо провели время? – спросила та, подняв голову.

– Конечно, – ответила Рэйко.

– И чем вы там занимались на пару? – спросила Наоко у меня.

– Тем, о чем вслух не говорят.

Наоко фыркнула и отложила книгу. Прислушиваясь к шуму дождя, мы

принялись за виноград.

– Когда вот так льет, кажется, что в мире нет никого, кроме нас, – сказала Наоко. – Лей дождь целую вечность – мы так и останемся втроем.

– И пока вы там будете обниматься, я, как покорный раб, буду играть вам на гитаре и размахивать узорчатым опахалом? Я против, – сказала Рэйко.

– Ладно, иногда я буду давать его в пользование, – рассмеялась Наоко.

– Тогда другое дело... Лей, дождик, лей!

И дождь продолжался. Иногда гремел гром. Доев виноград, Рэйко закурила, достала из-под кровати гитару и заиграла. «Desafinado» и «Girl from Ipanema», затем мелодии Бакараха и Леннона-Маккартни. Мы с Рэйко опять пили вино, а когда оно закончилось, разлили коньяк из моей фляги. Нам было тепло, и мы разговаривали. Я тоже подумал: хорошо бы дождь лил бесконечно.

– Как-нибудь еще приедешь? – спросила Наоко, глядя мне в глаза.

– Конечно, – ответил я.

– А писать будешь?

– Каждую неделю.

– И про меня не забывай, – сказала Рэйко.

– Хорошо. Напишу. С удовольствием, – сказал я.

В одиннадцать Рэйко, как и вчера, постелила мне на диване. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и выключили свет. Но мне не спалось, и я достал из рюкзака фонарик и «Волшебную гору». Около двенадцати дверь спальни тихонько открылась, вышла Наоко и нырнула ко мне. Сейчас она была обычной Наоко – совсем иной, нежели прошлой ночью. Глаза ясные, движения точные. Она прижалась губами к моему уху и прошептала:

– Не спится почему-то.

– Мне тоже. – Я отложил книгу, потушил фонарь, обнял и поцеловал Наоко. Темнота и шум дождя мягко окутывали нас.

– А Рэйко?

– Не бойся. Спит крепко. Стоит ей заснуть, уже не просыпается... Ты правда еще приедешь?

– Приеду.

– Даже если я ничего не смогу для тебя сделать?

Я кивнул в темноте. Своей грудью я отчетливо чувствовал ее грудь, а ладонью водил по ее телу поверх халата. От плеча к спине, затем к пояснице. Я гладил ее, как бы впечатывая в память очертания и мягкость ее тела. Немного погодя Наоко поцеловала меня в лоб и проворно встала с

дивана. Ее голубой халат скользил в ночной темноте, словно рыба.

– До свидания, – прошептала Наоко.

Вслушиваясь в шум дождя, я тихо уснул.

Настало утро, а дождь продолжался. Не как ночью, а мелкая, почти не видимая глазу осенняя морось. Что дождь еще идет, было понятно по кругам на лужах и легкому стуку капелек по карнизу. Когда я проснулся, за окном лежал молочный туман, но с восходом солнца он развеялся, и постепенно проступили роца и линия гор.

Как и прошлым утром, мы втроем позавтракали и пошли в птичник. Наоко и Рэйко надели желтые полиэтиленовые дождевики с капюшонами. Я накинул поверх свитера водонепроницаемую ветровку. Воздух был влажный и зябкий. Укрываясь от дождя, птицы застыли в глубине сарая, тихо сбившись в кучку.

– Холодно. Когда идет дождь, – сказал я Рэйко.

– И с каждым днем все холоднее, а вскоре и снег пойдет, – ответила Рэйко. – Тучи с Японского моря его здесь стряхивают и уносятся дальше.

– А как зимуют птицы?

– Естественно, мы переселяем их в тепло. Ведь не получится откопать весной их заледеневшие тушки из-под снега, разморозить и сказать: «Так, все, кушать подано!»

Я постучал пальцем по сетке, попугай замахал крыльями и закричал:

– Жопа. Спасибо. Чокнутая.

– Вот этого не мешало бы заморозить, – меланхолично заметила Наоко. – Послушаешь его каждый день, и впрямь тронешься рассудком.

После уборки мы вернулись в комнату. Я собрал вещи, женщины приготовились идти на поле. Мы вместе вышли из здания и расстались у теннисного корта. Женщины повернули направо, а я пошел прямо.

– До свиданья, – сказали они.

– До свиданья, – ответил я. – Приеду опять, – сказал я. Наоко улыбнулась, повернула за угол и скрылась из виду.

По пути к воротам навстречу мне прошло несколько человек, и на всех были такие же, как у Наоко, желтые плащи, на головы нахлобучены капюшоны. Под дождем цвета казались нереально яркими. Чернела земля, ярко зеленели ветви сосен, закутанные в желтые дождевики люди выглядели особыми призраками, которым позволили сновать по земле только дождливым утром. Они бесшумно передвигались с корзинами, какими-то мешками и полевыми инструментами.

Привратник помнил мое имя, и когда я выходил, нашел меня в списке посетителей и поставил галочку.

– Из Токио приехали, да? – спросил он, взглянув на мой адрес. – Мне тоже раз случилось туда съездить. Свинина там вкусная, да?

– Неужели? – не понимая, к чему это, наобум ответил я.

– Из того, что я ел в Токио, мне ничего не понравилось, кроме свинины. Ее там что, как-то особо выращивают?

Я ответил, что ничего об этом не знаю, и вообще впервые слышу.

– Когда это было? В каком году вы ездили в Токио?

– И в самом деле, когда? – наклонил голову старик. – В пору женитьбы наследного принца^[33]. Сын жил в Токио и звал хотя бы раз приехать. Вот когда.

– Пожалуй, в ту пору свинина в Токио действительно была вкусной, – сказал я.

– А теперича?

– Не знаю, но ни от кого такого не слышал, – ответил я. Привратник слегка огорчился. Старик не прочь был поболтать еще, но я сослался на автобус и пошел к дороге. На тропе вдоль реки местами оставались островки тумана, но их подхватывал ветерок и уносил вверх по склону. По пути я несколько раз останавливался, оборачивался и бессмысленно вздыхал. Как будто прилетел на планету с другой силой притяжения. Я вспомнил, что здесь иной мир, и мне стало уныло.

В полпятого я вернулся в общежитие. Оставил в комнате сумку, переоделся и пошел на работу. С шести и до пол-одиннадцатого продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в коротких юбчонках, парни с хиппейскими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники – некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Заиграла пластинка Тони Беннетта – и все они куда-то исчезли.

Рядом с нашим магазином располагалась лавчонка игрушек для взрослых, где мужчина средних лет с сонным видом продавал странные сексуальные приспособления. Я даже представить себе не мог, кому и для чего они нужны, но заведение, судя по виду, процветало. На другой стороне улицы, наискосок от магазина, прямо на дороге блевал перепивший студент, в игровом салоне по другую руку проигрывал в бинго свою зарплату повар из соседнего ресторанчика. Под навесом закрытого магазина неподвижно сидел на корточках бездомный с почерневшим лицом. К нам зашла какая-то школьница с бледно-розовой помадой на

губах и попросила поставить «Jumping Jack Flash» «Роллинг Стоунз». Я принес пластинку. Она защелкала пальцами и стала танцевать, покачивая бедрами. Спросила, нет ли у меня закурить. Я дал ей сигарету «Ларк» из пачки управляющего. Школьница блаженно ее выкурила, а когда закончилась музыка, вышла, даже не поблагодарив. Каждые пятнадцать минут раздавалась сирена то ли «скорой помощи», то ли полицейского патруля. Три равно пьяных служащих несколько раз обозвали звонившую по телефону красивую длинноволосую девушку «мандой» и принялись ржать.

Я за всем этим наблюдал, и меня охватило смятение. Я вообще перестал понимать, что к чему. «Что же это такое? – думал я. – Что все они хотят этим сказать?»

Вернулся с ужина управляющий и радостно сообщил, что позавчера трахнул продавщицу вон из того бутика. Он давно положил на нее глаз и дарил иногда пластинки.

– Класс, – ответил я, на что он принялся во всех подробностях описывать, как это было.

– Хочешь трахнуть деваху, – самодовольно пояснял он, – во всяком случае, обязательно сделай подарок. Потом как бы там ни было, напои ее, пока, во всяком случае, не опьянеет. Потом останется только трахнуть. Просто?

Я в смятении вернулся в общагу, задернул шторы, погасил свет и лег спать. Казалось, что вот-вот ко мне в постель нырнет Наоко. Я закрыл глаза, услышал ее шепот, руками обвел все ее тело. Во мраке я снова возвращался в тот тесный мир Наоко. Вдыхал аромат луга, слышал шум ночного дождя. Думая о Наоко, которую видел нагой в лунном свете, представлял, как она, укутав свое мягкое и красивое тело в желтый дождевик, чистит птичник, пропалывает овощи. Я взял в руку возбуждвшийся пенис и кончил, думая о ней. Смятение улеглось, но сон все равно не приходил. Я очень устал, хотел спать, но заснуть не мог.

И тогда я встал у окна и принялся рассеянно смотреть на площадку перед флагштоком. Белый шест без флага походил во мраке ночи на гигантскую кость. «Интересно, что сейчас делает Наоко? – подумал я. – Спит, наверное». Спит, укутанная мраком того маленького странного мира. Я мысленно пожелал, чтобы ее не мучили горькие сны.

Глава 7

На следующий день в четверг у меня была утренняя пара по физкультуре, и я несколько раз проплыл пятидесятиметровый бассейн. От нагрузки у меня немного поднялось настроение, появился аппетит. Я съел в ресторанчике объемный комплексный обед и направился было в библиотеку филфака кое-что проверить, но по пути случайно встретил Мидори Кобаяси. Она шла со щупленькой девчонкой в очках, но, увидев меня, свернула навстречу.

- Ты куда? – спросила она.
- В библиотеку.
- Может, сходишь в другой раз? А мы зато вместе пообедаем?
- Я только что поел.
- Ну и что? Еще раз поешь.

В конце концов, мы с Мидори зашли в соседнее кафе, она съела порцию риса с карри, а я выпил кофе. На ней поверх белой футболки с длинным рукавом была желтая шерстяная жилетка с вышитыми рыбками, тонкая золотая цепочка и часы с Микки-Маусом на циферблате. Она очень аппетитно все съела, выпила три стакана воды.

– Где ты пропадал все это время? Я столько раз звонила, – сказала Мидори.

- Что-то хотела?
- Нет, просто звонила.
- А-а, – сказал я.
- Что значит «а-а»?
- Ничего. Просто вырвалось. Как у тебя – больше ничего не сгорело?

– Да, повеселились тогда. Почти ничего не пострадало, а дыма на несколько пожаров. Ничего так себе, – сказала Мидори и опять несколько раз жадно отхлебнула воды. А когда отдышалась, серьезно уставилась на меня. – Послушай, Ватанабэ, что с тобой? Что у тебя с лицом? Даже зрачки какие-то чужие...

- Вернулся из похода, немного устал. Так, ничего особенного.
- У тебя такой взгляд, будто ты видел призраков.
- А-а, – снова сказал я.
- У тебя есть после обеда занятия?
- Немецкий и религиоведение.
- Может, прогуляешь?

- Немецкий не получится – сегодня контрольная.
- Во сколько закончится?
- В два.
- Тогда давай потом съездим в город, где-нибудь выпьем?
- С двух часов? – спросил я.
- Иногда можно. Ты весь какой-то заторможенный. Выпьем, придешь в себя. Я тоже хочу с тобой выпить, чтобы взбодриться. Ну, идет?
- Идет, – вздохнул я. – Жду тебя в два во дворе филфака.

После пары немецкого мы сели в автобус и поехали на Синдзюку. Зашли в «DUG» на подземном этаже за книжным магазином «Кинокуния» и выпили по две водки с тоником.

– Иногда захожу сюда. Хотя и рано, но здесь не бывает никаких угрызений совести.

– Часто пьешь с обеда?

– Иногда, – болтая оставшийся в стакане лед, ответила Мидори. – Если в окружающем мире становится невыносимо, прихожу сюда выпить водки с тоником.

– И что, этот самый окружающий мир так невыносим?

– Иногда, – повторила Мидори. – У меня куча проблем.

– Например?

– Дом, парень, сбой в месячных... в общем, разные.

– Еще по стаканчику?

– Конечно.

Я поднял руку, подозвал официанта и заказал еще две порции.

– Помнишь, в то воскресенье я тебя поцеловала? – спросила Мидори. – Я подумала... как было хорошо... очень.

– Ну и хорошо.

– «Ну и хорошо», – повторила Мидори. – Нет, все-таки, у тебя странная манера речи.

– Разве?

– Это к слову. Я думала. Про тот день. Неплохо, если бы то был мой первый в жизни поцелуй с парнем. Если б я могла сама составлять свою жизнь из фрагментов, сделала бы этот поцелуй первым. Непременно. И жила бы потом, размышляя вот так: «Что сейчас делает Ватанабэ, с которым я впервые в жизни поцеловалась на чердаке?» Даже сейчас, когда мне уже шестьдесят четыре. Разве не прекрасно?

– Прекрасно, – ответил я, вынимая из скорлупы фисташки.

– Слушай, почему ты такой рассеянный? Уже второй раз спрашиваю.

– Видимо, еще не вписался в этот мир, – немного подумав, ответил я. – Иногда мне кажется, что здесь – ненастоящий мир. И люди, и окружающий пейзаж – ненастоящие.

Мидори оперлась одной рукой о стойку бара и посмотрела мне в лицо.

– По-моему, у Джима Мориссона были такие слова. «People are strange when you are a stranger»^[34].

– «Пи-ис», – сказала Мидори.

– «Пи-ис».

– Поехали со мной в Уругвай? – продолжала Мидори. – Бросим все – любимых, семью, институт...

– Неплохая мысль, – рассмеялся я.

– Тебе не кажется прекрасным все бросить и уехать туда, где никто тебя не знает? Иногда ведь так и хочется сделать. Нестерпимо хочется. Поэтому если ты меня увезешь куда-нибудь далеко, нарожаю тебе крепких, как бычки, малышей. И все будем жить счастливо. Кататься по полу.

Я рассмеялся и допил третью водку с тоником.

– Или ты не хочешь крепких, как бычки, малышей и кататься по полу?

– Интерес испытываю великий. И хочу посмотреть, какие они, – ответил я.

– Ну и ладно, раз не хочешь, – жуя фисташки, сказала Мидори. – Мнечто что? Выпиваю в такую рань, несу всякую чушь. Придет же в голову – все бросить и куда-нибудь уехать... Ну, и что там будет, в этом Уругвае, кроме ослиного дерьма?

– Пожалуй, ты права.

– Вокруг сплошное ослиное дерьмо. Останешься здесь, поедешь туда... Мир – сплошь ослиное дерьмо. На, дарю эту каменную, – протянула мне Мидори фисташку с такой твердой скорлупой, что я с трудом справился. – Но в прошлое воскресенье мне полегчало. На пожар посмотрели, выпили, песен погорланили. Давно я так не расслаблялась. Еще бы – все от меня чего-то требуют. Стоит с кем-нибудь увидеться, и начинается: одному – то, другому – это. По крайней мере, тебе от меня ничего не нужно.

– Я не настолько хорошо тебя знаю, чтоб вымогать.

– То есть, узнаешь лучше – тоже начнешь? Как и все остальные?

– Не исключено, – сказал я. – В реальном мире многие живут вымогательством.

– Но ты этого делать не станешь. Мне так почему-то кажется. В вымогательстве я – большой специалист. Ты не из той породы, поэтому мне с тобой спокойно. Знаешь, в мире немало людей, которые любят, чтобы у

них вымогали, и вымогают сами. А когда начинается суета, поднимают шум. Им это нравится. А мне – нет. Маются, понимаешь, от безделья.

– Слышь, а ты, например, что-нибудь вымогаешь? Ну, или там... может, что у тебя?

Мидори сунула в рот льдышку и пососала ее.

– Хочешь меня поближе узнать?

– Есть интерес. Небольшой.

– Послушай, я задала вопрос: «Хочешь меня поближе узнать?» Тебе не кажется, что ответ не в тему?

– Хочу поближе узнать. Тебя, – сказал я.

– Серьезно?

– Серьезно.

– Даже если потом захочется отвести глаза?

– Что, такая страшная?

– В каком-то смысле, – сказала Мидори и нахмурилась. – Хочу еще выпить.

Я подозвал официанта и заказал по четвертой порции. Пока не принесли выпивку, Мидори сидела, облокотившись на стойку бара. Я молча слушал «Honeysuckle Rose» Телониуса Монка. В баре было еще пять-шесть посетителей, но выпивали только мы. От аромата кофе в полумраке бара было интимно.

– Ты свободен в следующее воскресенье?

– Я тебе уже говорил, что по воскресеньям всегда свободен. До шести часов, когда мне на работу.

– Тогда поедешь со мной?

– Хорошо.

– Я заеду за тобой в общежитие. Время точно сказать не могу. Ничего?

– Без проблем, – ответил я.

– Знаешь, Ватанабэ, что мне сейчас хочется сделать?

– Даже представить себе не могу.

– Завалиться в мягкую постель, это во-первых, – сказала Мидори. – Мне хорошо, я пьяная, вокруг нет ослиного дерьма, а рядом лежишь ты. И медленно меня раздеваешь. Очень нежно. Как мать раздевает своего ребенка. Аккуратно.

– А-а, – сказал я.

– Мне какое-то время так хорошо, что я лежу и кайфую. Но вдруг прихожу в себя и кричу: «Перестань, Ватанабэ! Ты мне нравишься, но у меня сейчас другой парень, и я так не могу. Я в этом смысле строгая. Поэтому отстань. Прошу тебя». Но ты не отстаешь.

– Я отстану.

– Знаю. Но это же вымышленная сцена. Поэтому пусть будет так, – продолжала Мидори. – И ты показываешь мне. Его. Который встал. Я закрываю глаза, но вскользь замечаю все равно. И говорю: «Нет. Я серьезно – нет. Такой большой и толстый не войдет».

– Не такой у меня и большой. Обычный.

– Ладно. Какая разница? Это же фантазия. Вдруг твое лицо становится печальным, и ты говоришь: «Мне жаль тебя. Давай пожалею. Ну, не плачь, не плачь. Бедный ребенок».

– То есть, этого тебе сейчас хочется больше всего?

– Да.

– Ну-ну.

Выпив по пять стаканов водки с тоником, мы собрались уходить. Я хотел было заплатить, но Мидори шлепнула меня по руке, вынула из портмоне десятитысячную купюру без единой морщинки и заплатила по счету.

– Ладно тебе. Я как раз получила за одну работу. К тому же, приглашала я, – сказала она. – Конечно, если ты состоятельный фашист и не терпишь, когда женщина угощает, тогда другое дело.

– Я так не думаю.

– К тому же, я тебе не дала.

– Потому что большой и толстый?

– Да, – сказала Мидори. – Потому что большой и толстый.

Мидори захмелела, оступилась, и мы чуть не покатались кубарем с лестницы. Когда мы вышли на улицу, голубое небо застилало тонкие облака, город нежно окрашивали лучи заходящего солнца. Мы немного побродили по городу, и между делом Мидори сказала, что хочет полазать по деревьям. На Синдзюку подходящих не нашлось, а парк Синдзюку-Гёэн уже был закрыт.

– Жаль, – сказала она. – Я так люблю лазать по деревьям.

Мы шли и по дороге покупали то, что приглянется нам на витринах. Город перестал выглядеть неестественным, как раньше.

– Благодаря тебе я, кажется, постепенно привык к этому миру.

Мидори остановилась и посмотрела мне в глаза.

– Точно. Зрачки прояснились. Видишь – поведешься со мной, и сколько хорошего сразу.

– Верно.

В полшестого Мидори сказала, что ей нужно готовить ужин, и засобиравшись домой. Я ответил, что тогда поеду на автобусе в общагу.

Проводил ее до вокзала Синдзюку, и мы расстались.

- Знаешь, чего я сейчас хочу? – спросила перед расставанием Мидори.
- Даже не представляю, о чем ты можешь подумать.
- Хочу, чтобы нас с тобой поймали пираты, раздели догола, прижали лицом друг к другу и связали веревкой.
- Почему именно так?
- Это – странные пираты.
- Думаю, не более чем ты, – заметил я.
- И, сказав, что через час скинут в море, они бросили нас прямо в таком виде в трюм: мол, наслаждайтесь вдоволь.
- И что?
- Ну мы и наслаждались вдоволь целый час: катались, прижимались друг к другу...
- И этого тебе хочется больше всего?
- Да.
- Ну-ну...

В воскресенье Мидори приехала за мной в полдесятого. Я только проснулся и даже еще не умывался. Кто-то постучал в дверь и крикнул:

- Эй, Ватанабэ, к тебе какая-то девчонка.
- Я спустился в вестибюль и увидел, как одетая в невероятно короткую джинсовую юбку Мидори сидит, закинув ногу на ногу, на стуле в коридоре и зевает. Проходившие на завтрак общажные жители бросали косые взгляды на ее ноги. И в самом деле ноги красивые.
- Я, наверное, рано? – спросила Мидори. – Ты еще спал?
 - Подожди минут пятнадцать. Я сейчас быстро умоюсь и побреюсь.
 - Подождать-то я подожду. Только все таращатся на мои ноги.
 - Еще бы. Прийти в мужское общежитие в короткой юбке. Ясно дело, все будут таращиться.
 - Ну и ладно. На мне сегодня жутко хорошенькие трусики. Розовые с красивыми кружевами. Воздушными.
 - Этого еще не хватало, – вздохнул я. Вернувшись в комнату, я как можно скорее умылся и побрился. Надел поверх синей рубашки на кнопках серый твидовый пиджак, спустился и увел Мидори от общаги подальше. Меня прошиб холодный пот.
 - Скажи, все, кто здесь живут, дрожат? – спросила Мидори, бросая взгляд на общежитие.
 - Наверное.
 - А о чем они думают в это время? О девчонках?

– Пожалуй, да, – ответил я. – Вряд ли кто-нибудь станет дрочить, думая о котировке акций, спряжении глаголов или Суэцком канале. Скорее всего, думают о девчонках.

– О Суэцком канале?

– Например.

– Значит, думают о конкретных девчонках?

– Думаю, тебе лучше об этом спросить у своего парня, – сказал я. – С какой это стати я должен в воскресенье с утра объяснять тебе такие вещи?

– Просто хочу знать, – ответила она. – К тому же, он жутко разозлится, если я спрошу у него такое. Потому что девушкам такими вещами интересоваться неприлично.

– Трезвый подход.

– Но я все равно хочу знать. Из чистого любопытства. Ну, скажи: думают о конкретных девчонках, когда дрочат?

– Думают. Как минимум, я – думаю. Про других ничего сказать не могу. – Я капитулировал.

– А про меня ты во время этого думал? Только честно? Я не обижусь.

– Нет. Если честно.

– Почему? Я непривлекательная?

– Да нет. Ты привлекательная, хорошенькая, и тебе идет такой зажигательный характер.

– Тогда почему ты не думаешь обо мне?

– Во-первых, я считаю тебя своим другом, и не хочу вовлекать в эти дела. В эти сексуальные фантазии. Во-вторых...

– У тебя есть человек, о котором ты думаешь?

– Да.

– Ты даже в этом смысле порядочный, – сказала Мидори. – Мне в тебе это очень нравится. Но... ты можешь хотя бы разок вывести меня на сцену? Этих своих сексуальных фантазий? Или сумасбродных химер? Я хочу там появиться хоть мимолетом. Прошу тебя, как друга. Я ведь не могу попросить об этом кого-нибудь другого. Так и сказать: «Сегодня, когда будешь дрочить, подумай обо мне, пожалуйста!» Тебя могу именно потому, что мы – друзья. А потом расскажешь, как все прошло. Как там было.

Я вздохнул.

– Но не вздумай вставлять. Мы ведь друзья. Только не вставляй, а в остальном... делай, что хочешь. И думай, что хочешь...

– Не знаю. Мне никогда не приходилось действовать с такими ограничениями.

– Ну что – подумаешь?

– Посмотрю.

– Только это... Ватанабэ, не считай меня развратницей, сексуально неудовлетворенной или провокаторшей. Просто мне это жутко интересно и жутко хочется знать. Ты же помнишь, я росла среди одних девчонок в женской школе. И хочу знать, о чем думают парни, как устроено их тело. Причем, не по женским журналам, а на конкретных примерах.

– «На конкретных примерах»... – в отчаянии буркнул я.

– Но стоит мне что-нибудь спросить или сделать, как у моего парня портится настроение и он злится. Говорит, что я – развратница, больная на всю голову. Никак не соглашается на оральный секс. А мне так хочется попробовать.

– Хм...

– Ты как – не против орального секса?

– Не против, в общем-то.

– Скорее нравится?

– Скорее нравится, – ответил я. – Но давай поговорим об этом в другой раз. Не хочется этим прекрасным утром убивать время разговорами о мастурбации и оральном сексе. Давай поговорим о другом. Твой парень учится в нашем институте?

– Нет. Конечно, в другом. Мы познакомились в одном кружке еще в старших классах. Я училась в женской школе. Он – в мужской. Такое часто бывает: совместные концерты, ну, сам знаешь. А сблизилась уже после школы. Эй, Ватанабэ!

– Что?

– Ну, правда, хотя бы разок... подумай обо мне?

– Попробую. В следующий раз, – смиренно ответил я.

Мы сели в электричку и поехали до Очяно-мидзу. Я еще не завтракал, поэтому купил и съел тонюсенький сэндвич в вокзальной кафетерии. Выпил кофе, похожий по вкусу на вареную типографскую краску. Воскресное утро, поэтому электричка оказалась битком набита семьями и парочками. Все куда-то ехали. По вагону сновали с бейсбольными битами мальчишки в одинаковой форме. Некоторые девушки были в мини-юбках, но не таких коротких, как у Мидори. Она свою то и дело одергивала. Несколько мужчин поглядывали на ее бедра и, видимо, не могли оторваться. Мидори, как мне показалось, не обращала на это внимания.

– Знаешь, что мне сейчас хочется больше всего? – тихо спросила Мидори в районе станции Ичигая.

– Представить себе не могу, – ответил я. – Об одном прошу – только не

в электричке, а? Услышат.

– Жалко. А я такое подумала... На этот раз, – грустно сказала она.

– Кстати, зачем мы едем на Оцяно-мидзу?

– Иди за мной, сам увидишь.

Окрестности Оцяно-мидзу кишели школьниками средних и старших классов. То ли у них были пробные экзамены^[35], то ли подготовительные курсы. Мидори левой рукой прижимала к себе сумочку, а правой держала за руку меня. И проворно ныряла сквозь толпы школьников.

– Скажи, Ватанабэ, ты можешь четко объяснить мне разницу между сослагательным наклонением настоящего и прошедшего времени в английском? – ни с того, ни с сего спросила она.

– Думаю, что да.

– Тогда скажи: это как-нибудь может пригодиться в повседневной жизни?

– В повседневной жизни – в общем-то, нет, – ответил я. – Но, думаю, если рассуждать о конкретной пользе, это неплохая тренировка для систематического восприятия разных вещей.

Некоторое время Мидори с серьезным видом обдумывала мои слова.

– А ты крут... – сказала она. – Я до сих пор даже представить себе такое не могла. Лишь рассуждала, зачем нужны эти сослагательные наклонения, дифференциалы, таблица Менделеева. И старалась не замечать все эти заумности. Или же я ошибалась по жизни?

– Как это не замечала?

– Их для меня просто не существовало. Я, например, синуса от косинуса не отличу.

– И ничего, закончила школу, поступила в институт, – с деланным удивлением сказал я.

– Дурак ты, – сказала Мидори. – Ты что, не знаешь? Было б чутье, а экзамены можно сдать и так. Ни шиша не зная.

– У меня чутье не такое острое, как у тебя, поэтому приходится мыслить систематически. Как ворона тащит стеклышки в гнездо.

– Ну и к чему тебе это?

– Кое-что начинает получаться лучше.

– Что, например?

– Например, метафизическое мышление, изучение нескольких иностранных языков...

– И где это может пригодиться?

– Зависит от человека. Некоторым идет на пользу, другим – нет. Но это все – тренировка, пригодится или нет – другой вопрос. Как я говорил в

начале...

Мидори заинтересованно хмыкнула и потянула меня за руку вниз по склону:

– А ты умеешь объяснять.

– Серьезно?

– Еще бы. Знаешь, скольким я задавала вопрос про это самое сослагательное наклонение? Думаешь, кто-нибудь дал вразумительный ответ, как ты? Даже учителя английского не смогли. Стоит спросить, все начинают либо сбиваться, либо сердиться и делать из меня идиотку. И никто не может объяснить толком. Был бы кто-нибудь вроде тебя, объяснил мне все это, глядишь – и заинтересовалась бы сослагательным наклонением.

– Хм...

– Ты когда-нибудь читал «Капитал»?

– Читал. Правда, не полностью. Как и многие.

– И... понял?

– Местами – понял, местами – нет. Чтобы адекватно читать «Капитал» нужно обладать соответствующей системой мышления. Конечно, «Марксизм в картинках» не понять сложно.

– Как ты считаешь, может никогда не читавший таких книг первокурсник прочесть «Капитал» и все сразу усвоить?

– Вряд ли, – ответил я.

– Я, поступив в институт, записалась в фольклорный кружок. Хотелось песен попеть. Ну и что ты думаешь? Сборище жутких прохиндеев. Как вспомню, так вздрогну. Не успела записаться, потребовали прочесть Маркса. Конкретно – читай от сих и до сих. Объясняли, что фольклор необходимо связывать с социал-радикализмом. Что поделаешь, пришлось себя не помня читать Маркса. Вернувшись домой, засела. Что к чему? Белиберда какая-то. Сослагательное наклонение и то проще. На третьей странице бросила. А на следующем собрании говорю: «Читала, но ничего не поняла». С тех пор меня держат за дуру. Говорят, нет понимания проблемы, социально-отсталая. Какая чушь! А я всего-то сказала, что текст не поняла. Как тебе это?

– Угу.

– А как они дискутировали... С умными лицами, трехэтажными фразами. Мне стало непонятно, спрашиваю: «Что значит “империалистическая эксплуатация”? Существует ли какая-нибудь связь с Ост-Индской компанией?» Или: «Означает ли крах промышленных кооперативов, что после институтов нельзя устраиваться на работу в

фирмы?» Но никто мне ничего не объяснил. Куда там – все разозлились. Поверишь?

– Верю.

– Как ты живешь, не зная таких вещей? О чем думаешь по жизни? И все – клеймо. Глупая. Простонародье. Но мир и держится на простонародье, эксплуатируется – тоже простонародье. К чему тогда революция, если бросаться непонятными простонародью словами? В чем заключаются социальные перемены? Я ведь хочу сделать этот мир лучше. Если до сих пор продолжается эксплуатация, с ней нужно непременно покончить. Поэтому и спрашиваю. Ведь так?

– Так.

– Я тогда подумала: все они – пройдохи. Бросаются громкими словами, петушатся, охмуряют первокурсниц, а сами мечтают лишь о том, как забраться им под юбку. А переходят на четвертый курс – коротко стригутся, шустро устраиваются в свои «Мицубиси», «Ти-Би-Эс», «Ай-Би-Эм», «Банк Фудзи», обзаводятся не имеющими понятия о Марксе женами и дают своим детям до жути вычурные имена. Какой там крах промышленных кооперативов? Смешно до слез. Другим первокурсникам еще хуже. Делают понимающий вид и глупо улыбаются. А потом говорят мне: «Дуреха. Понимаешь не понимаешь – сиди, поддакивай». Рассказать историю похлеще?

– Давай.

– Однажды нам пришлось пойти на ночную маевку. Девушкам сказали сделать и принести по двадцать штук «нигири»^[36]. Чего смеяться? Это же чистой воды половая дискриминация. Ладно, думаю, не стоит устраивать бучу по пустякам, молча делаю эти самые нигири. Вкладываю, как положено, моченые сливы, обматываю полоской водорослей. Ну и что, думаешь, мне потом сказали? «У Кобаяси нигири только с одной сливой. Нет бы разные сделать. У других и с красной рыбой, и с тресковой икрой, и даже с омлетом». Я так обалдела, что слова вымолвить не могла. С какой это стати мыслители революции устраивают скандал из-за несчастных рисовых колобков? Куда уж лучше: со сливой и в водорослях? Лучше б о детях Индии подумали.

Я засмеялся.

– Ну и что стало с кружком?

– В июне бросила. Достали, – сказала Мидори. – Но в этом институте почти все – жулики. Трясутся, чтобы никто не понял, что они ни черта не знают. Все читают одинаковые книги, сыплют одинаковыми словами, восхищаются Колтрейном и Пазолини. И это – революция?

- Да, действительно. Ничего не могу сказать. Революции не видел.
- Если это революция, то она такая мне даром не нужна. Еще возьмут и расстреляют за сплошную сливу с водорослями. Тебя уж точно кокнут. За объяснение сослагательного наклонения.
- Возможно, – сказал я.
- Именно так. Я знаю. Потому что я – простонародье. Свершится революция или нет, простонародью остается лишь выживать бог весть в каком месте. Что же тогда революция? Смена вывесок у институтов власти? Но им этого не понять. Тем, кто бросается громкими словами. Ты видел когда-нибудь фининспектора?
- Нет.
- Я – много раз. Заходит, как к себе домой, и начинает важничать. «Что это... за счета? Чем вы здесь... занимаетесь? Это что – издержки? Тогда показывай чеки! И это – чеки?» Мы забиваемся в угол, на обед заказываем на дом лучшие суси. Только отец ни разу не утаил доходы. Правда. Он – такой. Старого склада. А фининспектор знай придирается. Мол, чеков мало. Чего смеяться? Мало чеков – значит, нет прибыли. Слушаю все это, а самой так обидно. И хочется на него заорать: «Иди к богатеям и попробуй там это сказать!» Слушай, как ты думаешь, фининспекторы изменятся после революции?
- Очень сомневаюсь.
- Тогда я не верю в революцию. Я верю только в любовь.
- «Пи-ис», – сказал я.
- «Пи-ис», – сказала и Мидори.
- Куда мы идем, кстати? – поинтересовался я.
- В больницу. Отец там лежит, и сегодня мне нужно весь день за ним присматривать. Моя очередь.
- Отец? – удивленно воскликнул я. – Разве он не в Уругвай уехал?
- Браки все это, – как ни в чем не бывало сказала Мидори. – Только собирается. Уже очень давно. Да только куда ему ехать? Он из Токио-то ни разу не выезжал.
- А что с ним?
- Говоря откровенно, вопрос времени.
- Я продолжал идти молча.
- То же, что и с матерью. Вот и все. Опухоль мозга. Поверишь? Лишь два года, как от этого мама умерла. Теперь вот у отца – опухоль мозга.

В университетской больнице – отчасти из-за воскресенья – было столпотворение посетителей и ходячих больных. Витал ни с чем не

сравнимый госпитальный дух. Все было пропитано смесью дезинфицирующих средств и букетов посетителей, мочи и матрасов; еле слышно семеня, сновали по коридорам медсестры.

Отец Мидори лежал в двухместной палате ближе к дверям. Будто распластаный подраненный зверек. Он не шевелился. Свешивалась левая рука с капельницей. Исхудавший и щуплый – казалось, он будет худеть и усыхать дальше. Голова обмотана бинтом, посиневшая рука вся истыкана уколами. Он рассеянно смотрел в некую точку пространства, а стоило мне войти, едва перевел на нас глаза, налитые кровью, и спустя секунд десять уже вернул ослабленный взгляд в прежнюю точку.

По этим глазам можно было понять, что человек скоро умрет. В его теле почти не оставалось жизни. Лишь какой-то призрачный след былой силы. Так ждет сноса обветшавший дом, из которого уже вынесли мебель и всякую утварь. Вокруг его потрескавшихся губ, как бурьян, местами торчали клочки щетины. У меня пронеслось: «Борода у него, видать, тоже обессилела».

Мидори поздоровалась с тучным мужчиной средних лет, лежавшим на кровати у окна. Тот не мог разговаривать и только, улыбнувшись, кивнул в ответ. Потом два-три раза кашлянул, попил воды из стакана у изголовья, неуклюже повернулся набок и уставился в окно. Там виднелись только столбы и соединявшие их провода. И больше ничего. Даже завалящей тучки не было.

– Папа, как дела? В порядке? – заговорила Мидори, приблизив губы к самому уху отца. Точно проверяла звук микрофона. – Как ты себя чувствуешь?

Отец еле-еле зашевелил губами.

– Пло...хо... – произнес он, даже не произнося, а как бы выдувая сухим воздухом слова из глубины гортани. – Голо...ва...

– Что, голова болит? – спросила Мидори.

– Да... – ответил отец. Похоже, слова длиннее двух слогов были ему не под силу.

– Что поделаешь, ты же только после операции. Конечно, будет болеть. Нужно потерпеть немного, – сказала Мидори. – А это – Ватанабэ, мой друг.

– Здравствуйте, – сказал я. Отец на это лишь приоткрыл губы и снова сомкнул их.

– Садись туда, – сказала Мидори, показав мне на круглую табуретку в ногах больного. Я так и поступил. Мидори напоила отца из кувшина и спросила, не хочет ли он фруктов или желе.

– Не... хочу... – ответил тот.

– Ну хоть понемногу-то есть нужно?

– Уже... ел...

В изголовье кровати стояла тумбочка, на ней – кувшин, кружка, тарелка и маленькие часы. Мидори достала из большого пакета ночной халат, трусы и еще какую-то мелочь, разобрала их и положила в шкафчик у входа. На дне бумажного пакета оставались фрукты для больного: два грейпфрута, фруктовое желе и три огурца.

– Огурцы? – удивленно воскликнула Мидори. – Что здесь делают огурцы? Чем сестра думала? Ума не приложу. Специально еще позвонила, перечислила, что нужно купить.

– Может, ослышалась и перепутала с киви^[37]?

Мидори щелкнула пальцами.

– Точно, я просила купить киви. Но она что, сама не могла догадаться? Как больной будет есть огурцы? Папа, огурец будешь?

– Нет...

Мидори села в изголовье и принялась подробно рассказывать о последних событиях. Стал плохо показывать телевизор – вызвала мастера, тетушка из Такаидо сказала, что завтра-послезавтра приедет навестить, аптекарь Миявакэ упал с мотоцикла. Отец в ответ только изредка похмыкивал.

– Что, правда ничего не хочешь?

– Нет... – ответил тот.

– Ватанабэ, будешь грейпфрут?

– Нет, – отказался и я.

Чуть позже Мидори предложила сходить в холл к телевизору, уселась там на диван и закурила. Трое больных в пижамах тоже курили и смотрели какие-то политические дебаты.

– Слышь, вон тот дядька на костылях уже давно поглядывает на мои ноги. Ну, вон тот, в синей пижаме и очках.

– Чего б ему не смотреть? Кто пропустит мимо такую юбку?

– Ну и ладно. Им здесь, наверное, скучно? Пусть посмотрят на ноги молоденькой девушки. Иногда можно. Глядишь, возбудятся и быстрее на поправку пойдут.

– Хорошо, если не наоборот, – ответил я.

Мидори разглядывала струйку дыма из длинной трубы за окном.

– Отец – неплохой мужик. Иногда достает меня своими словечками, но в глубине души он – человек откровенный, мать любил всем сердцем и по-своему старался жить как мог. Есть у него слабости в характере, нет таланта торговца, цели в жизни, но, по сравнению с прочей публикой, он

порядочный. Я тоже за словом в карман не лезу. Сцепимся на пару – не остановишь. Так и ссорились постоянно. Но он хороший.

Мидори, словно подбирая что-то с дороги, подхватила мою руку и положила себе на бедро. Часть руки попала на юбку, часть – на голую ногу. Мидори посмотрела мне в глаза.

– Послушай, Ватанабэ, извини, что я тебя сюда притащила. Но побудь со мной еще немного?

– До пяти я свободен и в твоём полном распоряжении, – ответил я. – Мне с тобой приятно. К тому же, делать больше нечего.

– А что ты вообще по воскресеньям делаешь?

– Стираю, – ответил я. – Затем глажу белье.

– А о той девушке мне рассказать не хочешь? О своей подруге.

– Нет, не хочу. Там все непросто. Боюсь, не смогу тебе объяснить.

– Да ладно. Не объясняй, – сказала Мидори. – А хочешь, я расскажу, как ее представляю?

– Давай. Твои фантазии это... интересные. С удовольствием послушаю.

– Думаю, что она – замужняя женщина.

– Хм.

– Тридцать два или три года. Красивая жена толстосума. В меховой шубе, обуви от «Шарля Журдана» и шелковом белье. В добавок ко всему, сексуально ненасытная. И как она только ни извращается... И утоляет свою страсть с тобой в рабочие дни после обеда. Однако по воскресеньям муж дома, и она встречаться не может.

– Интересная версия.

– Наверняка связывает тебя, надевает на глаза повязку и ласкает языком все уголки тела. Потом это... вставляет в себя странные предметы, изгибается, как акробат, а ты снимаешь на «полароид».

– Весело.

– Настолько изголодалась, что делает все, что может. Каждый день об этом только и думает. Еще бы – времени навалом. В следующий раз сделаем с Ватанабэ вот так и вот эдак. А когда вы забираетесь в постель, кончает от удовольствия аж по три раза. И спрашивает тебя: «Как ты думаешь, у меня классное тело? Молоденькие тебя так не удовлетворят, правда? Или ты считаешь, что они это умеют? Вот так? Чувствуешь? Нет, не так. Пока не вынимай...»

– Кажется, ты порнухи насмотрелась, – засмеялся я.

– Кажется, – ответила Мидори. – Что поделаешь – нравится. Давай как-нибудь сходим вместе?

- Давай. Когда у тебя будет время.
- Что, правда? Классно. Скорей бы. Может, тогда сразу на мазохистский? Когда девчонок бьют плетью, а потом заставляют перед всеми мочиться прямо на лицо. Это в моем вкусе.
- Идет.
- А знаешь, что мне больше всего нравится в порно-кинотеатрах?
- Даже представить себе не могу.
- Когда начинается сексуальная сцена, слышно, как на соседних местах сглатывают слюну, – сказала Мидори. – Вот этот самый звук. Он такой милый.

Вернувшись в палату, Мидори опять под села к отцу и заговорила. Отец только вставлял «а-а», «ага» или вообще отмалчивался. Около одиннадцати пришла жена круглолицего соседа по палате. Она сменила ему ночную пижаму, почистила фрукты. Приятная женщина, она болтала с Мидори обо всем на свете. Пришла медсестра, заменила капельницы, перекинулась парой слов с собеседницей Мидори и ушла. Тем временем я от безделья разглядывал палату и провода за окном. Изредка на них садились воробьи. За это время Мидори по очереди разговаривала с отцом, вытирала ему пот и слюну, перебрасывалась фразами с соседкой и медсестрой, что-то спрашивала у меня, проверяла капельницу.

В полдвенадцатого начался обход. Мы с Мидори вышли подождать в коридор. Появился врач, у которого Мидори поинтересовалась состоянием отца.

– Сразу после операции, обезболивающее даем. Конечно, сильное истощение, – ответил врач. – Результаты станут известны дня через два-три... мне в том числе. Пойдет на поправку – хорошо, нет – будем думать дальше.

- Что, опять будете вскрывать голову?
- Будет день – будет пища, – ответил врач. – Постой, что-то юбка на тебе сегодня коротковата.
- Красивая?
- А как ты ходишь по лестнице? В ней? – задал вопрос врач.
- Так и хожу. Показываю все, как есть, – ответила Мидори. Медсестра у нее за спиной прыснула.
- Тебе тоже неплохо бы полежать, провериться, – покачал головой врач. – В общем, так. Пока находишься в этой больнице, старайся пользоваться лифтом. Не хочу, чтоб из-за тебя прибавилось пациентов. В последнее время и так работы хоть отбавляй.

Через некоторое время начался обед. Медсестра погрузила на тележку еду и стала развозить по палатам. Отцу Мидори подали картофельный суп, фрукты, мягкую отварную рыбу без костей и овощное пюре. Мидори положила отца на спину, покрутила ручку в ногах кровати и приподняла спинку. Потом зачерпнула ложкой суп и начала его кормить маленькими порциями. Отец съел пять-шесть ложек, отвернулся и сказал:

– Хватит...

– Нельзя так мало есть, – сказала Мидори.

– Потом...

– Ну что мне с тобой делать? Не будешь есть – не будет здоровья, – сказала Мидори. – По малому еще не хочешь?

– Нет...

– Ватанабэ, пойдем вниз, пообедаем в столовой? – предложила Мидори.

– Пойдем, – согласился я. Хотя если честно, есть мне не хотелось.

В столовой стояла кутерьма – и врачи, и медсестры, и посетители обедали вперемешку. В просторном зале без единого окна стояли в ряд столы и стулья, люди ели там и вели разговоры – видимо, о болезнях, – а их голоса отдавались эхом, как в подземном переходе. Иногда по радио вызывали врачей или медсестер, и объявления заглушали этот гул. Пока я занимал столик, Мидори принесла на алюминиевом подносе два комплексных обеда. Картофельные котлетки в сливочном соусе, картофельный салат, шинкованная капуста, что-то вареное, рис и суп мисо. В такой же, как и для больных, пластиковой посуде. Я съел только половину, Мидори же аппетитно уплела всю порцию.

– Что, не хочется? – потягивая горячий чай, спросила она.

– Да не очень.

– Это из-за больницы, – оглядываясь по сторонам, сказала Мидори. – С непривычки все так. Запах, звуки, спертый воздух, лица больных, напряг, раздражение, отчаяние, боль, страдание, усталость... Из-за всего этого сокращается желудок и пропадает аппетит. Привыкнешь – перестанешь обращать внимание. К тому же, какая из тебя сиделка, если нормально не поешь? Seriously. Я выхаживала четверых: деда, бабу, мать и вот теперь отца, поэтому знаю. Бывает так, что не до еды. Поэтому когда есть возможность, нужно есть впрок.

– Понимаю.

– Когда приходят навестить родственники, мы часто обедаем здесь. Они, как и ты, оставляют примерно половину. Я-то съедаю все подчистую. Только и слышишь от них: «Мидори, ну ты уплетаешь. Мы уже наелись, и

больше не лезет». Но с больными сидят не они, а я. Чего смеяться? Остальные изредка заглядывают и лишь сочувствуют. А подмывать, утирать слюни и тело освежать-то приходится мне. От одного сочувствия задница чистой не станет. Мне самой его жалко раз в пятьдесят больше. А стоит съесть весь обед, все смотрят чуть ли не с упреком: «Мидори, ну ты уплетаешь»... Что я им, выучный осел, что ли? Почтенного возраста люди, а простых вещей не понимают. Говорить можно что угодно. Но куда важнее, чистый лежит больной или в дерьме. Я тоже порой обижаюсь. Выбиваюсь из сил. Хочу зареветь. Никаких надежд на выздоровление, а толпы врачей вскрывают голову, копаются в ней – и так раз за разом. Причем, все хуже и хуже, голова вообще перестает соображать. И все это – на твоих глазах. Попробуй посмотри на это целыми днями. Никто не выдержит. Такое. Вдобавок ко всему, сбережения тают не по дням, а по часам. Не знаю, хватит на оставшиеся семь семестров или нет? Сестре так можно и не мечтать о свадьбе.

– Сколько раз в неделю ты сюда ходишь? – попробовал спросить я.

– Около четырех, – ответила Мидори. – Вообще-то в этой больнице предусмотрен полный уход, но одними медсестрами не обойдешься. Они, конечно, стараются изо всех сил, но персонала не хватает, а делать все это кто-то должен. Поэтому без родственников никак. Сестра присматривает за магазином, поэтому на мою долю выпадает ездить сюда в промежутках между занятиями. Но даже при этом сестра приходит три раза в неделю, я – примерно четыре. Улучив свободную минуту, бегаем на свидания. Так и живем.

– Раз ты так занята, почему же часто со мной встречаешься?

– Мне с тобой нравится, – покручивая пластмассовый стаканчик, сказала Мидори.

– Иди погуляй где-нибудь пару часов, – предложил я. – Я пока посмотрю за отцом.

– Зачем?

– Тебе неплохо бы отвлечься от больницы и побыть одной. Поброди в одиночестве, развейся.

Мидори немного подумала и согласилась.

– Да, пожалуй, ты прав. А справишься?

– Я наблюдал за тобой. Думаю, справлюсь. Проверить капельницу, напоить водой, промокнуть пот, вытереть слюну, судно – под кроватью, проголодается – накормить остатками обеда. Что будет непонятно – спросить у медсестры.

– Пожалуй, справишься, – улыбнулась Мидори. – Только имей в виду –

у него осложнение на голову, и он иногда несет всякий вздор. Порой сама не могу разобрать, что к чему. Если что, не обращай внимания.

– Не буду, – ответил я.

Вернувшись в палату, Мидори подошла к отцу и сказала, что должна отлучиться по делам.

– А за тобой присмотрит вот он, – показала на меня она, но тому, похоже, было все равно. А может, просто не понимал, о чем речь. Он лежал на спине и пристально смотрел в потолок. Если бы иногда не моргал, вполне мог сойти за мертвеца. Глаза налились кровью, как у пьяного; при глубоких вдохах слегка раздувались ноздри. Он лежал, не шелохнувшись, и не собирался отвечать Мидори. Я не мог себе представить, о чем он думает, о чем размышляет на дне своего помутневшего рассудка.

Когда Мидори ушла, я хотел было с ним заговорить, но не стал этого делать, не зная, что и как ему сказать. Тем временем он закрыл глаза и, похоже, уснул. Я сел на стул у изголовья и, молясь, чтобы он не умер у меня на руках, наблюдал за тем, как изредка шевелится его нос. И попутно размышлял: странно, если он испустит дух в моем обществе. Еще бы – я видел его впервые в жизни. Со мной его связывала лишь Мидори, а с нею отношения у нас не выходили за рамки общего курса «Истории театра II».

Но умирать он не собирался. Просто крепко спал. Стоило прислушаться, и еле различалось его сонное дыхание. Я успокоился и заговорил с женой соседа, которая, видимо, приняла меня за парня Мидори и долго рассказывала о ней.

– Она и вправду хорошая, – начала женщина, – старательно за отцом ухаживает, приветливая и любезная, внимательная и ответственная, к тому же – красивая. Береги ее и не спускай с нее глаз. Такие на дороге не валяются.

– Берегу, – ответил я первое, что пришло в голову.

– У нас двое: сыну двадцать один, дочери семнадцать. Чтобы сходили в больницу – не дождешься. В выходные – серфинг, свидания, постоянно куда-нибудь уезжают развлекаться. Кому сказать – позор. Только доят меня постоянно. Получат на карман – и след простыл.

В полвторого женщина, сославшись на то, что ей нужно за покупками, вышла. Больные крепко спали. Палату заливал мягкий солнечный свет. И я, сидя на стуле, едва не уснул сам. На столе у окна стояли в вазе белые и желтые хризантемы: на дворе все-таки – осень. В палате висел сладковатый запах нетронутой с обеда вареной рыбы. Все так же, еле слышно семена, сновали по коридорам медсестры, но беседовали они при этом между

собой весьма отчетливо. Иногда заглядывали в палату, но заведя двух крепко спящих пациентов, улыбались мне и куда-то исчезали. Я подумал: почитать бы чего, – но в палате не было ни книг, ни журналов, ни газет. Только висел на стене календарь.

Я вспомнил Наоко. Представил ее нагое тело, бабочку в волосах. Ее талию, туманность лобка. Почему она появилась передо мной так? Или это она ходила во сне? Или то была иллюзия? Шло время, и чем дальше я отстранялся от их маленького мира, тем больше начинал сомневаться в событиях той ночи. Если считать, что это было на самом деле, казалось, это действительно было. Если считать, что это иллюзия, начинало казаться, что я видел сон. Слишком отчетливо я помнил его детали, и вместе с тем все это чересчур красиво для правды. И тело Наоко, и свет луны...

Отец Мидори внезапно проснулся и закашлялся, я стряхнул раздумья, достал салфетку и вытер слюну, промокнул ему полотенцем пот на лбу.

– Пить будете? – спросил я, и он миллиметра на четыре кивнул. Стоило мне приблизить к его рту стеклянный кувшин, как задрожали ссохшиеся губы, зашевелилось горло. Он выпил все, что было в кувшине.

– Еще налить? – спросил я. Похоже, он собирался что-то сказать. Я нагнулся к нему и услышал тихий сухой голос:

– Хва... тит...

Он был еще суше, еще тише, чем прежде.

– Может, что-нибудь поесть? – спросил я. Он опять едва заметно кивнул. Я, как это делала Мидори, покрутил ручку и поднял спинку кровати. Зачерпывая попеременно овощное пюре и вареную рыбу, покормил его с ложки. Потребовалось немало времени, прежде чем он, съев половину, не закачал головой: мол, достаточно. Все движения давались ему с большим трудом, а потому были едва различимы. На вопрос:

– Как насчет фруктов? – ответил:

– Не... хочу...

Я вытер ему полотенцем рот, опустил кровать и выставил посуду в коридор.

– Как, вкусно? – спросил я.

– Нет... – ответил он.

– Да, на деликатес этот суррогат явно не тянет, – засмеялся я. Отец Мидори пристально разглядывал меня такими глазами, будто вообще сомневался, открывать их или закрывать. Интересно, он понял, кто я такой? – пронеслось у меня в голове. Похоже, со мной ему спокойней, чем с Мидори. А может, просто с кем-то меня спутал. Если так, это мне только на

руку.

– На улице хорошая погода. Очень хорошая, – заговорил я, закинув ногу на ногу. – Осень. Воскресенье, погода, куда ни пойдешь – полно народа. В такие дни лучше всего из дому вообще не выходить. По крайней мере, не устанешь. Поедешь туда, гделюдно, – только вымотаешься, воздух паршивый. Я по воскресеньям обычно стираю. Утром постираю, и вывешиваю белье на крыше общаги. К вечеру снимаю и сразу глажу. Мне нравится гладить. Нравится, когда мягкая одежда становится без единой морщинки. Глажу я хорошо. Сначала, правда, не мог – все заглаживал складки, но через месяц привык. Теперь у меня по воскресеньям – постирочно-гладильный день. Сегодня, к сожалению, не получилось... А такая идеальная погода.

Ладно. Сделаю завтра утром. Вот только встану пораньше. Можно не переживать. Все равно по воскресеньям больше делать нечего.

Завтра с утра постираю и пойду к десяти на лекцию. На эту лекцию мы ходим вместе с Мидори. «История театра II». Сейчас проходим Еврипида. Знаете такого? Он вместе с Эсхилом и Софоклом входит в тройку родоначальников театра в Древней Греции. В конце концов, его скормили в Македонии собакам, хотя есть и другие версии. Вот кто такой Еврипид. По правде, мне больше нравится Софокл. Но это дело вкуса. Поэтому ничего сказать не могу.

Особенность его пьес – в нагромождении всевозможных событий. Их столько, что за всеми не уследишь. Понимаете? Появляются разные люди, у каждого свои обстоятельства и причины, каждый по-своему ищет счастья и справедливости. Но при этом каждый тянет воз в свою сторону. Еще бы – ведь не бывает так, чтобы все оказались правы и счастливы. Отсюда сплошной хаос. Как вы думаете, что происходит? Все, на самом деле, очень просто. В конце концов, появляется бог и регулирует движение. Ты иди туда, ты – сюда, ты иди с ним, а ты подожди здесь. Прямо кудесник. И все разрешается. Зовут его «бог из машины». Он часто появляется в пьесах Еврипида, и здесь мнения о Еврипиде расходятся.

Вот бы жил такой «бог из машины» в реальном мире, как было бы удобно. Только подумаешь, что же делать и как быть, – с небес проворно спускается боженька и наводит порядок. И все так просто!.. Вот, это и есть «История театра II». Проходим в институте такие темы.

Пока я говорил, отец Мидори рассеянно смотрел на меня и молчал. По его взгляду невозможно было определить, понимает ли он хоть что-нибудь из моего рассказа.

– «Пи-ис», – сказал я.

Закончив говорить, я понял, что жутко проголодался. Толком не позавтракал, к тому же не доел почти половину комплекса на обед. Оставалось только жалеть, что съел так мало. Но от сожалений сытым не станешь. Я поискал на полках, нет ли чего съестного. Там оказались только банка с «нори»^[38], леденцы «Викс» и соевый соус. В бумажном пакете лежали огурцы и грейпфруты.

– Я есть хочу. Ничего, если я съем огурцы? – спросил я.

Отец Мидори ничего не ответил. Тогда я помыл их в умывальнике, налил в тарелку немного соевого соуса, обернул огурцы в нори, обмакнул в сою и с хрустом съел один.

– Вкусно, – сказал я. – Просто, свежо и душевный запах. Хорошие огурцы. Куда полезней, чем киви.

Съев первый, я принялся за следующий. По палате разносилось приятное похрумкивание. Доев второй, я перевел дух. Затем вскипятил в коридоре воду, сделал чаю и выпил.

– Будете пить воду или сок? – спросил я.

– Огу... рец... – ответил он.

Я улыбнулся.

– Отлично. Завернуть в нори?

Он едва заметно кивнул. Я опять поднял кровать, порезал ножом для фруктов огурец на мелкие ломтики, обернул в нори, макнул в сою, наколот на зубочистку и поднес ему ко рту. Он несколько раз, не меняя выражения лица, пожевал и затем проглотил.

– Как? Вкусно? – спросил я.

– Вкусно... – ответил он.

– Хорошо, когда пища вкусная. Это как признак жизни.

Так он съел весь огурец. Затем попросил пить, и я опять напоил его из кувшина. Вскоре он захотел помочиться, я достал из-под кровати судно и приблизил отверстие к его пенису. Потом сходил в туалет вылить мочу, промыл судно, вернулся в палату и допил остаток чая.

– Как настроение? – спросил я.

– Немно... го... – сказал он. – Го... лова...

– Немного болит голова?

Он лишь слегка кивнул.

– Так это после операции. Ничего не поделаешь. Правда, мне операций не делали, и я не знаю, как это.

– Билет... – сказал он.

– Билет? Какой билет?

– Мидо... ри... Билет.

Я не понимал, что к чему, и стоял молча. Он тоже на некоторое время умолк. Затем сказал:

– П-пра... шу... – Кажется, «прошу». Он широко открыл глаза и смотрел мне в лицо. Похоже, хотел мне что-то сообщить. А вот что – я даже представить себе не мог.

– Уэ... но... – сказал он. – Ми... дори...

– Станция Уэно?

Он кивнул.

Билет, Мидори, прошу, станция Уэно, – обобщил я, но смысла так и не понял. Может, у него помутился рассудок, и он совсем запутался, подумал я, но взгляд его был отчетливей прежнего. Он приподнял свободную от капельницы руку и протянул мне. Похоже, приложил немалое усилие – рука дрожала на весу. Я встал и пожал эту иссохшую шершавую руку. Он ответил мне слабым усилием и повторил:

– Прошу...

– Можете не переживать. Я побеспокоюсь и о билете, и о Мидори.

Услышав это, он уронил руку и устало закрыл глаза. И, посапывая, заснул. Я проверил, не умер ли он, после чего сходил за кипятком и опять заварил чай. Этот щуплый умирающий человек был мне чем-то симпатичен.

Вскоре вернулась жена соседа и с порога спросила, все ли в порядке.

– Все хорошо, – ответил я. Ее муж тоже мирно посапывал во сне.

Мидори вернулась в четвертом часу.

– Оттянулась в парке, – сказала она. – Как ты и советовал, ни с кем не разговаривала. Проветрила мозги.

– Ну и как?

– Спасибо, кажется, полегчало. Слабость еще есть, но телу стало намного легче, чем раньше. Кажется, я устала даже сильнее, чем предполагала.

Ее отец крепко спал, заняться было нечем, мы купили в автомате кофе и пошли пить его в комнату с телевизором. Я рассказал Мидори о событиях в ее отсутствие. Крепко спал, проснулся, съел оставшуюся половину обеда, увидел, как я грызу огурец и попросил себе тоже, съел один, сходил по малому и уснул.

– Ватанабэ, ну ты даешь! – восхищенно сказала Мидори. – Мы тут не знаем, как его заставить есть, а ты даже огурец в него запихал. Не верю своим ушам.

– Не знаю. Может, просто потому, что я аппетитно ел?

– Или потому, что у тебя способность успокаивать людей.

– Да ну? – засмеялся я. – Многие говорят обратное.

– Как тебе отец?

– Понравился. Мы толком не разговаривали. Но он почему-то показался мне хорошим человеком.

– Вел себя спокойно?

– Очень.

– А неделю назад выдал нам, – покачивая головой, сказала Мидори. – Стало плохо с головой, и он разбушевался. Бросал в меня стаканами. Кричал: «Дура, чтоб ты сдохла». Из-за этой болезни иногда бывает и такое. Не знаю, почему, но в определенный момент начинает злобствовать. С матерью было то же самое. Знаешь, что она мне говорила? «Ты – не моя дочь. Я тебя ненавижу». У меня враз перед глазами потемнело. Вот такая особенность у этой болезни. Что-то давит на мозг, раздражает человека и заставляет говорить всякую ересь. Я это понимаю, но все равно обидно. Стараешься здесь, стараешься, и должна в придачу выслушивать такое. Грустно.

– Понимаю, – сказал я. И вспомнил о странных словах ее отца.

– Билет? Станция Уэно? – переспросила она. – Не понимаю, к чему это?

– А потом «прошу» и «Мидори».

– Видимо, просил позаботиться обо мне?

– Или просил меня съездить на станцию Уэно и купить для тебя билет? – предположил я. – Во всяком случае, порядок слов – вразброс. Я ничего не понял. Может, что-то связано с этой станцией?

– Уэно? – Мидори задумалась. – Что меня связывает с Уэно? Разве только два побега из дома. В третьем и пятом классах. Оба раза я садилась на Уэно в поезд и ехала в Фукусиму. За что-то обижалась, брала из кассы деньги, и делала назло. В Фукусиме живет в своем доме тетка. Она мне нравилась, вот я и ездила к ней. Отец приезжал за мной и забирал обратно. Покупали бэнто и ели в пути. Отец хоть и сердился, но рассказывал мне о разных вещах. О землетрясении в Токио, о войне, о моем рождении, – то, о чем обычно не распространялся. Если подумать, до сих пор я спокойно разговаривала с отцом только в такие минуты. Поверишь? Во время землетрясения отец попал в самый эпицентр, но ничего не заметил.

– Да ну? – тупо воскликнул я.

– Правда. Он в тот момент, прицепив к велосипеду повозку, ехал вдоль речки Коиси и ничего не почувствовал. Когда вернулся домой, с крыши падала черепица, а семья прижалась к столбам и трясется от страха. Отец

ничего не может понять и спрашивает: чем это вы тут занимаетесь? Вот что он помнил о землетрясении. – Мидори засмеялась. – У него все рассказы такие. Никакого драматизма. Какие-то чудные. Послушаешь его, и начнет казаться, что за последние пятьдесят-шестьдесят в лет в Японии не происходило ничего особого. Ни событий 26 февраля^[39], ни Тихоокеанской войны^[40]. Как будто он с Луны свалился. Странно, да? И все рассказы в таком духе, пока едем с Фукусимы до Уэно. А напоследок всегда говорил: «Куда не поедь, везде одно и то же, Мидори». И начинаешь по-детски считать, что так оно и есть.

– И это все, что ты помнишь об Уэно?

– Да, – ответила Мидори. – А ты когда-нибудь уходил из дома?

– Нет.

– Почему?

– Не додумался...

– А ты – странный, – с легким восхищением сказала Мидори, наклонив голову набок.

– Разве?

– Во всяком случае, отец просил тебя позаботиться обо мне.

– Что, правда?

– Конечно, правда. Я это чувствую. Инстинктивно. И что ты ответил?

– Я не знал, что сказать. Ну, вроде, не переживайте, все нормально. Я побеспокоюсь и о билетах, и о Мидори.

– То есть, пообещал отцу... заботиться обо мне, – сказала Мидори и серьезно посмотрела мне в глаза.

– Да нет же, – суетливо прервал я. – Я же тогда и не понял толком, что к чему...

– Не переживай. Это шутка. Я просто немного над тобой пошутила, – сказала Мидори и засмеялась. – Ты в эти минуты такой милый.

Допив кофе, мы вернулись в палату. Отец продолжал крепко спать. Если совсем близко, то слышалось его сонное дыхание. Дело шло к вечеру, и свет за окном окрашивался в мягкие тихие тона, осенние уже по-настоящему. На провода уселась, посидела и унеслась прочь стайка птиц. Мы с Мидори забились в угол палаты и тихо беседовали. Она посмотрела на мою руку и предсказала:

– Ты проживешь до пятисот лет, будешь трижды женат и погибнешь в аварии.

– Неплохая судьба, – ответил я.

В пятом часу проснулся отец. Мидори села в изголовье, промокнула

пот, дала попить, спросила, как голова. Пришла медсестра, измерила температуру, пометила, сколько раз больной помочился, проверила капельницу. Я тем временем уселся на диван в комнате отдыха и посмотрел прямой репортаж футбольного матча.

– Ну, мне пора, – сказал я, когда пробило пять. Затем обратился к отцу: – Мне надо идти на работу. С шести до половины одиннадцатого продаю пластинки на Синдзюку.

Он посмотрел на меня и легонько кивнул.

– Послушай, Ватанабэ, я не знаю, как это сказать, но я очень благодарна тебе за сегодня. Спасибо, – сказала Мидори, провожая меня до выхода из больницы.

– Да не за что, – ответил я. – Если понадобится, могу приехать в следующее воскресенье. Мне хотелось бы опять увидеться с твоим отцом.

– Серьезно?

– Все равно в общезитии, по большому счету, делать нечего. А здесь можно поесть огурцов.

Мидори скрестила на груди руки и постукивала каблуком по линолеуму.

– Сходим опять куда-нибудь выпить? – сказала Мидори, слегка наклонив голову набок.

– А порно-кинотеатр?

– Посмотрим кино и поедем выпивать, – ответила она. – И, как всегда, будем сполна говорить о всяких непристойностях.

– Не мы, а ты, – возмущенно поправил я.

– Какая разница? Во всяком случае, за этими разговорами напьемся в стельку и в обнимку пойдем назад.

– Что будет дальше, я примерно представляю, – вздохнул я. – Я буду тебя убалтывать, а ты – ни в какую.

– Хм-м.

– Ладно, приезжай, как сегодня утром. В следующее воскресенье. Вместе и поедем.

– Юбку длиннее надеть?

– Да.

Но в следующее воскресенье в больницу мы не поехали. Отец Мидори умер в пятницу утром.

В полседьмого позвонила Мидори. Я накинул на пижаму халат, спустился в вестибюль и взял трубку. Бесшумно лил леденящий дождь.

– Отец умер, – тихо сказала Мидори.

- Я могу помочь?
- Спасибо. Все нормально. Мы привыкли к похоронам. Просто хотела тебе сообщить. – И она тяжело вздохнула. – На похороны не приходи. Не люблю я это. Вот где не хотелось бы с тобой встречаться.
- Хорошо.
- А ты правдаводишь меня в порно-кинотеатр?
- Конечно.
- На самый непристойный?
- Непременно подберу. Самый такой.
- Ладно, я сама позвоню, – сказала Мидори и положила трубку.

Но пропала на целую неделю. Мы не виделись на занятиях, она не отвечала на мои звонки. Каждый раз, возвращаясь в общежитие, я проверял, нет ли каких-нибудь сообщений. Но никто не звонил. Однажды ночью, выполняя данное слово, я попробовал мастурбировать, думая о ней, но толком ничего не получилось. Тогда я переключил свои мысли на Наоко, но в этот раз ее облик тоже не помог. Как нелепо все. И я бросил это занятие. Выпил виски, почистил зубы и лег спать.

В воскресенье утром я написал письмо Наоко. Рассказал об отце Мидори. Как ходил проводить отца однокашницы и съел там оставшиеся огурцы. Отец увидел, как аппетитно я их грызу, попросил себе тоже и с хрустом съел. Но, в конце концов, через пять дней на рассвете умер. Я до сих пор отчетливо помню тихий хруст, когда он грыз огурец. Смерть человека оставляет после себя маленькие удивительные воспоминания.

Еще я написал:

Просыпаюсь по утрам и думаю о тебе, о Рэйко, о птичнике. О воробьях, голубях, попугаях, индюшках и кроликах. Вспоминаю желтый плащ с капюшоном, который ты надела дождливым утром. Очень приятно думать о тебе в теплой постели. Будто ты рядом – свернулась калачиком и сладко спишь. Прекрасно, если бы так было на самом деле.

Иногда мне становится нестерпимо грустно, но в целом жизнь течет своим чередом. Подобно тому, как ты каждое утро прибираешься в птичнике и работаешь в поле, я тоже каждое утро завожу свою пружину. Пока встаю с постели, чищу зубы, бреюсь, завтракаю, переодеваюсь, выхожу из общежития, иду в институт – делаю тридцать шесть оборотов. А сам думаю: пусть и этот день пройдет не зря. Долго не обращал внимания, но в последнее время стал разговаривать сам с собой. Завожу пружину и что-нибудь бурчу себе под нос.

Очень жаль, что я не могу тебя видеть. Но не будь тебя, моя токийская жизнь оказалась бы куда тяжелее. По утрам думаю о тебе в постели и говорю себе: нужно завести пружину и не вешать нос. Стараться здесь так же, как ты стараешься там.

Но сегодня – воскресенье. День без пружины. Покончив со стиркой, я пишу тебе в своей комнате письмо. Вот допишу, наклею марку, брошу в почтовый ящик, и до вечера совершенно свободен. По воскресеньям я не учусь. Я успеваю это делать в обычные дни – в перерывах между лекциями иду в библиотеку и занимаюсь. Поэтому на воскресенье ничего не остается. Воскресный полдень тихий, мирный и... одинокий. Я в одиночестве читаю книги, слушаю музыку. Бывает, пытаюсь вспомнить те дороги, по которым мы гуляли в воскресные дни, когда ты жила в Токио. Даже твою одежду могу вспомнить до мелочей. В такие минуты я много о чем вспоминаю.

Передавай привет Рэйко. По вечерам мне так не хватает ее гитары.

Дописав письмо, я сбросил его в почтовый ящик в двухстах метрах от общежития, зашел в соседнюю булочную, купил сэндвич с яйцом и колу и съел на скамейке в парке. Можно сказать, пообедал. В парке мальчишки играли в мяч, и я, чтобы убить время, понаблюдал за ними. Осеннее небо с каждым днем становилось все выше и голубее. Случайно задрав голову, я увидел: параллельно, как по трамвайным рельсам, движутся ровно на запад два самолета. Я подобрал и бросил обратно подскочивший ко мне «фол». Дети сняли кепки и поблагодарили. Как и во всем детском бейсболе, тут преобладали подачи и перебежки.

Спустя время я вернулся в комнату и принялся за книгу, но не мог на ней сосредоточиться, и, глядя в потолок, стал думать о Мидори. Ее отец, видимо, всерьез пытался попросить, чтобы я позаботился о Мидори. Хотя что он имел под этим в виду, мне было неизвестно. Скорее всего, он меня с кем-то перепутал. В любом случае, в пятницу утром, когда лил холодный дождь, он умер, и теперь уточнять смысл его слов было уже поздно. Я представил, что перед смертью он усох еще сильнее. И стал в печи крематория прахом. После себя оставил неприметную книжную лавку в неприметном торговом квартале и двух дочерей, из которых как минимум одна – чудачка. Что это была за жизнь? – думал я. И о чем он, лежа на больничной койке с искромсанной и помутневшей головой, думал, глядя на меня?

Мне стало невыносимо грустно от мыслей об отце Мидори. Я раньше обычного снял высохшее белье и поехал на Синдзюку побродить, чтобы

убить время. И облегченно вздохнул в воскресной сутолоке оживленного квартала. В переполненном, как утренняя электричка, книжном магазине «Кинокуния», купил «Свет в августе» Фолкнера, зашел в самый громкий джаз-бар, где, слушая пластинки Орнетта Коулмена и Бада Пауэлла, пил горячий и крепкий, но невкусный кофе и читал только что купленную книгу. В полшестого закрыл ее, вышел на улицу, слегка перекусил и вскользь подумал, сколько десятков или сотен раз повторится такое воскресенье. «Тихое мирное одинокое воскресенье», – попробовал сказать я вслух. По воскресеньям я не завожу пружину.

Глава 8

В середине следующей недели я глубоко порезал осколком ладонь. Не заметил трещины в перегородке стеллажа. На удивление сильно шла кровь, она капала под ноги, и вскоре на полу натекла целая лужа. Управляющий принес несколько полотенец и сильно затянул ими рану вместо бинта. Затем сел на телефон и выяснил, какие центры «скорой помощи» работают ночью. Бестолочь, но в этой ситуации действовал оперативно. К счастью, больница оказалась поблизости, но пока мы до нее добрались, кровь просочилась через полотенце и начала капать на асфальт. Люди, шарахаясь, уступали дорогу. Поди думали, что рану я получил в какой-нибудь драке. Боли не чувствовалось, и только безудержно шла кровь.

Врач невозмутимо размотал полотенце, перетянув запястье, остановил кровь, обработал и зашил рану и велел прийти завтра. Когда я вернулся в магазин, управляющий отправил меня домой, сказав, что рабочее время мне зачтет. Я сел в автобус и вернулся в общежитие. Решил заглянуть к Нагасава. Видимо, из-за раны меня переполняло настроение с кем-нибудь поговорить, к тому же, как мне показалось, мы с ним давно не виделись.

Он был в комнате – смотрел урок испанского языка по телевизору и пил пиво. Заметив мою перебинтованную руку, поинтересовался, в чем дело. Я ответил, что поранил руку, но рана не опасная. Тогда он спросил, буду ли я пиво. Я отказался.

– Подожди немного, скоро закончится, – по-испански сказал Нагасава, тренируя произношение.

Я вскипятил воду и заварил пакетик чаю, пока испанка зачитывала пример:

– «Такой сильный ливень – впервые. В Барселоне смыло несколько мостов».

Нагасава повторил его вслух, а потом заметил:

– Что за вздор? Ну почему все примеры в курсах иностранных языков – сплошь такие идиотские?

Передача закончилась, Нагасава выключил телевизор, достал из маленького холодильника банку пива и выпил.

– Я не помешал? – спросил я.

– Мне? Нет, конечно. Наоборот, я помирал со скуки. Может все-таки пива?

– Нет, спасибо.

– Это... на днях объявили результаты экзаменов... Выдержал, – сказал он.

– Экзамены в МИД?

– Да. Официально они называются «едиными экзаменами по приему сотрудников на дипломатическую работу». Такая ересь!

– Поздравляю, – сказал я и пожал ему руку своей левой.

– Спасибо.

– Чего и следовало ожидать.

– Точно, следовало, – улыбнулся Нагасава. – Но все равно хорошо, что определилось.

– Теперь поедешь за границу? Поступишь на работу?

– Нет, сначала годичная стажировка в стране. А потом могут и послать. Я потягивал чай, он блаженно пил пиво.

– Если хочешь, когда буду отсюда съезжать, могу оставить тебе этот холодильник. Будешь пить холодное пиво.

– Не откажусь, конечно. А тебе самому разве не понадобится? Наверное, придется снимать квартиру?

– Не говори глупостей. Выбравшись отсюда, я куплю себе большой холодильник и заживу по-божески! Хватит, натерпелся за четыре года в этой нищете. Глаза б мои не видели все, чем здесь пользовался. Отдам все, что захочешь: телевизор, термос, радио...

– Будет кстати, – сказал я и взял лежавший на столе учебник. – Начал учить испанский?

– Чем больше языков знаешь, тем лучше. К тому же, у меня к ним врожденные способности. Французским занимался сам, и уже почти освоил. Как игра. Главное – понять правила, а там сколько ни учи, все одно и то же. Как с девчонками.

– Вполне интроспективный образ жизни...

– Кстати, давай куда-нибудь сходим?

– Надеюсь, не по девкам?

– Нет, конечно. Устроим втроем с Хацуми вечеринку в приличном ресторане. По случаю моего трудоустройства. Выберем заведение подороже. Все равно платить – отцу.

– Может, ты лучше сходишь с ней вдвоем?

– С тобой будет удобней. И мне, и Хацуми, – сказал Нагасава.

«Ну-ну. Прямо, как с Кидзуки и Наоко», – подумал я.

– Потом я пойду с Хацуми и останусь у нее. А поужинать можно втроем.

– Ну если вы не против, я, конечно, пойду, – согласился я. – Только вот

что, Нагасава... Как ты собираешься поступить? С Хацуми? После стажировки тебя отправят на несколько лет за границу. А что будет с ней?

– Это не моя, а ее проблема.

– Что ты имеешь в виду?

Он в прежней позе – задрал ноги на стол – отхлебнул пива и зевнул.

– А то, что не собираюсь я ни на ком жениться. И давно говорил об этом Хацуми. Поэтому если она хочет за меня замуж, пожалуйста. Я ее не удерживаю. Хочет меня ждать, не выходя за другого, пусть ждет. Вот тебе весь смысл.

– Хм, – только и вымолвил я.

– Думаешь, каков мерзавец?

– Во-во.

– В мире господствует несправедливость. Причем, не по моей вине. Так уж заведено. Я ни разу не обманул Хацуми. В этом смысле, она знает, кто я такой. Сам предлагал ей: не нравлюсь – давай расстанемся.

Нагасава допил пиво и закурил.

– Тебе не бывает страшно за то, как жизнь сложится? – спросил я.

– Я не такой идиот. Еще как бывает. И это естественно. Только я не признаю это за аксиому. Стараюсь на все сто процентов и делаю, пока получается. Что хочется – беру, что нет – прохожу мимо. Так и живу. Не ладится дело – думаю с того места, где не заладилось. Если разобраться, в несправедливом обществе, наоборот, можно проявить свои способности.

– Отдает эгоизмом, – заметил я.

– Но я ведь не жду, пока плод сам упадет на голову. Я по-своему стараюсь как могу. Раз в десять больше тебя, например.

– Это точно, – признал я.

– Поэтому иногда смотрю на людей – и становится тошно. Почему они не пытаются стараться? Палец о палец не ударят, а только кричат на всех углах о несправедливости.

Я удивленно смотрел в лицо Нагасавы.

– На мой взгляд, люди и так работают на износ. Или я не прав?

– Это не старание, а простой труд, – отрезал Нагасава. – Под старанием я имею в виду другое. Старание – это нечто более активное и целенаправленное.

– Например, устроившись на работу, взяться за испанский язык, пока все валяют дурака? Ты это имел в виду?

– Именно. До весны выучу испанский, как свой родной. Английский, немецкий, французский я уже знаю. Итальянский – почти. Сможешь так без старания?

Он курил, а я размышлял об отце Мидори. Тому вряд ли когда приходило в голову учить перед телевизором испанский язык. И, думаю, вряд ли он подозревал о существовании разницы между старанием и трудом. Ему было не до того. Работал, не покладая рук, ездил в Фукусиму за сбежавшей из дома дочерью...

– Что если пойти в ресторан в эту субботу? – спросил Нагасава.

– Хорошо, – ответил я.

Выбор Нагасавы пал на тихий шикарный ресторан французской кухни в районе Адзабу. Он назвал метрдотелю свое имя, и нас провели в отдельный кабинет в глубине заведения. Со стен маленькой комнаты свисали пятнадцать гравюр. Пока не пришла Хацуми, мы обсуждали роман Джозефа Конрада и пили вкусное вино. Нагасава был в дорогом костюме серого цвета, я – в обычном синем пиджаке.

Минут через пятнадцать пришла Хацуми. С идеальным макияжем, в золотых серьгах, дорогих красных лодочках и шикарном темно-синем платье.

– Этот цвет называется «ночная грусть», – пояснила она, а о самом ресторане восхищенно отозвалась: – Чудесное место.

– Здесь ужинает отец, когда бывает в Токио. Один раз брал с собой меня. Сам я такую напыщенную кухню не особо люблю, – сказал Нагасава.

– Иногда можно себе позволить. Так ведь? Да, Ватанабэ?

– Так. Если не за свой счет.

– Отец почти всегда приходит сюда с женщиной, – сказал Нагасава. – Есть у него одна в Токио.

– Вот как? – удивилась Хацуми.

Я сделал вид, что не расслышал, и отхлебнул вина.

Вскоре пришел официант, и мы сделали заказ: к закуске и супу Нагасава выбрал главным блюдом утку, а мы с Хацуми – судака. Блюда подавали неспешно, мы пили вино и вели разговоры. Сначала Нагасава рассказывал об экзаменах в МИД. Большинство абитуриентов – отбросы, ринувшиеся туда как в омут головой, но было и несколько толковых парней. Я задал вопрос, каково там соотношение толковых по сравнению с обычным обществом.

– Такое же. Как иначе? – само собой разумеющимся тоном ответил Нагасава. – Как и везде. Неизменное.

Допили вино. Нагасава заказал нам еще одну бутылку, а себе – двойной скотч.

Затем Хацуми завела разговор о подружке, которую хотела со мной

познакомить. Наша с ней давняя проблема: она постоянно пыталась свести меня с «очень красивой девчонкой из клуба», а я встреч постоянно избегал.

– Она действительно хорошенькая. Даже красивая. В следующий раз приведу, хотя бы разок поговори с ней. Она тебе непременно понравится.

– Ничего не выйдет, – ответил я. – Я слишком бедный, чтобы дружить с подругами из твоего института. Денег нет, разговоры не клеятся.

– Да нет же, она очень скромная. Совсем не такая, как все. Никого из себя не строит.

– Что тебе стоит встретиться хотя бы раз, Ватанабэ? – сказал Нагасава. – Совсем не обязательно с ней спать.

– Естественно. Не нужно ее трогать. Она еще девственница.

– Как прежняя ты.

– Да, как прежняя я, – улыбнулась Хацуми. – Ватанабэ, бедный ты или какой, не имеет значения. Да, есть у нас в группе заносчивые упертые девицы. А остальные вполне нормальные, – обедают в студенческой столовой за двести пятьдесят иен.

– Знаешь, Хацуми, – начал я, – в нашей – комплексы трех видов: «А», «В» и «С». «А» – сто двадцать иен, «В» – сто, «С» – восемьдесят. Если я иногда беру ланч «А», на меня смотрят, как на врага народа. Кому не по карману даже «С» перебиваются «рамэном»^[41]. Вот такая у нас школа. И ты по-прежнему считаешь, нам будет о чем говорить?

Хацуми расхохоталась.

– Как дешево – хоть самой иди. И все-таки, Ватанабэ, ты – хороший человек. Думаю, вы найдете общий язык. Ей непременно понравится стодвадцатиенный обед.

– Да ну? – засмеялся я. – Кому это может понравиться? Другого нет, вот и едим.

– Не суди о нас по обертке, Ватанабэ. Даже в школе расфуфыренных девиц немало тех, кто серьезно относится к жизни. Не думай, что все они мечтают о парнях на спортивных машинах.

– Ну это само собой, – сказал я.

– У Ватанабэ уже есть любимая девушка, – прервал разговор Нагасава. – Но этот человек не говорит о ней ни слова. Как ни раскручивай его – рот на замке. Тайна, покрытая мраком.

– Правда? – спросила у меня Хацуми.

– Правда. Но никакая это не тайна. Просто слишком запутанная история, и мне о ней говорить бы не хотелось.

– Безответная любовь? Обращайся, могу дать совет.

Я сделал вид, что пью вино.

– Видишь – ни слова не вытянешь, – потягивая третью порцию виски, сказал Нагасава. – Этот человек если решил молчать, ни за что не заговорит.

– Жаль, – сказала Хацуми, отправляя в рот нанизанный на вилку кусочек паштета. – Понравься тебе та девушка, могли бы устраивать парные свидания.

– А напиваясь, могли бы меняться, – добавил Нагасава.

– Не мели ерунды.

– Никакая не ерунда! Ты нравишься Ватанабэ.

– Это разные вещи, – спокойно сказала Хацуми. – Не такой он человек. Он бережно относится к своему. Я это вижу. Потому и собиралась познакомиться с подругой.

– Но мы с Ватанабэ как-то раз менялись партнершами. Помнишь... тогда? – невозмутимо сказал Нагасава, допил виски и заказал еще.

Хацуми отложила вилку и нож, вытерла салфеткой рот и посмотрела мне в лицо.

– Это правда?

Я не знал, что ответить, и молчал.

– Говори, как есть. Плевать, – сказал Нагасава. «Дурацкая ситуация», – мелькнуло у меня. Иногда, подвыпивши, Нагасава позволял себе такие выходки. И в этот вечер его колкости предназначались не мне, а Хацуми. Я это понимал и чувствовал себя неудобно вдвойне.

– Расскажи. Похоже, занимательная история, – обратилась ко мне Хацуми.

– Пьяный был, – выдавил я.

– Да ладно... Я же тебя не упрекаю. Просто хочу узнать.

– Мы с Нагасавой выпивали в баре на Сибуя и познакомились там с двумя подружками из какого-то женского института. Они тоже были уже готовенькие, в конечном итоге, мы нашли гостиницу неподалеку и там переспали. Сняли соседние номера. Ночью Нагасава постучался ко мне и предложил поменяться девчонками. Я пошел в его комнату, он – в мою.

– И что, девчонки не возмутились?

– Они же пьяные были. По большому счету, им тоже было все равно, с кем...

– На то была особая причина, – вставил Нагасава.

– Что за причина?

– Подружки – но уж слишком разные. Одна – красивая, вторая – страшненькая. Мне это показалось несправедливым. В смысле, я выбрал красивую, но потом стало неудобно перед Ватанабэ. И поменялся. Ведь так,

Ватанабэ?

– Ну, так. Но если честно, мне больше понравилась та – страшненькая. С ней было интересно поговорить... и характер хороший. После секса мы там весело болтали, валялись в постели, а тут приходит Нагасава и предлагает меняться. Я спрашиваю у нее: ты как, не против? А она: ну, если вы так хотите. Наверное, подумала, что я тоже хочу ее симпатичную подружку.

– И как, понравилось? – спросила меня Хацуми.

– В смысле, обмен?

– Обмен и прочее.

– Что там может понравиться? Делаешь свое дело и все. Разве могут такие развлечения доставлять удовольствие?

– Зачем же тогда?

– Я пригласил, – сказал Нагасава.

– Я спрашиваю Ватанабэ, – резко сказала Хацуми. – Зачем ты этим всем занимаешься?

– Иногда хочется порезвиться с какой-нибудь девчонкой.

– А не лучше как-нибудь разобраться со своей любимой? – немного подумав, спросила Хацуми.

– Там запутанная ситуация.

Хацуми вздохнула.

Распахнулись двери, внесли блюда. Перед Нагасавой поставили жареную утку, передо мной и Хацуми – по судаку. Помимо того, на тарелках лежали вареные овощи под соусом. Официант ушел, и мы опять остались втроем. Нагасава разрезал утку и принялся с аппетитом есть, запивая виски. Я попробовал шпинат. Хацуми к еде не прикоснулась.

– Послушай, Ватанабэ, я не знаю, какая там у тебя ситуация, но это все – не для тебя, тебе это не идет. Как сам считаешь? – сказала Хацуми. Положив руки на стол, она пристально смотрела мне в лицо.

– Да, – ответил я. – Сам иногда так думаю.

– Тогда почему не прекратишь?

– Иногда хочется тепла, – откровенно признался я. – Без тепла женского тела становится невыносимо грустно.

– Ну, то есть, вот что, – вмешался Нагасава. – У Ватанабэ есть подруга, но в силу неких обстоятельств любовью заниматься с ней он не может. Поэтому секс рассматривает только как секс, и занимается им на стороне. Разве нельзя? Вполне логично. Не дрочить же ему, запершись в своей комнате.

– Но если он ее любит, неужели нельзя потерпеть? Ватанабэ?

– Может, и так, – сказал я, и отправил в рот кусочек судака под сливочным соусом.

– Ничего ты не понимаешь в половом влечении мужчин, – сказал Нагасава Хацуми. – Например, мы с тобой вместе уже три года. За это время я переспал с кучей девчонок, но совершенно их не помню. Даже по именам не знаю. Больше одного раза ни с кем не виделся. Встречался, трахался и расставался. Только и всего. И что в этом плохого?

– Я терпеть не могу это твое высокомерие, – тихо сказала Хацуми. – Проблема не в том, спать или нет с другими. Или я хотя бы раз серьезно обиделась на тебя из-за твоих хождений по девкам?

– Разве это хождения? Простая игра. И никто не в обиде, – сказал Нагасава.

– Я в обиде, – сказала Хацуми. – Или одной меня мало?

Нагасава медлил с ответом, болтая виски в стакане.

– Не мало. Это разговор иного рода. Есть во мне какая-то жажда, требующая чего-то такого. Если тебя это обижает, извини. Я не хочу сказать, что тебя одной мне мало. Но я живу лишь благодаря такой жажде. Такой вот я человек. Что со мной поделаешь?

Хацуми наконец-то взяла в руки нож с вилкой и принялась за судака.

– Но ты в любом случае не имел права втягивать в это Ватанабэ.

– Мы с Ватанабэ кое в чем похожи, – сказал Нагасава. – По существу, нам обоим интересны только мы сами. В этом и есть вся разница, высокомерие это или нет... Интерес наш – лишь к собственным мыслям, чувствам, поступкам. Поэтому Ватанабэ может думать независимо от остальных. Мне он нравится именно этим. Просто он сам пока толком этого не осознает, поэтому, бывает, сомневается, обижается...

– А разве есть люди, которые не сомневаются и не обижаются? – спросила Хацуми. – Или ты хочешь сказать, что сам никогда не сомневался и не обижался?

– И сомневался, и обижался, конечно. Но если тренироваться, можно обойтись малой кровью. Если мышь начать бить током, она примется выбирать самый безболезненный путь.

– Но мышь не может любить.

– Мышь не может любить, – повторил Нагасава и посмотрел на меня. – Прекрасно! Хочется музыкального сопровождения. Две арфы к оркестру, пожалуйста...

– Брось шутить. Я серьезно.

– Мы сейчас ужинаем, – сказал Нагасава. – К тому же, здесь Ватанабэ. Было бы приличней оставить серьезный разговор на другой раз.

- Может, мне уйти? – спросил я.
- Останься, пожалуйста. Так лучше, – попросила Хацуми.
- Раз уж пришел, дождись десерта.
- Мне, в принципе, все равно.

Некоторое время мы продолжали ужин молча. Я съел судака подчистую, Хацуми оставила половину. Нагасава давным-давно покончил с уткой и продолжал пить виски.

– Вкусный был судак, – попробовал сказать я, но никто не ответил. Будто я кинул камешек в глубокий колодец.

Тем временем убрали посуду и принесли лимонный шербет и кофе-эспрессо. Нагасава лишь попробовал то и другое и сразу закурил. Хацуми есть шербет не стала. Ну-ну – я уписал шербет и принялся за кофе. Хацуми рассматривала свои руки, сцепленные над столом. Руки эти, как и все, что было на ней, выглядели изысканно и шикарно. Я подумал о Рэйко и Наоко. Что они сейчас делают? Наоко, пожалуй, лежит на диване и читает книгу, а Рэйко играет на гитаре «Norwegian Wood». Меня вдруг неудержимо потянуло в их комнатку. Что я здесь вообще делаю?

– Чем мы с Ватанабэ еще похожи – так это отсутствием желания, чтобы нас понимали другие, – сказал Нагасава. – Этим мы и отличаемся от остальных. Все они только суетятся, как бы их правильно поняли. Но я не такой, да и Ватанабэ – тоже. Нам плевать, поймут нас или нет. Мы – это мы, они – это они.

– И это правда? – спросила у меня Хацуми.

– Да ну, – ответил я. – Я не такой сильный человек. И мне далеко не все равно, поймут меня или нет. Есть те, кого я хочу понять и самому быть ими понятым. Просто думаю: что поделаешь, если меня другие не совсем понимают? Смирюсь с этим. Но это не значит, что мне все равно, как говорит Нагасава, поймут меня или нет.

– А я что говорю? – Нагасава взял кофейную ложку. – То же самое. Разницы не больше, чем между поздним завтраком и ранним обедом. Еда – одна, время еды – то же. Только название другое.

– Нагасава, тебе *так же* все равно, понимаю ли я тебя или нет? – спросила Хацуми.

– Кажется, ты вообще ничего не понимаешь. Человек поймет другого, когда придет соответствующее время, а не потому, что этот другой захочет, чтобы его поняли.

– Выходит, я ошибалась, когда хотела, чтобы меня кто-то правильно понял? Например, ты?

– Нет, не ошибалась, – ответил Нагасава. – Нормальные люди зовут это

любовью. Если ты хочешь меня понять, то есть. Моя система во многом отличается от жизненной системы других.

– Но меня ты не любишь, да?

– Поэтому ты мою систему...

– Да причем тут система? – закричала Хацуми. При мне она кричала в первый и в последний раз.

Нагасава нажал кнопку звонка на краю стола, официант принес счет. Нагасава протянул официанту кредитную карточку.

– Прости, Ватанабэ. За сегодня, – сказал он. – Я провожу Хацуми, а ты смотри сам.

– Я-то ладно. Вкусный был ужин, – ответил я, но мои слова повисли в молчании.

Официант вернул карточку, Нагасава сверил сумму и поставил подпись. Мы встали и вышли из ресторана. Нагасава собирался поймать такси, но Хацуми его остановила.

– Спасибо, но сегодня я больше не хочу тебя видеть. Можешь не провожать. Спасибо за ужин.

– Как хочешь, – сказал Нагасава.

– Меня проводит Ватанабэ, – сказала Хацуми.

– Как хочешь. Только Ватанабэ – почти такой же. Как я. Добрый и обходительный, но не способный любить от всего сердца. Постоянно где-нибудь открывает глаза и чувствует только жажду. Я это знаю.

Я остановил такси, посадил Хацуми и сказал Нагасаве:

– Ладно, что поделаешь? Поехал провожать.

– Прости, – лишь извинился он. Похоже, голова его начинала заполняться совсем другими мыслями.

– Куда поедет? Вернешься на Эбису? – спросил я у Хацуми. Ее квартира располагалась в том районе. Но она замотала головой. – Тогда где-нибудь выпьем?

– Ага, – на этот раз кивнула она.

– На Сибуя, – сказал я водителю.

Хацуми скрестила руки, закрыла глаза и забила в угол машины. Иногда в такт движению поблескивали золотые серьги. Ее платье цвета ночной грусти было сшито будто на заказ, под этот мрачный угол такси. Накрашенные светлым красивые губы как бы застыли на полуслове. Глядя на нее, я, кажется, понял, почему Нагасава выбрал ее своей особой спутницей. Вокруг навалом женщин куда красивее Хацуми. И такой человек, как Нагасава, мог бы заполучить их сколько угодно. Но нечто в ней цепляло душу. Исходящая от женщины сила невелика, но может

всколыхнуть сердце мужчины. Пока такси ехало до Сибуя, я неотрывно смотрел на Хацуми и думал: что же это за колебание чувств, которое она вызывает в моем сердце. Но до последнего так и не смог понять.

А догадался об этом спустя двенадцать или тринадцать лет. Я приехал в городок Санта-Фе штата Нью-Мексико взять интервью у одного художника, вечером зашел в пиццерию, где за едой и кружкой пива смотрел на красивейший, словно чудо, закат. Весь мир покраснел. Всё окружавшее меня – руки, тарелки, столы. Причем, такой яркой краснотой, будто с головы до пят меня окатили клюквенным соком. И вот посреди этого внушительного заката я вспомнил Хацуми. И понял, чем же было то, что заставило тогда содрогнуться мое сердце. Неудовлетворенное страстное желание отрочества, которому уже никогда не суждено сбыться. Очень давно я где-то оставил свое прежнее невинное влечение и все время даже не вспоминал о нем. Хацуми всколыхнула долго дремавшую у меня внутри частичку самого себя. И когда я почувствовал эту печаль, впору было только плакать. Она действительно... действительно была особенной женщиной. И кто-то должен был хоть как-то ее спасти.

Но ни Нагасава, ни я сделать этого не смогли. Хацуми, как и многие мои знакомые, будто внезапно очнувшись на некоем жизненном этапе, лишила себя жизни. Через два года после отъезда Нагасава в Германию она вышла замуж за другого человека, а еще через два – вскрыла себе вены.

О ее смерти мне сообщил не кто иной, как Нагасава. Прислал из Бонна открытку: «Что-то пропало после смерти Хацуми. Очень печально и горько. Даже мне». Я разорвал ее и больше никогда ему не писал.

Мы зашли в маленький бар. Выпили по несколько порций, почти не разговаривая. Как уставшие друг от друга супруги, мы сидели напротив и молча выпивали, грызли орешки. Вскоре заведение наполнилось публикой, и мы решили отсюда уйти. Хацуми хотела заплатить, но приглашал я. Сказав это, я заплатил по счету.

Мы вышли. На улице заметно похолодало. Хацуми накинула на плечи светло-серый кардиган и, по-прежнему молча, шла рядом со мной. Я же засунул руки в карманы и медленно, бесцельно брел по ночному городу. «Прямо как во время прогулок с Наоко», – мелькнуло у меня в голове.

– Ватанабэ, не знаешь, где здесь можно поиграть на бильярде? – внезапно спросила Хацуми.

– Бильярд? – удивленно переспросил я. – Ты играешь на бильярде?

– Да. И неплохо. А ты?

– Разве только в «ёцудама»^[42]. И то... так себе.

– Тогда пойдем.

Мы нашли поблизости бильярдную – в невзрачном домишке, где-то в тупике. Нечего и говорить: наша парочка – Хацуми в своем шикарном платье и я в темно-синем пиджаке и галстук в косую полоску – выделялась на общем фоне. Но Хацуми, не обращая на это ни малейшего внимания, выбрала кий, натерла кончик мелом, достала из сумочки заколку и закрепила челку, чтобы не мешала.

Мы два раза сыграли в «ёцудама». Хацуми действительно оказалась умелым игроком. Мне же мешал толстый бинт на руке. Само собой, она разгромила меня в обеих партиях.

– Хорошо играешь! – восхитился я.

– С виду не скажешь, да?

– Где так научилась?

– Мой дед по отцу любил развлечься, и у него в доме стоял бильярд. Мы с братом ходили к нему в гости и с детских лет катали шары. Когда подросли, дед поделился опытом. Хороший был человек. Стройный, симпатичный. Правда, уже умер. Гордился своей встречей с Диной Дурбин в Нью-Йорке.

Она забила три шара подряд, но на четвертом промахнулась. Я с трудом отыграл один, но смазал на очень легком шаре.

– Из-за повязки, – попыталась успокоить меня Хацуми.

– Просто долго не играл. Два года и пять месяцев не брал кий в руки.

– Почему так точно помнишь?

– Мы играли с другом, и той же ночью он умер. Вот и запомнил.

– И с тех пор перестал играть?

– Нет, не поэтому, – немного подумав, ответил я. – Просто с тех пор не было. Только и всего.

– Отчего умер друг?

– Несчастный случай.

Она сделала еще несколько ударов. Сосредоточенный взгляд просчитывал траектории шаров, выверенная сила удара... Наблюдая за тем, как она откинула назад аккуратно уложенные волосы, блеснув золотом серьги, уверенно поставила ноги, оперлась красивыми пальцами на сукно и ударила по шару, я подумал: во всей замызганной бильярдной есть только один прекрасный уголок. Мы с нею впервые остались наедине, и мне было здорово. Меня будто передвинули на следующую ступень собственной жизни. После третьей партии, которую она снова легко выиграла, на моих бинтах выступила кровь, и мы прекратили.

– Прости меня. Не стоило тебя сюда тащить, – виновато сказала Хацуми.

– Ладно. Не рана – пустяки. К тому же было весело. Очень, – ответил я.

На выходе к нам шагнула худощавая женщина средних лет – видимо, хозяйка заведения, – и сказала Хацуми:

– Хорошо катаешь, дочка!

Та, улыбнувшись, поблагодарила и заплатила за игру.

– Болит? – спросила она, когда мы вышли на улицу.

– Не так чтобы очень.

– Рана открылась?

– Да нормально. Наверное.

– Так. Пошли ко мне. Я проверю и заново перебинтую. У меня для этого есть все, что нужно. Здесь рядом.

Я хотел было ее остановить: мол, не стоит так беспокоиться, – но она возразила: нужна перевязка.

– Или я тебе в тягость? Быстрее хочешь вернуться к себе в общагу? – шутливо спросила она.

– Ничего подобного.

– Тогда не стесняйся, пошли. Здесь совсем рядом.

Дом, в котором жила Хацуми, находился в пятнадцати минутах ходьбы от станции Сибуйа в сторону Эбису. Не роскошный, но очень приличный, с маленьким вестибюлем и лифтом. Хацуми посадила меня за стол, а сама пошла в соседнюю комнату переодеться. Вышла в тренирке с надписью «Принстонский университет», легких брюках и без сережек. Откуда-то достала аптечку, сняла мою повязку, удостоверилась, что рана не открыта, и заново наложила бинт. Причем, очень умело.

– Да ты прямо мастер на все руки.

– Когда-то занималась благотворительностью. Нечто вроде медсестры. Там и научилась.

Перебинтовав мне руку, она достала из холодильника две банки пива. Сама выпила лишь половину, оставив мне полторы. Затем показала альбомы с фотографиями своих клубных подруг. Действительно, среди них оказалось несколько симпатичных.

– Захочешь найти себе подругу – приходи ко мне. Быстро познакомлю.

– Так и сделаю.

– Ты, наверное, считаешь меня старой сводницей? Признавайся.

– В некоторой мере, – честно ответил я и засмеялся. Она тоже. Улыбка ей шла.

- Послушай, Ватанабэ, что ты думаешь? О нас с Нагасавой?
- В каком смысле, «что думаю»?
- Как нам быть... дальше?
- Что бы я ни сказал, ничего не произойдет, – отхлебнув хорошо охлажденного пива, сказал я.
- Ладно, скажи все, что думаешь.
- На твоём месте я бы с ним расстался. Нашел более здравомыслящего человека и жил бы с ним счастливо. Суди сама: как бы по-хорошему ты к нему ни относилась, разве с этим человеком можно стать счастливой? Он – не из тех, кто счастлив сам и с кем счастливы другие. Рядом с ним только испортишь себе нервы. На мой взгляд, уже то, что ты с ним целых три года, – само по себе чудо. Конечно, он мне по-своему нравится. Интересный человек со множеством прекрасных черт. Мне далеко до его способностей и сил. Но его суждения о людях и стиль жизни... как бы это сказать... Общаясь с ним, иногда ловишь себя на мысли, что ходишь по кругу. При этом он идет вперед, поднимается вверх, а я... я толкусь на одном месте. В такие минуты становится очень пусто. Ведь у него действительно совсем другая система. Понимаешь, о чем я?
- Прекрасно понимаю, – сказала Хацуми и достала из холодильника еще одно пиво.
- К тому же, после годичной стажировки он, скорее всего, уедет за границу. Что ты будешь делать? Все это время его ждать? Тем более что он жениться ни на ком не собирается.
- Это я тоже знаю.
- Тогда что я могу тебе сказать... еще?
- Н-да.
- Я медленно налил в стакан пива и выпил.
- Пока мы играли на бильярде, я думал. Я рос в семье один. При этом ни разу не грустил, и не хотел братьев и сестер. Считал, что мне и одному неплохо. Но когда мы с тобой играли, я между делом подумал: хорошо бы иметь такую сестру, как ты. Смышленную и шикарную, которой очень идет платье цвета ночной грусти и золотые серьги, которая хорошо катает шары на бильярде...
- Хацуми радостно улыбнулась и посмотрела мне в лицо.
- Как минимум, за последний год я не слышала ничего приятнее.
- Поэтому я и хочу, чтобы ты была счастлива. – Я даже слегка покраснел. – Но вот что странно. Кажется, что человек, вроде тебя, может быть счастлив с кем угодно. Что тебя тянет к такому, как Нагасава?
- Думаю, так суждено. Я ничего не могу с собой поделать. Говоря

словами Нагасавы, «это все на твоей совести – причем тут я?».

– Да, наверное, – согласился я.

– Только, Ватанабэ, не такая я и умная. Скорее – старомодная дуреха. Плевать мне на системы и совесть. Выйти замуж, каждый вечер падать в объятия любимого человека, нарожать ему детей... Только и всего. А больше мне ничего не нужно...

– А ему нужно совсем другое.

– Люди меняются. Разве не так? – спросила Хацуми.

– Выйти в люди, понюхать порошу, спуститься с небес, повзрослеть, наконец... Ты это имеешь в виду?

– Да. Плюс ко всему, быть может, долгая разлука изменит его чувства ко мне.

– Если бы разговор шел о простом человеке... – сказал я. – Будь он обычный человек, так оно, пожалуй, и произошло бы. Но он – другой. Воля его куда тверже, чем мы даже можем представить, и день за днем он продолжает ее закалять. В ответ на удары судьбы старается стать еще сильнее. Чтобы не идти на попятную, способен глотать слизняков. Что после всего этого ты от него хочешь?

– Мне сейчас остается только ждать, – сказала Хацуми, поставив локти на стол и подперев руками щеки.

– Так сильно его любишь?

– Да, – тут же ответила она.

– Ну ты даешь, – вздохнул я и допил пиво. – Как это, наверное, прекрасно – так безоговорочно кого-нибудь любить...

– Я просто старомодная дура, – сказала Хацуми. – Будешь еще?

– Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Спасибо за пиво и повязку.

Я встал и обувался в прихожей, когда раздался телефонный звонок. Хацуми посмотрела на меня, затем на телефон и опять на меня.

– Спокойной ночи, – сказал я, открыл дверь и вышел. Пока дверь медленно закрывалась, мелькнула Хацуми с трубкой в руке. Я видел ее в последний раз.

Я вернулся в общежитие в половине двенадцатого и напрямую пошел к Нагасаве. Постучав в дверь раз пятнадцать, вспомнил, что сегодня суббота. По субботам Нагасава всегда брал увольнительную – под предлогом поездки к родственникам.

Я вернулся к себе, снял галстук, повесил на вешалку пиджак и брюки, переоделся в пижаму и почистил зубы. Подумал: «Никак завтра опять воскресенье». Такое ощущение, что воскресенье наступает каждые четыре

дня. И через два воскресенья мне исполнится двадцать. Я бухнулся в постель, посмотрел на стенной календарь, и мне стало не по себе.

В воскресенье утром я по обыкновению сел за стол и принялся писать Наоко. Налил в большую кружку кофе, поставил старую пластинку Майлза Дэвиса и просто писал длинное письмо. За окном мелко моросило, в комнате было промозгло, как в океанариуме. Толстый свитер, который я только что достал из гардероба, отдавал нафталином. Сверху на стекле застыла жирная муха. Национальный флаг от безветрия замер, облепив флагшток, как рукав тоги советников^[43]. Забредшая откуда-то во двор худая бурая собака с робкой мордой обнюхивала цветы с края клумбы. Я совершенно не мог понять, зачем собаке в дождь понадобилось их нюхать.

Я сидел за столом и писал письмо. А когда начинала болеть рана на правой руке, откладывал ручку и бессмысленно разглядывал пейзаж за окном – двор под дождем.

Сначала я написал о том, как на работе поранил ладонь. Затем о вечеринке с Хацуми и Нагасавой по случаю его сдачи экзамена на дипломата, пояснив, в какой ресторан ходили и какие там подавали блюда. Еда была вкусной, но по ходу возникла одна неприятная ситуация. И так далее...

Когда дошел до игры на бильярде с Хацуми – немного поколебался, писать или нет про Кидзуки, и в конечном итоге, решил написать. Казалось, я должен был это сделать.

Я отчетливо помню последний удар Кидзуки в тот день, когда он умер. То был очень трудный шар, он требовал «подушки». Я не думал, что Кидзуки вообще попадет. Пожалуй, это вышло как-то случайно, однако удар получился стопроцентный, и на зеленом сукне почти бесшумно столкнулись белый и красный шары. Это и дало последние очки. Красивый впечатляющий удар – я до сих пор его вижу. И вот уже почти два с половиной года я совсем не брал в руки кий.

Однако в ту ночь, когда мы катали шары с Хацуми, я до конца первой партии даже не вспоминал Кидзуки. Что потом, по меньшей мере, меня шокировало. После смерти Кидзуки я думал, что буду вспоминать о нем у бильярдного стола каждый раз. Но вспомнил только после того, как, доиграв первую партию, купил в автомате и выпил банку пепси-колы. Почему я только тогда вспомнил о нем? В бильярдной, куда мы постоянно ходили, тоже

был автомат с напитками, и мы часто играли на банку пепси.

Тем, что я не сразу вспомнил о Кидзуки, я как бы провинился перед ним, сделал ему что-то плохое. В тот момент я поймал себя на мысли, что как бы его бросил. Однако вот что я подумал тем вечером, вернувшись к себе в комнату. С тех пор прошло два с половиной года. Ему по-прежнему семнадцать. Но это не значит, что во мне притупилась память о нем. Его смерть по-прежнему живет во мне, а некоторые его черты стали еще ярче, чем тогда. Я вот что хочу сказать. Мне скоро двадцать. И часть того, что у нас с ним было в 16-17 лет, уже исчезло и больше не вернется, как ни жалею. Вот. Лучше объяснить у меня не получится, но ты должна понять, что я почувствовал и недосказал. Мне кажется, понять это все, кроме тебя, больше никому.

Я думаю о тебе чаще, чем прежде. Сегодня идет дождь. Дождливое воскресенье немного путает мои планы. Когда идет дождь, я не могу стирать, а значит – и гладить. Не могу ни гулять, ни валяться на крыше. И мне ничего не остается – только сидеть за столом, по несколько раз слушать «Kind of Blue» на автоповторе, рассеянно наблюдать за мокрым двором. Как я тебе уже писал, по воскресеньям я не завожу пружину. Вот письмо и получилось жутко длинным. Закругляюсь. Сейчас пойду в столовую на обед. До свидания.

Глава 9

И в следующий понедельник Мидори опять не появилась на лекции. Что же с ней случилось? – подумал я. С нашего последнего телефонного разговора прошло уже десять дней. Я собирался позвонить ей домой, но вспомнил, как она сказала, что найдет меня сама, и отказался от этой затеи.

В четверг в столовой я встретился с Нагасавой. С подносом в руках он сел рядом со мной и пустился извиняться.

– Ладно. Это я должен тебя благодарить за ужин, – сказал я. – Конечно, странная вышла вечеринка. Банкет по случаю трудоустройства...

– Вообще...

И мы, замолкнув, принялись за еду.

– Я помирился с Хацуми, – сказал он.

– Ну и правильно.

– Кажется, я тебе много чего наговорил.

– Что с тобой? Раскаиваешься? Может, заболел?

– Может, – ответил он и два-три раза слегка кивнул. – Кстати, ты что – посоветовал Хацуми расстаться со мной?

– Конечно.

– Ну да...

– Она – хороший человек, – сказал я, отпивая супмисо.

– Знаю. – Нагасава вздохнул. – Не по мне хороший.

Когда раздался зуммер, извещающий о телефонном звонке, я спал как убитый. Другими словами, полностью провалился в иной мир. Даже не мог сразу сообразить, что к чему. Во время сна голова как бы погрузилась в жидкость и мозг, казалось, размяк. Посмотрел на часы – шесть пятнадцать. Интересно, утра или вечера? Как ни силился, не смог вспомнить число и день недели. Посмотрел в окно – флага на шесте не было. Выходит, вечера, – предположил я. Оказывается, подъем флага тоже иногда приносит пользу.

– Ватанабэ, ты сейчас свободен?

– Какой сегодня день?

– Пятница.

– Сейчас вечер?

– Разумеется. Вот чудак... Вечер. Шесть часов... восемнадцать минут.

Действительно, вечер, – подумал я про себя. Точно: завалившись на кровать, я читал книгу и незаметно уснул. Так, пятница, – напряг я мозги, –

по пятницам я не работаю.

– Свободен. Ты где сейчас?

– На Уэно. Сейчас поеду на Синдзюку. Давай где-нибудь там встретимся?

Мы договорились о месте и примерном времени, и я положил трубку.

Когда я вошел в «DUG», Мидори уже сидела с самого края стойки и выпивала. Под мятой мужской курткой светло-стального цвета на ней был тонкий желтый свитер и синие джинсы. На руке виднелись два браслета.

– Что пьешь? – спросил я.

– «Том Коллинз».

Я заказал виски с содовой и заметил у Мидори под ногами большую кожаную сумку.

– Уезжала, только что вернулась, – сказала она.

– Куда ездила?

– В Нару и Аомори^[44].

– За один раз? – удивился я.

– Да ну... Какой бы странной я ни была, сразу и в Аомори, и в Нару я не могу. Разделила на две. В Нару съездила со своим, а по Аомори побродила в одиночестве.

Я глотнул виски с содовой и, чиркнув спичкой, подкурил Мидори ее «Мальборо».

– Наверно, туго пришлось? Похороны, то, се?

– Все просто. Мы к похоронам привыкли. Нужно лишь одеться в черное и сидеть с покорным лицом, а окружающие все сделают сами. Дядюшки, там, соседи. Сами купят выпивку, закажут суси, утешат, поплачут, пошумят, решат, как быть. Куда проще... Пикник да и только. А если вспомнить, как ежедневный уход выматывал, так и есть пикник. Что я, что сестра так устали, что даже не плакали. На душе кошки скребут, а слез-то нет. Правда. А потом за спиной пускают слухи: мол, бездушные дочери, хоть бы слезинку из себя выдавили... Мы ведь даже для приличия не плачем. Могли бы притворяться, но ни за что этого не делаем. Потому что надоели. Все ждут, когда мы заплачем, а мы им назло. Тут мы с сестрой заодно. При разных-то характерах.

Мидори, позвякивая браслетом, подозвала официанта и заказала еще одну порцию «Тома Коллинза» и тарелку орешков.

– Когда закончили поминки, и все разошлись, мы с сестрой пили до самого утра. Полторы бутылки сакэ^[45] выпили. И поносили вдоль и поперек

всех окружающих: дураки, дерьмо, вшивые собаки, свиньи, лицемеры, ворье. Пока не надоело. И, знаешь – так легко на сердце стало.

– Представляю.

– Напились, легли в постель и уснули. Моментально. Один раз телефон звонил, но нас там как будто и не было. Спали как убитые. Встали, заказали на дом суси, съели, посоветовались и решили временно закрыть лавку и заняться, чем душа пожелает. И так натерпелись. Можно и расслабиться немного. Сестра проводила время со своим женихом. Я решила было покувыркаться где-нибудь пару ночей со своим, – сказала Мидори и, замолчав, почесала около уха. – Извини, я не хотела тебя обидеть.

– Ничего. И поехала в Нару?

– Да. Мне Нара с детства нравится.

– Ну и как – покувыркалась?

– Ни разу, – вздохнула Мидори. – Не успела приехать в гостиницу и поставить на пол сумку, как начались месячные. Вот.

Я невольно засмеялся.

– Что смешного? На неделю раньше срока. Хоть плачь, вообще. Наверное, долго была на взводе, вот они и сбились. Он давай сердиться. Такой человек: чуть что – сердится... сразу. Но что тут поделаешь – не по своей же воле. К тому же месячные тяжелые. Первые два дня вообще ничего делать не хотелось. Поэтому в такие дни лучше со мной не встречайся.

– Я-то не против, но как это определить?

– Хорошо. Как начнутся месячные, два-три дня буду носить красную шляпу. Сообразишь? – засмеялась Мидори. – Увидишь меня на улице в красной шляпе – сразу же куда-нибудь убегай.

– Вот бы так все девчонки в мире, – сказал я. – Ну и что же ты делала в Наре?

– А что мне оставалось? Поиграла с оленями^[46], побродила везде и вернулась назад. Вся разбитая. Со своим поругалась и с тех пор больше не виделась. Вернулась в Токио, послонялась два-три дня и решила теперь уже одна съездить в Аомори. В Хироосаки^[47] живет подруга, у которой я остановилась на две ночи. Оттуда съездила на Симоханто^[48], на мыс Таппи^[49]. Хорошие места. Очень. Я делала их описания для путеводителей. Ты там бывал?

– Нет.

– Ну и вот... – Мидори отхлебнула «Тома Коллинза» и обшелушила

орехи. – Пока ездила в одиночестве, вспоминала о тебе. Думала: хорошо, если б ты сейчас оказался рядом.

– Почему?

– Почему? Что значит «почему»? Ты о чем?

– В смысле, почему ты обо мне вспоминала?

– Ты мне просто нравишься. Разве не ясно? Какая еще может быть причина? С кем человек захочет быть рядом, как не с любимым?

– Но ведь у тебя есть парень? Зачем тогда думать обо мне? – потягивая виски с содовой, спросил я.

– Что – если есть парень, о тебе и подумать нельзя?

– Да нет, я не в том смысле.

– Слушай, Ватанабэ. – Мидори направила на меня указательный палец. – Предупреждаю тебя. Во мне за этот месяц столько всего накопилась, что не ровен час прорвется. Поэтому больше меня не обижай. А то я сейчас разревусь. Да так, что не успокоишь. Что скажешь? И буду выть, как зверь, и плевать на все. Я серьезно.

Я кивнул и больше ничего не говорил. Заказал вторую порцию виски с содовой, грыз орехи. Метался в руках бармена шейкер, позвякивали бокалы, громыхал в машине лед, и под такую вот музыку Сара Воэн пела старую песню любви.

– После происшествия с тампоном у нас были натянутые отношения.

– С каким еще тампоном?

– Где-то с месяц назад мы с ним выпивали в компании пяти-шести товарищей. Я рассказала, как одна соседская тетушка чихнула, и у нее выпал тампон. Скажи, смешно?

– Смешно, – согласился я и хмыкнул.

– Всем понравилось. Очень. А он рассердился. Говорит, перестань говорить пошлости. Вот. И все испортил.

– Хм.

– Неплохой человек, но в таких вещах – недалекий, – сказала Мидори. – Например, сердится, стоит мне надеть не белые трусы. Разве это не ограниченность?

– Да-а. Но... это проблема вкуса, – сказал я. – Меня удивляет уже сам факт, что ты понравилась такому человеку. Но об этом я молчу.

– А ты чем занимался?

– Ничем. Тем же самым.

Затем я вспомнил, что пробовал мастурбировать, как и обещал Мидори, думая о ней. И тихо, чтобы никто вокруг не услышал, рассказал ей об этом. Ее лицо засветилось, щелкнули пальцы.

- Ну и как? Получилось?
- По ходу стало стыдно, и я бросил.
- Что, не вставал?
- Нет.

– Нельзя, – искоса глядя на меня, начала Мидори, – нельзя стыдиться. Нужно думать о всяческих пошлостях. Я говорю, можно, значит – можно. В следующий раз позвоню и буду подсказывать: «Да... так хорошо... как сильно... нет... кончаю... а-а-а... нельзя». А ты, слушая меня, попробуешь еще раз.

– Телефон в общежитии стоит в коридоре у входа. Там постоянно снует народ, – пояснил я. – Буду дрочить в таком месте – комендант меня точно пришьет. Без сомнений.

- Ах так, да? Слабо?
- Ничего не слабо. Как-нибудь еще раз попробую.
- Давай.
- Ага.
- Я, наверное, не особо сексуальная? Сама по себе?
- Нет, проблема не в этом, – сказал я. – Как бы тебе объяснить? Все

дело в позиции.

- А у меня чувствительная спина. Когда гладят пальцами.
- Буду знать.

– Может, сходим на мазохистский фильм? Прямо сейчас? Что покруче? – предложила Мидори.

Мы с Мидори зашли в ресторанчик, съели морского угря, потом нашли один из оставшихся на Синдзюку запустелых кинотеатров и посмотрели подряд три фильма только для взрослых. Купили газету, и выяснили, что мазохистские показывают только там. Внутри стоял непонятный запах. На наше счастье, фильм только начался. Несколько мужиков заперли старшую сестру – молодую работницу фирмы, и ее младшую сестру – школьницу старших классов, в каком-то помещении и обращались с ними садистски. Сюжет такой: мужики, пугая старшую сестру изнасилованием, делали с ней, что вздумается, и та постепенно стала махровой мазохисткой. При виде таких извращений у младшей сестры помутился рассудок. Мрачная и гнетущая атмосфера, повторяющиеся ходы. Постепенно мне наскучил этот фильм.

– Я б на месте младшей сестры вряд ли сошла с ума. Наоборот, смотрела бы, чтоб ничего не пропустить, – сказала мне Мидори.

- Пожалуй.
- Тебе, кстати, не кажется, что у младшей сестры для девственницы

слишком темные соски?

– Точно.

Она увлеченно смотрела фильм, как бы въедаясь в него. «Как внимательно она смотрит, а? Можно считать, деньги потрачены не даром...» – с восхищением думал я. Тем временем, Мидори громко сообщала мне все, что ей приходило на ум:

– Смотри, смотри, во, классно! Что делается, а?

Или:

– Какая жуть! Трех одновременно, – так ведь все порвется...

Или:

– Ватанабэ! Я тоже хочу кому-нибудь так сделать.

Мне было куда интереснее следить за ней, чем смотреть кино.

Во время перерыва, когда включили свет, я оглядел зал: кроме Мидори, других женщин не было. Сидевший поблизости студентик, увидев ее, пересел в другой конец зала.

– Ватанабэ, – спросила Мидори, – когдамотришь такое, встает?

– Ну, иногда, – ответил я. – В принципе, такие фильмы для того и снимаются.

– А во время таких сцен у всех зрителей встает, да? Тридцать, там, сорок... враз – оп, и встали. Тебе это не кажется странным?

– Тебя послушаешь – и не кажется.

Второй фильм был пристойнее, но его приличные части оказались еще скучнее, чем в первом. Персонажи обильно ублажали друг друга языками, поэтому всякий раз во время феллацио, куннилингуса и позы «шестьдесят девять» по кинотеатру разносились похлупывания и посасывания. Слушая эти звуки, я ощутил загадочное волнение от того, что вообще живу на этой необыкновенной планете.

– Кто придумывает такие звуки? – спросил я Мидори.

– А мне нравятся, – ответила она.

Там были даже специальные звуки, когда пенис входил в вагину и начинал там двигаться. Признаться, я даже не догадывался об их существовании. Мужчина пыхтел, женщина тяжело дышала и произносила банальности: «хорошо», «сильнее»... Поскрипывала кровать. И такие сцены – одна за другой. Мидори сначала смотрела с интересом, но затем и ей надоело.

– Пойдем отсюда, – предложила она. Мы вышли на улицу и вдохнули полной грудью. Впервые воздух Синдзюку показался мне таким свежим.

– Вот. Развлеклись, – сказала Мидори. – Как-нибудь сходим еще?

– Сколько ни ходи, ничего нового не покажут.

– Ну а что поделаешь? У нас ведь тоже разнообразия маловато.

По сути, так оно и есть.

Затем мы зашли в какой-то бар и выпили еще. Я – виски, Мидори – три или четыре каких-то диких коктейля. Когда вышли на улицу, Мидори заявила, что хочет залезть на дерево.

– Да здесь и деревьев-то нет. К тому же, куда тебе лезть в таком состоянии? – сказал я.

– Вечно ты людей обламываешь. Хочу быть пьяной и пьянею. Разве нельзя? Или думаешь, что выпив, я не смогу залезть на дерево? Хм. Вот залезу на высокое-превысокое дерево и, как цикада, помочусь с верхушки всем на головы.

– Слушай, может, ты в туалет хочешь?

– Ага.

Я привел Мидори в туалет на Синдзюку, заплатил какие-то деньги, отправил ее внутрь, а сам купил в киоске вечерний выпуск газеты. Решил подождать ее с пользой. Но она не выходила. Прошло минут пятнадцать. Я забеспокоился и собрался уже пойти посмотреть, не случилось ли чего, когда она появилась. Слегка побледневшая.

– Прости. Пока сидела, задремала, – сказала Мидори.

– Тебе как? – надевая на нее пальто, спросил я.

– Неважно.

– Я провожу тебя домой, – сказал я. – Вернешься, посидишь в ванне – и спать. Ты устала.

– Не пойду я домой. Все равно там сейчас никого. Не хочу я одна спать в таком месте.

– Вот те на... – сказал я. – И что будем делать?

– Найдем какой-нибудь лав-отель и уснем вместе в обнимку. До самого утра... крепко-крепко. Утром где-нибудь позавтракаем и вместе пойдем в школу.

– И ради этого ты меня с собой позвала?

– Разумеется.

– Чем меня, позвала бы своего парня. Как ни крути, было б лучше. На то и любовники.

– Но я хочу быть с тобой.

– Я не могу, – категорически сказал я. – Во-первых, я должен до двенадцати вернуться в общежитие. Не вернусь – получится самоволка. Один раз такое уже было, и пришлось тяжело. Во-вторых, если я лягу в постель с девчонкой, мне, естественно, захочется. А терпеть я не собираюсь. Глядишь – и не удержусь.

– Свяжешь меня и изнасилуешь сзади?

– Послушай, это не шутки.

– Просто мне грустно. Очень грустно. И перед тобой неудобно. Я лишь требую от тебя, и ничего не даю взамен. Говорю, что в голову взбредет, вызываю, таскаю за собой. Но ты – единственный, с кем я могу себе такое позволить. За все мои двадцать лет жизни никому ни разу не было до меня дела. Ни отец, ни мать со мной не считались, парень – не того сорта человек. Стоит мне закапризничать – сразу сердится. Вот уже и поссорились. И получается, что я такое могу сказать только тебе. Я сейчас и вправду смерть как устала и не знаю, что мне делать. Просто хочется уснуть, чтобы кто-нибудь при этом говорил, какая я хорошая и красивая. Только и всего. Открою глаза – силы вернутся, и больше никогда тебя об этом не попрошу. Ни за что. Потому что я примерная девушка.

– Я ничего не могу поделать.

– Пожалуйста? А то я прямо здесь сяду и зарыдаю. И улягусь в постель с первым, кто меня окликнет.

Делать было нечего. Я позвонил в общежитие и позвал Нагасаву, а его попросил инсценировать мое возвращение: сейчас я как раз с девчонкой.

– Раз такое дело, с удовольствием, – сказал Нагасава. – Переверну твою бирку – якобы ты вернулся. Не беспокойся и не спеши. Утром залезешь через мое окно.

– Извини. Я – твой должник, – сказал я и повесил трубку.

– Ну как, получилось? – спросила Мидори.

– Да... вроде, – глубоко вздохнул я.

– Тогда еще детское время! Пошли в дискотеку?

– Ты разве не устала?

– Раз так вышло – все в порядке.

– Ну-ну, – вырвалось у меня.

И действительно – в танце она, похоже, приходила в себя. Выпила две порции виски с колой и танцевала, пока на лбу не выступил пот.

– Потрясающе! – воскликнула она, отдышавшись за столом. – Давно я так не танцевала. Двигаюсь – и будто душа раскрепощается.

– Со стороны кажется, ты и так все время раскрепощенная.

– Да ну? – задорно сказала она, склонив набок голову. – Вот. Силы вернулись, теперь можно и поесть. Давай съедим какую-нибудь пиццу?

Я повел ее в свою любимую пиццерию, где заказал свежее пиво и пиццу с анчоусами. Сам я есть особо не хотел, поэтому съел четыре из двенадцати кусочков, а остальные уплела она.

– Быстро же ты в себя приходишь. Только что вся бледная еле на ногах стояла, – удивился я.

– Это потому, что мои капризы удовлетворены, – сказала Мидори. – Вот силы и вернулись. Но пицца была вкусная.

– Слушай, правда у тебя сейчас дома никого?

– Ага. Никого. Сестра пошла в гости к подружке и там заночует. Она жуткая трусиха. Когда меня дома нет, спать одна там не может.

– Давай не пойдем в лав-отель? – предложил я. – Там одна тоска. Лучше пошли к тебе. Надеюсь, постель для меня найдется?

Мидори немного подумала и кивнула.

– Хорошо. Пошли домой.

Мы сели в электричку линии Яманотэ и доехали до станции Ооцука. Подняли жалюзи «Книжного магазина Кобаяси», на которых был наклеен листок бумаги «Временно закрыто». По виду, жалюзи не поднимали уже давно, и в мрачной лавке стояла затхлая вонь старой бумаги. Половина стеллажей пустовала, почти все журналы были связаны в стопки для возврата. По сравнению с прошлым разом, магазин показался мне более запустелым и зябким. Как выброшенное на камни судно.

– Торговлей заниматься не собираетесь? – спросил я.

– Продать решили, – резко ответила Мидори. – Деньги поделим с сестрой и сможем жить без посторонней помощи. Сестра через год выйдет замуж. А я три с лишним года буду учиться в институте. Пожалуй, на это время хватит. К тому же, я подрабатываю. А как продадим, снимем где-нибудь квартиру и проживем какое-то время с ней вдвоем.

– И как – продастся?

– Скорее всего. Один наш знакомый собирается заняться пряжей, и недавно им интересовался, – сказала Мидори. – Бедный отец... Работал не покладая рук, заполучил магазин, понемногу расплатился с долгами... И что в результате? Ничего не осталось. Растворилось, как туман.

– Ты осталась.

– Я? – переспросила Мидори и нервно засмеялась. Потом вдохнула полной грудью и выдохнула. – Пошли вверх. Здесь холодно.

Там она усадила меня за стол и включила подогреваться ванну. Я тем временем вскипятил воду и сделал чай. Пока в ванне грелась вода, мы пили его, сидя друг напротив друга. Мидори подперла руками щеки и какое-то время пристально смотрела мне в лицо. Били часы с кукушкой, щелкал термостат, но больше не раздавалось ни звука. На часах было около двенадцати.

– Если присмотреться, у тебя интересное лицо, – сказала Мидори.

– Серьезно? – немного обиделся я.

– Мне больше красавчики нравятся, а твое лицо... в общем... если внимательно разглядеть, начинаешь понимать: ты тоже сойдешь.

– Я сам так порой о себе думаю. Сойду и таким.

– Это... я не хочу тебя обидеть. Просто я не могу толком выразить словами. Поэтому меня часто понимают неправильно. Я хочу сказать, что ты мне нравишься. Кажется, я раньше об этом тебе уже говорила?

– Говорила, – подтвердил я.

– Ну, то есть, я постепенно изучаю мужчин. – Мидори достала из пачки «Мальборо» и закурила. – Мне-то с самого нуля, пожалуй, есть чему поучиться.

– Пожалуй.

– О, вспомнила... Поставишь отцу свечку?

Я пошел за ней в комнату с алтарем, поставил курительную свечку и сложил ладони в молитве.

– А я на днях разделась догола перед отцовской фотографией. Все с себя сняла и неторопливо показала. Такая себе йога. Это, отец, сиськи, а это – писька, – сказала Мидори.

– С чего это ты? – немного опешив, спросил я.

– Так просто. Захотелось. Я ведь наполовину – из спермы отца. Что, и показать нельзя? Смотри, отец, – это и есть твоя дочь. Не на трезвую голову, конечно.

– Хм.

– Пришла сестра, чуть не упала с испугу. Еще бы: перед портретом отца на алтаре, раскинув ноги, сижу я. Кто угодно удивится.

– Пожалуй.

– Ну, я объяснила ей суть. То-то и потому-то. Давай и ты, Момо, садись рядом и покажем отцу на пару. Но она не стала. Только удивилась и ушла. Она в этом смысле человек очень консервативный.

– Что сравнительно порядочно.

– А как тебе показался отец?

– У меня с любым человеком первая встреча выходит непросто. А на этот раз, наедине, тяжести не почувствовалось. Наоборот, было легко. О многом поговорили.

– О чем?

– О Еврипиде.

Мидори засмеялась очень весело.

– Во, чудак! Ну кому в голову взбредет заводить разговоры о Еврипиде у постели умирающего, которого видишь впервые в жизни?

– А разве кто-нибудь еще раздвигает ноги перед портретом покойного отца?

Мидори фыркнула, затем позвонила в колокольчик возле алтаря.

– Спокойной ночи, папа. Мы пока повеселимся. Спи спокойно. Отмучился. Мертвые уже не страдают. А если тебе и сейчас тяжело, пожалуйста богу. Скажи: разве так можно? Увидишься в раю с матерью – расслабься с нею всю. Я видела, какой он у тебя шикарный, когда подмывала. Держись там. Спокойной ночи.

Мы по очереди посидели в ванне и надели пижамы. Мидори дала мне почти новую отцовскую, которая оказалась маловата, но все же лучше, чем вообще ничего. Затем Мидори постелила в комнате с алтарем гостевую постель.

– Не страшно перед алтарем? – спросила она.

– Не страшно. Я же ничего плохого не делал, – улыбнулся я.

– Но пока я не усну, лежи со мной, пообнимаемся?

– Хорошо.

Обнимая ее, я несколько раз чуть не свалился с кровати. Мидори уткнулась носом мне в грудь и обхватила меня руками за пояс. Правой рукой я гладил ее по спине, левой – держался за спинку кровати, чтобы не упасть. Какое там сексуальное возбуждение... У меня перед носом была голова Мидори, и ее короткие волосы иногда щекотали мне ноздри.

– Слышь? Скажи мне что-нибудь? – попросила Мидори, уткнувшись мне в грудь.

– Что, например?

– Что угодно. Чтобы мне стало приятно.

– Ты – хорошенькая.

– Мидори, – сказала она. – Имя добавляй.

– Очень хорошенькая... Мидори, – исправился я.

– Очень – это сколько?

– Хватит, чтобы обрушились горы и высохло море.

Мидори подняла на меня глаза.

– Как странно ты говоришь...

– Трогательно от тебя такое слышать, – рассмеялся я.

– Скажи еще что-нибудь хорошее.

– Я люблю тебя, Мидори.

– Как сильно?

– Как медведя весной.

– Медведя весной... – опять подняла на меня глаза Мидори. – Что это

значит – «медведя весной»?

– Ты бредешь в одиночестве по весеннему лугу. Навстречу тебе выходит медвежонок с мягкой, как бархат, шерсткой и говорит: «Привет, сестричка! Поиграешь со мной в кувырчалки?» И ты весь день с ним в обнимку кувыркаешься со склона холма в зарослях клевера. Разве не прекрасно?

– Очень.

– Вот так я тебя и люблю.

Мидори опять прижалась ко мне и сказала:

– Классно. Если я тебе так нравлюсь, выполнишь все, что я попрошу? И не рассердишься?

– Конечно.

– И будешь меня беречь?

– Конечно, – повторил я и погладил ее короткие и мягкие, как у мальчика, волосы. – Не бойся, все будет хорошо.

– Но мне страшно, – сказала Мидори.

Я нежно обнял ее за плечи, и вскоре они равномерно задвигались, послышалось сонное дыхание. Я осторожно встал, пошел на кухню и выпил банку пива. Спать совершенно не хотелось. Я решил почитать, но ничего похожего на книгу в поле зрения не оказалось. Хотел было сходить в комнату Мидори, взять что-нибудь с полки, но побоялся, что разбужу ее.

Рассеянно попивая пиво, я вспомнил, что здесь вообще-то – книжный магазин. Спустился по лестнице, включил свет и окинул взглядом полки. Интересных книг было мало, большую их часть я уже читал. Однако требовалось хоть что-нибудь, и я выбрал «Под колесами» Германа Гессе: судя по выцветшей обложке, стояла она здесь целую вечность. Возле кассы я оставил деньги, сколько значилось на ценнике. По крайней мере, книжные запасы магазина Кобаяси хоть немного, но сократились.

Я сидел за столом на кухне, пил пиво и читал «Под колесами». Первый раз она мне попала в тот год, когда я перешел в среднюю школу. И вот, спустя восемь лет я читаю ночью ту же самую книгу на кухне в доме девушки, одетый в пижаму ее покойного отца, которая мне жмет. Странное дело. В иной ситуации я вряд ли стал бы перечитывать «Под колесами».

Повесть хоть и старая, но неплохая. Я неспешно и с интересом строчку за строчкой перечитывал эту книгу в полуночной тишине кухни. На полке стояла бутылка коньяка, покрытая слоем пыли. Я отлил немного в кофейную чашку и выпил. Коньяк согрел тело, но сонливости так и не вызвал.

Около трех я потихоньку сходил проверить Мидори. Она, по-

видимому, очень устала, потому что спала крепко. Фонарь торгового квартала за окном освещал кухню белым светом, будто луна. Мидори спала к нему спиной. Тело ее не шевелилось, словно заledenело. Только нагнувшись над нею, я уловил посапывание. «Поза – совсем как у отца», – подумал я.

Возле кровати так и лежала брошенная дорожная сумка, со спинки стула свисала куртка. На столе все аккуратно прибрано, на стене висит календарь со Снупи. Я приоткрыл штору и посмотрел на забытую торговую улицу. Во всех магазинах были опущены жалюзи, и лишь автоматы винной лавки, будто съезжившись в ряд, терпеливо ждали рассвета^[50]. Иногда воздух шелестел шинами дальнбойщиков. Я вернулся на кухню, выпил еще немного коньяку и опять раскрыл «Под колесами».

Когда я закончил книгу, начало светать. Я вскипятил чайник, выпил растворимого кофе и написал в блокноте на столе записку. «Выпил немного коньяку, купил “Под колесами”, уже рассвело, и я пойду к себе. До свидания». Потом подумал и приписал: «Ты такая милая во сне». Затем я вымыл чашку, потушил на кухне свет, спустился по лестнице, тихонько приподнял жалюзи и вышел наружу. Подумал было: вдруг соседи решат, что я взломщик, – но в шестом часу утра на улице никого не оказалось. На меня покосились только собравшиеся на крыше вороны. Я бросил прощальный взгляд на окно комнаты Мидори с бледно-розовыми занавесками, добрался до станции электрички, вышел на конечной и пошел в общагу пешком. Работала небольшая забегаловка, в которой я съел комплексный завтрак: теплый рис, суп-мисо, немного овощей под маринадом и глазунью. Обошел территорию с тыла, тихонько постучал в окно Нагасавы на первом этаже. Тот сразу же открыл створку и впустил меня к себе в комнату.

– Может, кофе? – спросил он, но я отказался, поблагодарил его и пошел к себе. Там почистил зубы, снял брюки и, нырнув в постель, крепко закрыл глаза. Вскоре пришел сон без сновидений – тяжелый, как свинцовые ворота.

Я каждую неделю писал Наоко и уже получил от нее несколько ответов. Сравнительно короткие письма. В одном из них было:

Наступил ноябрь, утром и вечером уже холодно.

Почти сразу, как ты вернулся в Токио, пришла осень. Кажется, внутри у меня образовалась глубокая дыра, и я долго не могла понять: то ли это потому, что тебя нет рядом, то ли из-за

смены времен года. Мы с Рэйко часто говорим о тебе. Она тоже передает тебе привет. Она по-прежнему ко мне внимательна. Если бы не она, я бы здесь не выдержала. Когда становится печально, я плачу. Рэйко говорит: это хорошо, что я могу плакать. Но печаль очень трудно выдерживать. Когда мне печально, из мрака ночи ко мне обращаются разные люди. Будто стонут ночью от ветра деревья – так разные люди пытаются со мной заговорить. И я часто разговариваю с Кидзуки и своей старшей сестрой. Им, оказывается, тоже печально и хочется найти собеседника.

Иногда в такие тяжкие печальные вечера я перечитываю твои письма. Многие вещи внешнего мира меня беспокоят, но то, что происходит в твоём мире, меня очень успокаивает. Странно, да? Интересно, почему? Поэтому я их перечитываю по много раз, и даю почитать Рэйко. А потом мы о них разговариваем. Мне очень нравится то место, где ты пишешь об отце Мидори. Твои письма раз в неделю мы очень ждем: они тут вообще – как редкое развлечение.

Я тоже стараюсь находить на них время, но как только вижу перед собой листки бумаги, настроение сразу пропадает. Это письмо, например, я пишу, собрав в кулак всю свою волю. Потому что Рэйко ругает меня за долгое молчание. Только не пойми меня неправильно. Я о многом хочу тебе рассказать и написать – просто не могу это выразить. Поэтому письма для меня – тяжкий труд.

Мидори, судя по твоим письмам, – человек интересный. Я прочла твое письмо, и мне показалось, что ты ей нравишься. Сказала об этом Рэйко, а в ответ: «Разумеется. Мне он тоже нравится». Мы каждый день собираем грибы и каштаны, а потом их едим. Целыми днями рис – то с каштанами, то с грибами. Так вкусно, что едим – не наедемся. Правда, Рэйко по-прежнему ест мало, и только курит свои сигареты. Птицы и кролики живы-здоровы. До свидания.

Через три дня после моего двадцатилетия принесли посылку от Наоко. В посылке был виноградного цвета свитер с воротником и письмо.

Поздравляю с Днем рождения, – писала Наоко. – Желаю, чтобы твое двадцатилетие прошло счастливо. Мое, кажется, так жутко и закончится, поэтому буду рада, если ты будешь счастлив

вдвойне – и за меня тоже. Правда. Свитер я связала напололам с Рэйко. Если б я вязала одна, то как раз поспела бы ко Дню святого Валентина. Половина, связанная красиво, – дело рук Рэйко, а та, что похуже, – моя. За что бы она ни бралась, все выходит очень умело и, глядя на нее, я начинаю себя глубоко ненавидеть. Еще бы – мне совсем нечем похвалиться. До свидания. Будь здоров.

В письме имелась короткая приписка от Рэйко.

Привет! Для тебя Наоко, возможно, – предел счастья, а для меня – просто девчонка, у которой руки растут не из того места. Ладно, кое-как успели доделать свитер вовремя. Как, нравится? Цвет и стиль выбирали вдвоем. С Днем рожденья!

Глава 10

1969 год почему-то напоминает мне трясину. Глубокую липкую топь, в которой при каждом шаге вязнут ноги. И я с трудом бреду по этой грязи. Ни впереди, ни позади ничего не видно. И только бесконечно тянется темная трясина.

Даже само время текло неравномерно – под стать моим шагам. Все двигались вперед, и только я и мое время ползали по кругу в этой жиже. Менялся мир вокруг меня. В ту пору умер Колтрейн и многие другие. Люди призывали к переменам. И перемены, казалось, уже поджидали за углом. Но все эти события – не более чем бессмысленный и нереальный фон. И я провожу день за днем, почти не поднимая лица. В моих глазах отражается лишь бескрайняя трясина. Ставлю вперед правую ногу, поднимаю левую, ставлю ее и опять поднимаю правую. Я не могу определить, где нахожусь сейчас, не могу проверить, туда ли вообще я иду. Просто нужно куда-нибудь идти – и я иду. Шаг за шагом.

Мне исполнилось двадцать. Осень сменилась зимой, и только в моей жизни не происходило никаких стоящих перемен. Я безо всякого интереса ходил в институт, три раза в неделю подрабатывал, иногда перечитывал «Великого Гэтсби», а по воскресеньям занимался стиркой и писал Наоко длинные письма. Иногда встречался с Мидори, мы где-нибудь вместе обедали, ходили в зоопарк, в кино. Продажа «Книжного магазина Кобаяси» завершилась успешно. Мидори с сестрой сняли двухкомнатную квартиру в районе метро Мёгадани. «Когда сестра выйдет замуж, снимет себе другую», – сказала Мидори. Меня даже один раз пригласили на обед. Красивая солнечная квартира. Похоже, Мидори в ней жилось куда приятней, чем в «Книжном магазине Кобаяси».

Нагасава несколько раз приглашал меня развлечься, но я всегда находил причину и отказывался. Просто мне это все осточертело. Совсем не значит, что я охладел к женскому полу, но сами пьяные поиски подходящей девчонки, разговоры, походы в гостиницу мне порядком надоели. Вместе с тем, я с новой силой зауважал Нагасаву, которому не надоедало бесконечно заниматься этим делом. Возможно, на меня повлияли слова Хацуми, но чем спать с неведомыми дурочками, я был гораздо счастливее, вспоминая о Наоко. И я по-прежнему помнил ее пальцы, когда она помогла мне кончить на том лугу.

В начале декабря я написал Наоко письмо, в котором спрашивал, не

возражает ли она, если я приеду на зимние каникулы. Ответ пришел от Рэйко. «Мы рады и с нетерпением ждем твоего приезда. У Наоко сейчас плохо получается писать, и я отвечаю вместо нее. Не переживай – с ней ничего страшного. Просто очередная волна».

Наступили каникулы, я собрал рюкзак, обул зимние ботинки и поехал в Киото. Как и обещал странный врач, окутанные снегом горы – просто чудо. Я, как и в прошлый раз, остановился на две ночи в комнате Рэйко и Наоко и почти так же провел там три дня. Когда темнело, Рэйко играла на гитаре, и мы втроем разговаривали. Вместо обеденного пикника сходили на лыжах. После часа лыжной прогулки по горам у меня сорвало дыхалку, и я весь взмок. В свободное время я помогал остальным убирать снег. Тот странный врач по фамилии Томита опять подсел к нашему столику за ужином и рассказывал, почему средний палец руки длиннее указательного, а на ногах – наоборот. Привратник Оомура опять вспоминал о токийской свинине. Рэйко очень обрадовалась пластинкам, которые я привез в подарок, сразу же сняла несколько мелодий и начала играть их на гитаре.

По сравнению с моим осенним приездом, Наоко стала намного молчаливей. Когда мы собирались втроем, она почти не разговаривала и только улыбалась с дивана. Рэйко говорила за двоих.

– Не переживай, – успокаивала меня Наоко, – сейчас такой период. Чем говорить самой, мне куда приятней слушать тебя.

Когда Рэйко под каким-то предлогом куда-то ушла, мы с Наоко обнялись на кровати. Я целовал ее шею, плечи, груди, и она, как и в прошлый раз, помогла мне кончить. Сняв напряжение, я рассказал Наоко, что помнил все эти два месяца прикосновение ее пальцев, и мастурбировал, думая о ней.

– Что, ни с кем не спал? – спросила она.

– Нет.

– Тогда запомни и это, – сказала она, опустилась ниже, ласково коснулась губами моего пениса, а затем окутала его теплом. Язык ее шевелился, прямые волосы касались моего паха и, словно перышком, поглаживали его в такт движениям ее губ. Я кончил второй раз.

– Как, запомнится? – спросила потом Наоко.

– Конечно. Навсегда.

Я обнял ее, запустил палец под ее трусики и нащупал вагину, но в этот раз она оказалась сухой. Наоко покачала головой и отстранила мою руку. И мы некоторое время молча обнимались.

– После этого учебного года хочу съехать из общежития и поискать где-нибудь квартиру, – сказал я. – Общажная жизнь уже порядком надоела.

Если подрабатывать, на жизнь хватит. Вот. Если хочешь, давай будем жить вместе? Как я предлагал тебе раньше.

– Спасибо. Я очень рада твоим словам, – ответила Наоко.

– Здесь совсем неплохое место. Тихо, идеально, Рэйко – хороший человек. Но тут нельзя находиться долго. Слишком оно особенное, чтобы долго в нем быть. И чем дольше здесь живешь, тем потом труднее будет выйти.

Наоко молча смотрела в окно. Там виднелся один лишь снег. Низко нависали свинцовые тучи, и между заснеженной равниной и небом зазор оставался совсем ничтожный.

– Подумай, не спеши, – сказал я. – В любом случае, до марта я перееду, поэтому если хочешь перебраться ко мне, можешь сделать это в любое удобное время.

Наоко кивнула. Я нежно обнимал ее – будто держал в руках хрупкое стекло. Она обвила мою шею руками. Я был голый, она – в одних узеньких белых трусиках. Сколько ни смотри, насмотреться на ее тело вдоволь невозможно.

– Почему у меня не влажно? – тихо спросила Наоко. – Со мной так было только один раз. Тогда. В апреле – на мое двадцатилетие. В ту ночь, когда ты был со мной. Почему больше не получается?

– Это от нервов. Со временем все станет нормально. Главное – не торопиться.

– Все мои проблемы – от нервов, – сказала Наоко. – Если у меня всю жизнь будет сухо, если я всю жизнь не смогу заниматься сексом, ты все равно будешь меня любить? Хватит губ и пальцев? Или будешь искать секса с другими девчонками?

– Я, по своей сути, – оптимист.

Наоко уселась на кровати, натянула через голову майку, затем – фланелевую рубашку и синие джинсы. Я тоже оделся.

– Дай мне время спокойно подумать, – сказала Наоко. – И сам подумай, не спеши.

– Подумаю, – ответил я. – Как классно ты делаешь ртом...

Наоко немного покраснела, улыбнулась.

– Кидзуки мне тоже это говорил.

– У нас с ним совпадают и мнения, и интересы, – сказал я и засмеялся.

Мы сели на кухне за стол, пили кофе и вспоминали прошлое. О Кидзуки она уже могла думать без боли. Говорила, медленно подбирая слова. Прекращался и снова сыпал снег, но за три дня ни разу не распогодилось.

- Скорее всего, смогу приехать в марте, – сказал я на прощание.
- Затем обнял ее поверх толстого пальто и поцеловал.
- До свидания, – сказала Наоко.

Настал режущий ухо тысяча девятьсот семидесятый год, который поставил окончательную точку на моем отрочестве. Я вступил в новую трясину. В конце учебного года проводились экзамены, которые я сравнительно легко преодолел. Другого занятия у меня все равно не было, я почти каждый день ходил в институт и спокойно сдал сессию без какой-либо особой подготовки.

Тем временем в общежитии случилось несколько происшествий. Сектанты прятали у себя в комнатах шлемы и железные прутья и на этой почве повздорили с воспитанниками начальника общежития из спортивной секции. Двое получили увечья, шестерых выгнали из общежития. Это происшествие имело последствия, и почти каждый день то там, то тут происходили небольшие стычки. В общежитии поселилось напряжение, все были на взводе. Я тоже едва не попал под горячую руку спортсменам, но вовремя возник Нагасава и заступился за меня. В любом случае, пора было оттуда съезжать.

Сдав сессию, я всерьез занялся поисками жилья. И спустя неделю нашел в пригороде Кичидзёдзи подходящую по стоимости комнату. Далеко от станции, правда, но отдельный дом. Что называется, повезло. Флигель этот одиноко стоял в дальнем углу большого участка, и между ним и домом простирался сильно запущенный сад. Хозяева пользовались входом с улицы, я – черным ходом. Простор для любой личной жизни. Одна комната, кухня и туалет, вдобавок ко всему – огромный альков, превосходящий все мыслимые габариты. Имелась даже веранда, выходившая в сад. К хозяевам в Токио на будущий год, возможно, приедет внук, поэтому комнату придется освободить, и квартплата была намного ниже обычного. Хозяева – добродушная пожилая пара. Они сказали мне: «Живи как хочешь, мы тебе слова не скажем».

Переехать мне помог Нагасава. Взял где-то напрокат малолитражный грузовичок, перевез мои вещи и, как обещал, отдал свой холодильник, телевизор и большой термос. Для меня это был хороший подарок. Через два дня он сам съезжал из общежития в квартиру на Мита.

– Ладно. Думаю, встретиться нам уже не придется. Будь здоров, – сказал он на прощанье. – Но, как я тебе, вроде, уже говорил, мы наверняка встретимся с тобой спустя много лет при странных обстоятельствах.

- Было бы неплохо.

– Кстати, когда мы менялись, та, которая страшненькая, была лучше.
– Согласен, – хмыкнул я. – Правда тебе лучше побережь Хацуми. Такими людьми не разбрасываются. Она куда ранимее, чем на первый взгляд.

– Да. Знаю, – кивнул он. – Поэтому, если честно, лучше бы она досталась тебе. Думаю, у вас бы получилось.

– Ты шутишь? – изумился я.

– Шучу, – сказал Нагасава. – Ну, счастливо. Всякое может быть, но ты парень упрямый. Думаю, все у тебя будет в порядке. Только... один тебе совет...

– Какой?

– Не жалея себя, – сказал он. – Себя жалеют только ничтожества.

– Я запомню.

Мы пожали руки и расстались. Он отправился в новый мир, я – назад в свою трясину.

Через три дня после переезда я написал письмо Наоко. Сообщил новый адрес, рассказал, что наконец-то выбрался из общажной суматохи и рад тому, что больше не придется иметь дело со всякой галиматейей ничтожных личностей. С этого момента я собираюсь с новым духом начать новую жизнь.

За окном расстилается широкий сад, в котором собираются все окрестные коты. Когда есть время, я заваливаюсь на веранде и смотрю на них. Сколько их там – не знаю, но много. Они греются на солнцепеке и, похоже, не обращают на меня никакого внимания. Положил им черствого сыра – подошли и с опаской съели. Думаю, вскоре я с ними подружусь. Среди них есть один полосатый кот с надорванным ухом. Так вот, он на удивление похож на коменданта общежития. Кажется, вот-вот начнет в саду флаг поднимать.

Добираться до института мне сейчас дальше, но когда начнется специализация, утренних лекций поубавится, к тому же, проблемы тут вообще нет. Наоборот хорошо – в электричке можно не спеша читать книги. Осталось только найти в районе Кичидзёдзи какую-нибудь нетяжелую работенку на три-четыре дня в неделю. И я смогу вернуться к привычной жизни и буду каждый день заводить пружину.

Не хочу торопиться с выводами, но весна для меня – пора

года, подходящая для начинаний, и мне кажется, будет лучше всего, если мы сможем с апреля начать жить вместе. Глядишь, ты восстановишься в институте, а если у нас в совместной жизни возникнут сложности, можно поискать для тебя поблизости квартиру. Самое главное – мы сможем всегда быть рядом. Конечно, не значит, что для этого необходима весна. Если захочешь летом, пусть будет лето. Нет проблем. Ответь мне, что ты об этом думаешь.

Я намерен серьезно поработать, чтобы собрать деньги на переезд. Самостоятельная жизнь потребует немало разных расходов. Нужно купить всякие кастрюли, посуду и прочую утварь. Но к марту я освобожусь и хочу с тобой встретиться. Сообщи, когда лучше всего? Я подгадаю день и поеду в Киото. С надеждой на встречу. Жду письма.

Затем два-три дня я понемногу покупал в Кичидзёдзи все необходимое для жизни, и начал готовить дома простую еду. В соседнем магазинчике стройматериалов купил доски, которые мне там же распилили, и своими руками сделал рабочий стол, за которым же первое время и обедал. Сделал себе полки, купил приправы. Ко мне прибился полугодовалый белый котенок, я начал его подкармливать и назвал Чайкой.

Покончив с приготовлениями, я выбрался в город, где нашел себе подработку в магазине красок и проработал две недели помощником маляра. Деньги платили хорошие, но сама работа оказалась тяжелой – голова кружилась от запаха ацетона. После работы я ужинал в ресторанчике «Ичидзэнъя», пил пиво, возвращался домой, играл с котенком и засыпал как убитый. Прошло две недели. Наоко не отвечала.

Как-то, орудуя кистью, я внезапно вспомнил о Мидори. Если подумать, я не звонил ей уже три недели и даже не сообщил о переезде. В последнюю нашу встречу я сказал, что собираюсь переезжать, а потом пропал.

Я зашел в телефонную будку и набрал номер ее квартиры. Ответил голос, похоже – сестринский. Я представился, и она попросила подождать. Однако время текло, а Мидори к телефону не подходила.

– Знаешь, Мидори очень сердится и не хочет с тобой разговаривать, – возник в трубке тот же голос. – Ты не сказал ей о переезде. Исчез с концами, да? Вот она и разозлилась. Она если сердится, то уже не успокаивается. Как зверек.

– Я все объясню, попросите ее к телефону.

– Говорит, что не хочет слышать никаких объяснений.

– Тогда я объясню сейчас, а вы, пожалуйста, передайте Мидори.

– Чего ради? – возмутился голос. – Объясняй это сам. Ты же мужчина? Вот и отвечай за свои поступки.

Делать нечего – я извинился и повесил трубку. Ничего странного в гнев Мидори нет. Занятый переездом, обустройством, подработкой, я совершенно не вспоминал о ней. Что там говорить – даже Наоко я почти не вспоминал. За мной давно такое водилось: увлекись чем-нибудь и ничего не вижу вокруг.

Потом я подумал, каково было бы мне самому, переедь Мидори куда-нибудь, не сообщив адреса, и не звони мне целых три недели. Пожалуй, тоже бы обиделся. Причем, серьезно. Хотя мы и не любовники, но в каком-то смысле – еще ближе друг другу. От одной этой мысли мне стало мучительно. Очень это паршиво – не сознавая того, оскорбить чувства человека, тем паче, дорогого.

Вернувшись с работы, я сел за новый стол и принялся за письмо Мидори. Как есть откровенно написал все, что думаю. Не стал ни оправдываться, ни чего-либо объяснять. Просто извинился за собственную невнимательность и бессердечность. «Очень хочу тебя видеть. Хочу, чтобы ты посмотрела мое новое жилье. Жду ответа». Наклеил марку срочной доставки и опустил письмо в ящик.

Но сколько я ни ждал, ответа не было.

Странное начало весны. Все весенние каникулы я прождал ответ. Не пошел в поход, не вернулся домой к родителям, даже подрабатывать не мог. Ждал, когда же придет ответ, в котором Наоко сообщит о дате нашей встречи. Днем я выходил в город, смотрел двухсерийные фильмы, читал целыми днями книги в джаз-кафе. Ни с кем не встречался и почти ни с кем не разговаривал. И раз в неделю писал письма Наоко. В письмах я не напоминал об ответе. Не хотелось ее подгонять. Я писал о своей малярной работе, о котенке по имени Чайка, о цветении персиков в саду, о приветливой тетушке из магазина тофу и о сварливой из овощной лавки. Писал, что обычно себе готовлю. Но ответа все не было.

Когда надоедало читать книги или слушать пластинки, я постепенно начал заниматься садом. Взял у хозяев метлу, грабли, совок и секатор. Прополол сорняки, обрезал вытянувшиеся побеги. Стоило лишь немного приложить руки, и сад похорошел. Заметив это, хозяин позвал меня и предложил попить чаю. Мы расположились на веранде и пили чай, ели печенье, беседовали о разном. Выйдя на пенсию, старик некоторое время входил в руководство страховой компании, но два года назад ушел и сейчас жил в свое удовольствие.

– Дом и земля мне достались давно, дети выросли и живут самостоятельно. Можно, ничего не делая, спокойно проводить старость. Поэтому часто мы со старухой путешествуем.

– Это хорошо, – сказал я.

– Ничего хорошего. От этих путешествий радости никакой. По мне бы лучше работать. Сад пошел коту под хвост, потому что в окрестностях нет приличного садовника. Заниматься бы самому помаленьку, да у меня в последнее время аллергия на зелень. Даже траву пошевелить не могу.

– Вот оно что, – вставил я.

Напившись чаю, хозяин показал мне сарай и сказал:

– Этого, конечно, для благодарности маловато, но тем, что здесь лежит, никто не пользуется. Возьми, если что тебе пригодится.

Сарай оказался набит всякой всячиной: от ушата и детского бассейна до бейсбольной биты. Я нашел старый велосипед, средних размеров стол с двумя стульями, трюмо и гитару.

– Можно вот это? – спросил я.

– Бери, что захочешь.

Я потратил весь день, очистил велосипед от ржавчины, смазал его, накачал шины, настроил скорости, в магазине мне поменяли тормозные тросы, и велосипед стал как новый. Затем я вытер со стола толстый слой пыли, заново отлакировал. Поменял на гитаре все струны, подклеил места на корпусе, которые начали было отставать. Специальной щеткой удалил ржавчину, подправил гриф. Гитара была простой, но строить стала правильно. Если вспомнить, я не брал инструмент в руки со школьной поры. Усевшись на веранде, я медленно перебирал струны, пытаюсь вспомнить мелодию «Дрифтерз» «Up On The Roof», которую когда-то разучивал. На удивление, я помнил почти все аккорды.

Затем из остатков досок я смастерил себе почтовый ящик, покрасил его красной краской, написал имя и повесил перед входом. Но до третьего апреля в него опустили только переадресованную открытку, извещающую о вечере-встрече выпускников старшей школы, на который я бы все равно ни за что не пошел. Почему? В этом классе со мной учился Кидзуки. Открытка моментально полетела в мусорное ведро.

А четвертого апреля после обеда принесли письмо. Оказалось – от Рэйко. На обратной стороне конверта стояло ее полное имя – Исида Рэйко. Я аккуратно отрезал ножницами край, сел на веранде и принялся читать. Я, конечно, предчувствовал нерадостные новости, а начал читать – так оно и оказалось.

В первых строчках Рэйко извинилась за поздний ответ.

Наоко долго боролась с собой, чтобы тебе написать, но так и не смогла. Я несколько раз предлагала сделать это за нее, говорила, что нельзя так долго заставлять ждать, но Наоко уперлась: мол, это – личное, – и продолжала меня уверять, что напишет сама. Вот так время и ушло. Прости, если сможешь, – писала Рэйко.

Ты, наверное, устал ждать целый месяц. Для Наоко тоже этот месяц оказался очень тяжелым. Пойми ее правильно. Признаться, состояние у нее сейчас неважное. Она пыталась своими силами встать на ноги, но результат по-прежнему плохой.

Если подумать, первым звоночком стала неспособность писать письма. Где-то с конца ноября – начала декабря. Затем постепенно начались слуховые галлюцинации. Когда она садилась за письмо, с ней заговаривали разные люди и мешали писать. Она хочет подобрать слово, а они ей мешают. Однако до твоего второго приезда болезнь протекала относительно легко. К тому же, по правде говоря, я не придавала ей серьезного значения. Нас всех беспокоит, в определенной степени, похожий цикл. Но после твоего отъезда состояние заметно ухудшилось. Она даже разговаривает сейчас с трудом. Не может найти слова. К тому же, Наоко сейчас в жутком смятении. Боится и паникует. И слуховые галлюцинации все сильнее.

Мы каждый день проводим групповые собеседования с врачом. Тем самым мы втроем (Наоко, я и врач) всякими разговорами пытаемся найти в ее мозгу поврежденные места наверняка. Я предлагала проводить собеседования и с тобой, да и врач согласился. Против была только Наоко. По ее словам, причина в следующем: «Если встречаться, то не в таком состоянии». Я пыталась ее убедить, что проблема не в этом, а в скорейшем выздоровлении, но она не передумала.

Кажется, я тебе уже говорила, здесь – не специализированная больница. Несомненно, есть квалифицированные врачи, которые лечат эффективно, однако интенсивная терапия здесь проблематична. Цель этого заведения – создание продуктивной среды для самовыздоровления, и медицинское лечение здесь не предусмотрено. Поэтому если состояние Наоко будет ухудшаться дальше, ее придется перевести в другую больницу или клинику. Хоть мне и горько, но это – вынужденная мера. Естественно, если

до этого дойдет, она будет числиться во временной «командировке» и может затем вернуться обратно. А если все будет складываться удачно, так и выздоровеет, и выпишется. Во всяком случае, мы стараемся изо всех сил, и Наоко тоже держится как может. Молись за ее выздоровление. И продолжай, как обычно, писать письма.

31 марта.

Исида Рэйко.

Дочитав письмо, я продолжал сидеть на веранде, разглядывая по-весеннему преобразившийся сад. Почти полностью раскрылись лепестки старой сакуры, нежно дул ветерок, странными оттенками тускнели солнечные лучи. Спустя некоторое время откуда-то вернулся Чайка, поточил о доски веранды когти, вальяжно вытянулся возле меня и уснул.

Я решил о чем-нибудь подумать, но о чем и как – не знал. К тому же, по правде сказать, ни о чем думать не хотелось. Еще настанет время, когда мне придется о чем-нибудь думать, тогда и буду. По меньшей мере, *сейчас* думать не хотелось ни о чем.

Прислонившись к столбу веранды, я весь день просидел, созерцая сад и поглаживая Чайку. Казалось, все силы покинули тело. Шло время, начало смеркаться, вскоре двор погрузился в темноту. Исчез куда-то Чайка, а я продолжал рассматривать лепестки сакуры. В мраке весны они казались мне гноящейся плотью, выпирающей из потрескавшейся кожи. Двор был наполнен тяжелым сладковатым смрадом мириадом тел. Я подумал о теле Наоко. Красивая, она лежала во мраке на боку, и из тела ее росли бесчисленные побеги. Они тихо покачивались и подрагивали от слабых порывов налетающего откуда-то ветра. Почему это красивое должно болеть? Почему Наоко не оставят в покое?

Я вернулся в комнату, задернул шторы, но и здесь витал запах весны. Им пропиталась земля, но мне он казался смрадом. В комнате с задернутыми шторами я ненавидел весну. Я ненавидел все, что принесла мне весна, ненавидел тупую боль, которую она вызвала в моем теле. Я никогда и ничего так сильно не мог ненавидеть.

Три последующих дня – очень странных дня – я провел так, будто брел по морскому дну. Я толком не слышал, если ко мне обращались; а когда начинал говорить сам, не могли расслышать меня. Такое ощущение, что все мое тело плотно затянули плевой, из-за которой не удавалось соприкасаться

со внешним миром. Однако вместе с тем, *они* тоже не могли меня коснуться. Я и сам был беспомощен, и они ничего не могли со мной сделать.

Опираясь на стену, я рассеянно смотрел в потолок. Когда хотелось есть – грыз, что было, хлебал воду, становилось грустно – пил виски и спал. Не мылся и не брился. И провел так три дня.

Шестого апреля от Мидори пришло письмо. «Десятого – выбор предметов на семестр. Давай встретимся во дворе института и где-нибудь пообедаем? – писала она. – Я долго не писала, но теперь мы квиты. Давай мириться. Все-таки без тебя мне скучно». Я четыре раза перечитал письмо, но так и не понял, что она имела в виду. К чему оно... вообще? Голова отказывалась работать, и я не мог толком связать одну фразу с другой. Почему мы должны мириться в день выбора предметов? Зачем она собирается вместе со мной обедать? «Неужели тупею?» – подумал я. Сознание ослабло и вздулось, подобно корню ночного растения. «Так не годится, – промелькнуло в мутной голове. – Так не может длиться до бесконечности. Нужно что-то делать». Вдруг вспомнились слова Нагасавы: «Не жалея себя. Себя жалеют только ничтожества».

– Какой ты все-таки умница, Нагасава, – вздохнул я и поднялся.

Я наконец постирал белье, принял ванну, побрился, прибрал комнату, купил продукты, сделал нормальную еду себе и накормил отощавшего Чайку. Ничего крепче пива не употреблял, делал полчасовую зарядку. За бритьем из зеркала на меня смотрело до неузнаваемости осунувшееся лицо. Чудовищно таращились словно чужие глаза.

На следующее утро я сел на велосипед и поехал немного прокатиться. Вернувшись, пообедал и еще раз перечитал письмо Рэйко. Голова была занята только одним: «Как мне быть дальше?» После ее письма в один миг рухнула надежда на постепенное выздоровление Наоко. Она сама говорила, что болезнь пустила глубокие корни, да и Рэйко считала, что всякое может произойти. Но после двух моих встреч с Наоко сложилось впечатление, будто ей становится лучше, и единственная проблема – набраться смелости для возвращения в реальный мир. Наберись она этой смелости, и нам любые сложности нипочем.

Однако возведенный на таком зыбком предположении воздушный замок в одночасье разрушило письмо Рэйко. Осталась лишь бесчувственная плоскость. Мне предстояло исправить положение. «Теперь, чтобы поправиться, Наоко потребуется немало времени, – думал я. – Допустим, она вернется, однако при этом будет намного слабее и нерешительнее, чем прежде». И мне самому предстояло подстроиться под новую ситуацию.

Конечно, я понимал, что все проблемы не разрешатся только потому, что я стану сильнее. В любом случае, мне оставалось лишь собраться с духом и ждать дальше, пока она не пойдет на поправку.

Эй, Кидзуки! В отличие от тебя, я выбрал жизнь, и собираюсь жить по-своему – как смогу. Тебе было тяжело, но и мне приходится несладко. Я серьезно. А все потому, что ты умер, оставив Наоко. Но я ее не брошу. Потому что я ее люблю. И я – сильнее, чем она. И собираюсь стать еще сильнее. И вырасту. И стану взрослым. Потому что иначе нельзя. До сих пор я хотел, чтобы мне навсегда осталось восемнадцать. Но сейчас я так не думаю. Я уже не подросток. У меня есть чувство ответственности. Слышишь, Кидзуки? Я уже не тот, что прежде, когда мы были вместе. Мне уже двадцать. И я должен платить за право жить дальше.

– Ватанабэ, что с тобой? – удивилась Мидори. – Ты так похудел.

– Seriously?

– Поди, перестарался... с той чужой женой?

Я рассмеялся и кивнул.

– С начала прошлого октября ни с кем не спал.

Мидори удивленно присвистнула.

– Полгода ни разу? Что, правда?

– Да.

– Тогда почему так похудел?

– Потому что повзрослел.

Мидори, взяв меня за руки, пристально посмотрела мне в глаза. Затем чуть сморщилась и улыбнулась:

– Ты прав. Что-то действительно чуточку изменилось. По сравнению с прошлым разом.

– Потому что повзрослел.

– Ну ты даешь... Думать о таких вещах... – восхищенно сказала Мидори. – Пойдем обедать. Есть хочется.

Мы пошли в небольшой ресторанчик за корпусом филфака. Я заказал комплексный обед, Мидори тоже.

– Сердишься на меня? – спросила Мидори.

– За что?

– За то, что я в отместку долго не отвечала? Наверное, считаешь, что так поступать нельзя? Ты ведь извинился передо мной.

– Я сам был виноват. И поделом.

– Сестра говорит, так нельзя – это недобросердечно и совсем по-детски...

– А теперь – отлегло? Отыгравшись-то?

– Ага.

– Ну и ладно.

– А ты и впрямь добрый, – сказала Мидори. – Слушай... ты что, правда полгода не занимался сексом?

– Правда, – ответил я.

– Наверное, когда укладывал меня спать в тот раз, хотелось?

– Не знаю... Наверное.

– Но не стал?

– Послушай, ты сейчас – самый дорогой мне человек. И я не хочу тебя терять.

– Если бы ты тогда поприставал, я бы не смогла отказать. Мне тогда было очень не по себе.

– А у меня твердый и толстый.

Она улыбнулась и тронула мое запястье.

– Я незадолго до того поверила тебе. На все сто. И уснула тогда, расслабившись, совершенно не боясь. Пока я с тобой, все в порядке. Можно не беспокоиться. Я крепко спала?

– Еще как, – ответил я.

– Поэтому если бы ты наоборот мне сказал: «Эй, Мидори, иди ко мне! Все будет нормально. Давай покувыркаемся!» – я бы, пожалуй, согласилась. Только не подумай, что я тебя соблазняю, или подтруниваю, или пытаюсь задеть. Я просто хотела честно признаться тебе.

– Я знаю.

За обедом мы показывали друг другу выбранные на семестр предметы, и обнаружили два общих курса лекций. Значит, я буду видеть ее дважды в неделю. Потом она рассказала о себе. Первое время они с сестрой никак не могли привыкнуть к жизни в квартире. Почему? Слишком вольготно по сравнению с прошлой.

– Мы просто глубоко увязли: за больными ухаживай, по магазину хлопочи. Каждый день суета, – сказала Мидори. – Но постепенно мы начали понимать, что можно жить иначе. Причем, должны были так жить с самого начала. Никого не стесняясь, можно делать, что вздумается. Однако успокоения не было. Будто тело парит в двух-трех сантиметрах над землей. Казалось, все это – блеф, такой вольготной жизни на самом деле быть не может. Тряслись, не придется ли за это расплачиваться.

– Бедные сестрички, – рассмеялся я.

– Да уж, досталось... – сказала Мидори. – Но... ладно. Мы свое еще наверстаем.

– Думаю, за вами не заржавеет. А чем занимается сестра?

– Ее подруга открыла недавно магазинчик аксессуаров в районе Омотэ-Сандо, и сестра помогает ей три раза в неделю. В остальное время учится готовить, ходит на свидания, смотрит кино и просто бездельничает. Короче, наслаждается жизнью.

Она поинтересовалась, как живу я, и я рассказал о планировке дома, просторном саде, котенке по имени Чайка и старичке-хозяине.

– Как, нравится?

– Вполне.

– Хотя сам ты – как неживой...

– Так весна же...

– И на тебе красивый свитер, который связала она.

Я удивился и посмотрел на свитер.

– Откуда ты знаешь?

– А ты – честный. Что ж тут еще можно подумать? – удивилась Мидори. – Но ты не в духе.

– Пытаюсь воспрянуть...

– Думай, что жизнь – коробка с печеньем.

Я несколько раз кивнул – а затем посмотрел в лицо Мидори.

– Наверное, у меня не все в порядке с головой, но иногда я тебя совершенно не понимаю.

– В коробке с печеньем есть печенюшки любимые, и не очень. Съешь первым делом самые вкусные – останутся лишь те, что особо не любишь. Когда мне горько, я всегда думаю об этой коробке. Потерпишь сейчас – проще будет потом. Вот и выходит, что жизнь – коробка с печеньем.

– Прямо целая философия.

– Но это – правда. По своему опыту знаю.

Пока мы пили кофе, в ресторан вошли две подружки-однокашницы Мидори. Втроем они поболтали о выбранных предметах, обсудили прошлогодние успехи по немецкому и травму подруги во время институтской потасовки, похвалили ее новые туфли и еще немного потрещали. Я невольно слушал все эти разговоры, и мне стало казаться, что они доносятся с обратной стороны Земли. Я пил кофе и разглядывал пейзаж за окном – обычный весенний пейзаж студгородка. Подернулось дымкой небо, цвела сакура, шагали первокурсники, прижимая к груди новенькие учебники. Мысли мои куда-то отлетели. Я подумал о Наоко, которая и в этом году не смогла вернуться в институт. На подоконнике стоял стаканчик с цветами ветреницы.

Вскоре подружки попрощались и вернулись за свой столик, а мы вышли на улицу. Заглянули в букинистические магазинчики, купили там несколько книг, выпили кофе в кафетерии, сыграли в игровом центре в пинбол, затем уселись в парке и болтали. Точнее, болтала Мидори, а я только временами вставлял «ага». Мидори сказала, что хочет пить, и я сбегал в кондитерскую поблизости и купил две банки колы. Пока я ходил, Мидори что-то усердно строчила в блокноте.

– Что это? – поинтересовался я и получил в ответ:

– Так, ничего.

В полчетвертого она засобиралась уходить – сказала, что должна встретиться с сестрой на Гиндзе. Мы дошли до станции метро и там расстались. Прощаясь, Мидори засунула мне в карман пальто сложенный вчетверо листок.

– Прочти дома, – сказала она, но я прочел в электричке.

Сейчас ты пошел за колой, а я тем временем пишу это письмо. Впервые пишу человеку, сидящему рядом со мной на скамейке. Не сделай я этого, похоже, ты вряд ли вообще поймешь, о чем я. Еще бы – ты же меня совсем не слышишь. Ведь так?

Знаешь, что ты меня сегодня очень обидел? Ты совсем не заметил, что я поменяла прическу. Я изо всех сил отращивала волосы и в конце прошлой недели наконец-то смогла вернуть себе женский облик. Но ты не обратил ни малейшего внимания. Мне казалось, что я стала еще симпатичней, думала, встречусь с тобой, спустя время, удивлю. *А ты даже не заметил.* Знаешь ли, это уже слишком. Ты, наверное, сейчас и не припомнишь, во что я была одета. А я, между прочим, девушка. Как ты ни занят своими думами, иногда мог бы обращать на меня внимание. Скажи мне хоть раз: «Какая симпатичная прическа», а потом думай и делай, что хочешь, – я бы тебя и так простила.

Поэтому я тебе вру. Встреча с сестрой на Гиндзе – ложь. Я собиралась сегодня остаться у тебя и даже взяла с собой пижаму. Да-да. В моей сумке лежат пижама и зубная щетка. Ха-ха-ха. Как дура! А от тебя приглашения не дождешься. Ладно, чего уж, тебе не до меня, ты хочешь быть один. Ну и оставайся. Думай, сколько влезет.

Я на тебя не обижаюсь. Просто мне грустно. Ведь ты так много для меня сделал, а я ничем тебе ответить не могу. Ты вечно

погружен в свой мир. Я пытаюсь достучаться: «Эй, Ватанабэ, тук-тук!» Ты приподнимешь взгляд и сразу же затворяешься в себе.

Вот ты вернулся с колой. Идешь с задумчивым видом. Я подумала: чтоб ты упал, – но ты не падаешь. Сидишь рядом со мной и отхлебываешь из банки. Я надеялась, ты купишь колу, вернешься и наконец-то заметишь: «Ты что – сменила прическу?» Но... увы. Если бы заметил, я разорвала бы это письмо в клочки и сказала: «Давай пойдем к тебе. Приготовлю тебе вкусный ужин. Вместе уляжемся спать». Но ты – неотесанный чурбан. Прощай.

P.S.:

И больше не пытайся со мной заговаривать.

Я попробовал позвонить Мидори домой со станции Кичидзёдзи, но никто не отвечал. Делать было нечего и я бродил по городку, пытаюсь найти себе такую работу, чтобы можно было совмещать с учебой. Свободным у меня был один из двух дней: суббота или воскресенье, к тому же я мог работать с пяти вечера по понедельникам, средам и четвергам, но найти подходящее место оказалось непросто. И я вернулся домой. Покупая что-то себе на ужин, еще раз позвонил Мидори. Ответила сестра:

– Мидори еще не вернулась. Когда вернется – даже не знаю.

Я извинился и положил трубку.

После ужина собирался написать Мидори письмо, но сколько ни переписывал, ничего не вышло, поэтому, в конечном итоге, решил написать Наоко.

Наступила весна, начался новый семестр, – писал я. – Очень жаль, что не могу с тобой встретиться. Я бы очень хотел при любых обстоятельствах встретиться и поговорить с тобой. Однако в любом случае я решил стать сильнее. Потому что кажется, что другого пути у меня нет.

И вот еще. Это, конечно, сугубо моя проблема, и тебе, пожалуй, все равно, только я больше ни с кем не сплю. Потому что не хочу забыть твое прикосновение. Оно для меня намного важнее, чем ты думаешь. Я постоянно вспоминаю те мгновенья.

Я вложил письмо в конверт, наклеил марку и, сев за стол, какое-то время пристально смотрел на него. Куда короче обычного письма, но так, пожалуй, ей будет понятнее. Я налил в стакан виски сантиметра на три, в

два глотка выпил и лег спать.

На следующий день я нашел подработку по субботам и воскресеньям поблизости от станции Кичидзёдзи – официантом в сравнительно небольшом итальянском ресторане. Неплохие условия, питание и даже оплата транспортных расходов. Если работающие в вечернюю смену по понедельникам, средам и четвергам брали отгул (а они, признаться, делали это довольно часто), можно было их подменять, что меня более чем устраивало.

– Через три месяца прибавка к зарплате, выходи уже в эту субботу, – сказал менеджер – куда более собранный и серьезный человек, нежели управляющий магазином пластинок на Синдзюку.

Звонил Мидори, опять брала трубку сестра и устало говорила:

– Мидори до сих пор не возвращалась. Я сама хочу знать, куда она подевалась. Может, ты что-нибудь знаешь?

Я знал только одно – в ее сумке есть пижама и зубная щетка.

В среду на лекции объявилась Мидори. Она была в свитере полынного цвета и темных очках, которые часто носила летом. Уселась на последний ряд и разговаривала с невысокой очкастой подругой – я уже видел ее раньше. Я подошел к ним и сказал Мидори, что хочу с нею поговорить. Первым делом на меня посмотрела очкастая подруга, затем – Мидори. Прическа у нее действительно была намного женственней, чем раньше. И сама Мидори выглядела чуточку взрослее.

– Я... сегодня спешу, – сказала она, слегка склонив голову.

– Много времени не отниму. Минут пять, – сказал я.

Мидори сняла очки и прищурилась. Выражение глаз было таким, будто она вдалеке разглядывает какие-то руины.

– Не хочу я с тобой говорить. Извини.

Очкастая подруга смотрела на меня таким взглядом, словно хотела сказать: ну что тут поделаешь, не хочет она с тобой говорить и все. Я сел на первый ряд справа и стал слушать лекцию «Введение в комедии Теннесси Уильямса и их роль в американской литературе». Лекция закончилась, я, не спеша, досчитал до трех и обернулся – Мидори уже не было.

Апрель – слишком грустная пора, чтобы проводить ее в одиночестве. В апреле все кажутся счастливыми. Одни, скинув тяжелые куртки, беседовали на солнышке, другие играли в кэтч-бол, третьи любили. А я был полностью одинок. И Наоко, и Мидори, и Нагасава, и прочие все

больше удалялись от меня. И даже некому было сказать мне «привет» или «доброе утро». Штурмовик и тот вспоминался, как родной. И вот в таком безутешном одиночестве я провел весь апрель. Несколько раз пытался дозвониться до Мидори, но получал один и тот же ответ: «Не хочу сейчас разговаривать». По тону я понимал, что она не шутит. Она почти всегда ходила вместе с той очкастой подругой, а в остальное время вокруг нее увивался долговязый парень с короткой стрижкой. И с жутко длинными ногами. Он постоянно носил белые баскетбольные кеды.

Закончился апрель, наступил май, который оказался еще хуже. С приходом мая я уже не мог не ощущать: чем ближе лето, тем сильнее рвется и колеблется мое собственное сердце. Особенно с наступлением темноты. В бледном мраке будто едва витающего запаха магнолии мое сердце беспричинно распирало и пронзало болью. В такие минуты я закрывал глаза и стискивал зубы. И ждал, когда это пройдет. Оно проходило – не спеша – и оставалась тупая горечь.

В такие минуты я писал Наоко. Писал лишь о прекрасных, веселых и красивых вещах. О запахе травы, о приятном весеннем ветре, о свете луны, о просмотренных фильмах, о любимых песнях, о впечатливших книгах. Перечитывая эти письма, я и сам успокаивался. И думал: в каком замечательном мире я живу. Я написал несколько таких писем, но ни от Наоко, ни от Рэйко ответа не получил.

В ресторане, где я подрабатывал, подружился с моим сверстником – студентом по фамилии Ито. Иногда мы с ним пытались беседовать. Прошло немало времени, прежде чем этот спокойный и молчаливый парень с отделения живописи Художественного института хоть как-то разговорился, и мы после работы шли в какой-нибудь ресторанчик, пили пиво и обсуждали разные темы. Он тоже любил читать книги и слушать музыку. Стройный симпатичный парень, с прической слишком короткой для студентов его института, очень опрятный. Говорил немного, но имел собственное мнение и четкие вкусы. Любил французские романы, с удовольствием читал Жоржа Батая, Бориса Виана, а из музыки предпочитал Моцарта и Мориса Равеля. И так же, как я, искал товарища, с которым можно об этом поговорить.

Однажды Ито пригласил меня к себе. Он снимал квартиру в одноэтажном доме со странной планировкой, где-то за парком Инокасира, и она была сплошь заставлена холстами и разными художественными предметами. Я хотел было посмотреть картины, но он застенялся и не стал показывать. Мы пили «Шивас Ригал», который он без разрешения прихватил из дома отца, жарили на портативной плитке спиринха^[51] и

слушали концерт Моцарта в исполнении Робера Казадезуса.

Ито был родом из Нагасаки и уехал, оставив там свою подругу. Каждый приезд в Нагасаки с ней спал, но в последнее время у них что-то не ладилось.

– Ты, наверное, сам знаешь, – сказал он. – В двадцать – двадцать один девчонки вдруг начинают очень конкретно рассуждать о разных вещах. Становятся очень реалистичными. Глядишь – и казавшееся в них раньше очень милым, уже выглядит банальным и удручает. Вот и она каждую нашу встречу непременно интересуется, что я собираюсь делать после института.

– И что ты собираешься делать?

Он, грызя рыбу, кивнул.

– Что делать, что делать... А нечего делать. Студент отделения живописи. Если задуматься, кто туда вообще пойдет учиться? Ну закончишь – а на что жить будешь? Она говорит: возвращайся в Нагасаки, будешь преподавать живопись. Сама собирается стать преподавателем английского.

– Она тебе уже не нравится, как прежде?

– Пожалуй, так, – признал Ито. – К тому же я не хочу становиться преподавателем живописи. Не хочу кончить жизнь, обучая рисовать школьников, диких, как обезьяны.

– Тогда с девушкой лучше расстаться. Для вас обоих, – сказал я.

– Я тоже так думаю. Но не могу ей об этом сказать – язык не поворачивается. Она ведь надеется, что мы будем вместе. А я ей: «Давай расстанемся, ты мне больше не нравишься»... Нет, не получается.

Мы пили «Шивас» без льда, а когда закончились спиринхи, порезали соломкой огурцы и сельдерей и ели, обмакивая в мисо. Хрустя огурцом, я вспомнил покойного отца Мидори, затем подумал, во что превратилась моя жизнь без Мидори, и мне стало тяжело. Незаметно во мне поселилось и выросло все ее существо.

– У тебя есть подруга? – спросил Ито.

– Есть-то она есть, – вздохнул я, – но сейчас, по разным обстоятельствам, находится очень далеко.

– Но вы друг друга понимаете?

– Хочется надеяться. Иначе мне хана, – невесело усмехнулся я.

Он спокойно заговорил о великолепии Моцарта. Как деревенские жители знают все о лесных тропинках, он прекрасно разбирался в музыке этого австрийца – любимого композитора его отца, – потому что постоянно слушал его лет с трех. Я плохо понимал классику, но прислушивался к его уместным и проникновенным пояснениям: «слышишь, вот в этом

месте...» – или: «как тебе это?». После них мне на душе было спокойно еще очень долго. Любуясь свисавшим над парком Инокасира молодым месяцем, мы допили весь «Шивас Ригал». Вкусный напиток.

Ито предложил мне остаться у него, но я отказался, сославшись на одно дело, поблагодарил его за виски и около девяти ушел. По пути домой забрел в телефонную будку и позвонил Мидори. К телефону подошла она сама.

– Извини. Я не хочу сейчас с тобой говорить, – сказала Мидори.

– Это я прекрасно знаю. Уже много раз слышал и не хочу, чтобы наши отношения на этом закончились. Ты – одна из моих редких друзей, и мне очень тебя не хватает. Когда я могу с тобой поговорить? Хоть это скажи.

– Я сама тебе позвоню. Когда придет время.

– Как поживаешь? – попробовал спросить я.

– Да так... – ответила она. И положила трубку.

В середине мая пришло письмо от Рэйко.

Спасибо тебе за письма. Наоко читает их с большой радостью. Я – тоже. Не возражаешь?

Извини, что долго не отвечали. Если честно, я немного устала, да и новостей хороших не было. Состояние у Наоко неважное. Недавно приезжала из Кобэ ее мать. Вчетвером, включая меня и врача, обсудили разные вопросы и пришли к выводу, что ей лучше на некоторое время перейти в специализированную больницу и пройти интенсивное лечение, а потом уже опять вернуться сюда. Наоко говорит, что по возможности хотела бы вылечиться, не уезжая отсюда, да и мне будет грустно с нею расставаться, и я даже беспокоюсь. Но, по правде говоря, здесь становится все труднее ее контролировать. Обычно все нормально, но иногда чувства ее становятся крайне неуравновешенными, и тогда с нее нельзя спускать глаз. Потому что не знаешь, что произойдет. Беспокоят явственные слуховые галлюцинации. Наоко затворяется от мира и совсем уходит в себя.

Поэтому я тоже считаю, что ей лучше всего какое-то время полечиться в подходящем заведении. Жаль, но ничего не поделаешь. Как я тебе уже говорила, нужно набраться терпения. Не теряя надежды, распутывать одну за другой все эти нити. Какой безнадежной ни была бы ситуация, у нити непременно

должен быть конец. А станет вокруг темно – не двигаться и ждать, пока глаза не привыкнут к этой темноте.

Когда ты получишь это письмо, Наоко уже должна перейти в больницу. Извини, что сообщила тебе в последнюю очередь, – все решилось в считанные дни. Новая больница – неплохая, а главное – надежная. Есть хорошие врачи. Адрес ты найдешь в конце этого письма, теперь пиши туда. Мне пообещали регулярно сообщать о состоянии Наоко, будут новости – дам знать. Хорошо, если смогу порадовать тебя чем-нибудь хорошим. Тебе сейчас нелегко, поэтому крепись. Хоть Наоко здесь нет, пиши иногда и мне. До свидания.

Той весной я написал целую кипу писем. Раз в неделю – Наоко. Иногда – Рэйко, несколько писем – Мидори. Я писал в аудиториях института, дома за столом, посадив на колени Чайку, в перерывах на работе в итальянском ресторане. Будто скреплял этими письмами свою разваливающуюся на части жизнь.

Апрель и май прошли очень тяжело и грустно, потому что я не мог с тобой разговаривать, – писал я Мидори. – Я впервые испытал на себе такую тяжкую и грустную весну. Чем так, уж лучше бы февраль повторился три раза. Хотя от моих слов уже ничего не изменится, но тебе очень идет новый стиль прически. Очень симпатичная. Сейчас я подрабатываю в итальянском ресторане и научился у повара вкусно готовить спагетти. Хочу, чтобы ты тоже их как-нибудь попробовала.

Я каждый день ходил в институт, два-три дня в неделю подрабатывал в ресторане, разговаривал с Ито о книгах и музыке, взял у него почитать несколько томов Бориса Виана, писал письма, играл с Чайкой, варил спагетти, следил за садом, мастурбировал, думая о Наоко, и пересмотрел множество фильмов.

Мидори заговорила со мной где-то в середине июня. Спустя целых два месяца. После лекции она уселась рядом и молча подперла рукой щеку. За окном лил дождь – прямой, без ветра, как это обычно и бывает в сезон дождей, – и все без исключения становилось мокрым. Студенты ушли из аудитории, а Мидори продолжала молчать все в той же позе. Затем достала из кармана джинсовой куртки «Мальборо» и протянула мне спички. Я чиркнул и дал ей прикурить. Она округлила губы и медленно выдохнула

мне в лицо дым.

- Нравится моя прическа?
- Очень.
- Как что?
- Как если повалить все деревья в мире.
- Ты серьезно?
- Серьезно.

Она некоторое время смотрела мне в лицо, затем протянула правую руку. Я ее пожал. Казалось, у нее отлегло даже сильнее, чем у меня. Мидори сбросила пепел на пол и резко поднялась.

- Пошли обедать, а то в животе пусто.
- Куда поедем?
- В «Такасимая» на Нихонбаси.
- Зачем это специально идти в такое место?
- Иногда хочется сходить... мне.

Мы сели в метро, доехали до Нихонбаси. Дождь лил с утра, и в универмаге было пусто, лишь мелькали силуэты редких покупателей. Внутри тоже пахло дождем, и продавцы невольно бездельничали. Мы спустились в подземный этаж, где располагались ресторанчики, вдумчиво изучили образцы блюд на витринах, и на пару остановились на комплексе «Маку-но-учи»^[52]. Было время обеда, однако публики оказалось немного.

– Давненько я не бывал в таких заведениях, – отпивая из белой гладкой кружки, которую можно увидеть разве что в кафетериях при универмагах, заметил я.

– А мне нравится... в таких местах, – сказала Мидори. – Будто чем-то особенным занимаешься. Наверное, из-за детских воспоминаний. В кои-то веки брали с собой в универмаг.

- Я вроде часто бывал – мать любила по таким магазинам ходить.
- Везет же...
- А толку? Я терпеть не мог, когда меня таскали повсюду за собой.
- Я не о том. Хорошо, что в детстве о тебе заботились.
- Ну да... Единственный ребенок.
- Когда была маленькой, думала: вот вырасту, приду одна в универмаг и съем много-много всего, что захочу, – сказала Мидори. – Только все это пустое. Какая радость набивать желудок в таком месте да еще и в одиночку? Вкус – так себе. Одно только – тут просторно и много народу, а воздух – спертый. При этом, все равно иногда сюда тянет.

– Мне было грустно все это время.

– Я это... читала в письме, – бесстрастно сказала Мидори. – Давай

сначала поедим. А то я ни о чем другом сейчас думать не могу.

Мы подчистую съели свои комплексы в полукруглых коробках, разделались с супом и принялись за чай. Мидори закурила. Докурив, ни слова не говоря, резко поднялась и взяла в руки зонтик. Я тоже встал и взял зонтик.

– Куда пойдем дальше?

– Куда можно пойти в универмаге после обеда? Конечно, на крышу.

Шел дождь, и на крыше никого не было. Не оказалось продавца и в отделе зоотоваров. Окошки ларьков и билетной кассы аттракционов тоже были закрыты. Мы шагали меж промокших деревянных лошадок, садовых скамеек и ларьков. Меня поразило, что в самом центре Токио есть такое непопулярное и заброшенное место. Мидори захотела посмотреть в подозрную трубу, я вставил монету и, пока она смотрела, держал над ней зонтик.

В углу крыши находился крытый уголок, где стояли игровые автоматы для детей. Мы сели там на подставку и стали смотреть, как льет дождь.

– Что-нибудь говори, – сказала Мидори. – Ведь много хочешь рассказать?

– Я не хочу особо оправдываться. Я тогда не знал, что делать, и голова была, как в тумане. Ничего не соображал. Но когда я не смог с тобой встречаться, понял одно: пока ты была рядом, я как-то держался, а как ушла – стало горько и тоскливо.

– Но ты ведь не знаешь, Ватанабэ, как горько и тоскливо пришлось мне.

– Правда? – удивился я. – Я думал, ты разозлилась и не хочешь меня видеть.

– Ну откуда ты взялся такой глупый? Что значит – не хотела? Я же говорила: ты мне нравишься. Думаешь, я могу просто так – то любить, то не любить? Или ты даже этого не понимаешь?

– Так-то оно так, но...

– Ну ты меня достал... Как дала бы тебе пинков сто... Встретились столько времени спустя, а он сидит, как истукан, думает о другой и даже на меня не посмотрит. Кого угодно разозлишь. Я просто решила, что лучше некоторое время побыть на расстоянии. Чтобы все стало понятно.

– Что... все?

– Наши с тобой отношения. Ну, то есть, мне стало куда приятней с тобой, чем... с ним. Тебе не кажется это неестественным и ненормальным? Конечно, он мне нравится. Немного своенравный, с предрассудками, фашист, в общем, но в нем много хорошего, к тому же, он – первый, кого я

полюбила всерьез. Но ты – какой-то особенный... для меня. Когда мы вместе, кажется – как одна пара. Я верю тебе, люблю и не хочу отпускать. Ну, то есть, постепенно я начинаю сходиться с ума. Так вот. Я съездила к нему, чтобы честно все обсудить. Спрашиваю: как быть? А он говорит: больше с ним не встречайся. А хочешь быть с ним – давай расстанемся.

– И что?

– Расстались. Окончательно, – сказала Мидори, достала «Мальборо» и, прикрывая от ветра огонь, прикурила.

– Почему?

– *Почему?* – закричала Мидори. – Ты что, чокнутый?! Знаешь правила сослагательного наклонения, разбираешься в математической прогрессии, можешь читать Маркса, но не понимаешь таких вещей? Почему переспрашиваешь? Почему заставляешь девушку говорить об этом? Потому что люблю тебя больше, чем его, разве не ясно? Я, может, хотела бы полюбить и более симпатичного парня, но что поделаешь, если полюбила именно тебя?

Я хотел что-нибудь сказать, но горло будто чем-то забилося, и я не смог произнести ни слова.

Мидори швырнула бычок в лужу.

– Не делай такое жуткое лицо, а то заплачу. Не бойся – я знаю, что у тебя есть любимый человек, и особо не надеюсь. Но хоть обнять меня можешь? За те два месяца мучений?

И мы обнялись за детским уголком, с раскрытыми зонтиками в руках. Плотно прижавшись телами, искали губы друг друга... И ее волосы, и воротник джинсовой куртки пахли дождем. «Какое мягкое и теплое – женское тело», – подумал я. Через джинсовую куртку я грудью чувствовал касание ее груди. Показалось, что прошла целая вечность до того, как я прикоснулся к живому телу.

– Вечером того дня, когда мы виделись в последний раз, я встретила с ним, и мы поговорили. А затем расстались, – сказала Мидори.

– Я очень тебя люблю, – сказал я. – Всем своим существом. Больше не хочу тебя терять. Но ничего не могу с этим поделать. Сейчас я связан.

– Ты о ней?

Я кивнул.

– Скажи, ты с ней спал?

– Только один раз – год тому назад.

– И больше не виделся?

– Виделся два раза. Только и всего, – сказал я.

– Ну и в чем дело? Она тебя не любит?

– Ничего не могу сказать. Очень непростая ситуация – смешались в клубок разные проблемы. И все это длится так долго, что уже стало непонятно. Ни мне, ни ей. Я знаю только одно: существует некая человеческая ответственность. И я не могу с себя ее снять. По крайней мере, сейчас я это чувствую. Пусть даже она меня и не любит.

– Знаешь, а я – кровь с молоком... – прижавшись щекой к моей шее, сказала Мидори. – И в твоих объятьях признаюсь, что люблю тебя. Сделаю, все, что ты скажешь. Я девушка немного взбалмошная, но честная и порядочная. Работаю будь здоров, неплоха собой, груди хорошей формы, вкусно готовлю, храню наследство отца в банковском сейфе. Тебе не кажется, что это очень выгодное приобретение? Не возьмешь ты – достанусь кому-нибудь другому.

– Мне нужно время, – сказал я. – Время, чтобы подумать, разобраться, решить. Извини, но сейчас я не могу тебе сказать большего.

– Однако любишь меня всем своим существом и больше не хочешь терять?

– Конечно.

Мидори отстранилась и, озорно улыбаясь, посмотрела на меня.

– Хорошо, я подожду. Потому что верю тебе, – сказала она. – Но когда придешь за мной, бери только меня. Когда обнимаешь меня, думай только обо мне. Понимаешь, о чем я?

– Вполне.

– И еще – можешь делать со мной все, что хочешь, только не делай больно. Мне много пришлось пережить до сих пор. Больше не хочется. Хочется счастья.

Я притянул Мидори к себе и поцеловал.

– Брось этот чертов зонтик, обними меня крепче обеими руками.

– Брошу – промокнем до нитки.

– Ну и ладно. Хочу, чтобы ты меня обнял, и ни о чем не думал. Я ждала этого два месяца.

Я поставил зонтик у ног и крепко обнял под дождем Мидори. Нас окружало лишь глухое, как дымка, шуршание колес пронесившихся по автостраде машин. Бесшумно и упорно продолжал лить дождь, пропитывая наши волосы, скатываясь слезами по щекам, окрашивая ее джинсовую куртку и мою желтую нейлоновую ветровку темным.

– Может, спрячемся куда-нибудь под крышу? – предложил я.

– Пойдем ко мне. Сейчас как раз никого. А то мы так простудимся.

– Однозначно.

– Мы как будто реку вброд перешли, – засмеялась Мидори. – Кр-

расота!

В хозяйственном отделе мы купили полотенце побольше и по очереди высушили волосы. Затем доехали на метро до ее дома на Мёгадани. Мидори отправила меня в ванную первым, затем приняла душ сама. Пока не высохла моя одежда, дала банный халат, сама переделалась в тенниску и юбку. Мы пили на кухне кофе.

– Расскажи о себе.

– Что, например?

– Ну... чего не любишь?

– Курятину, венерические болезни и балабола-парикмахера.

– А еще?

– Апрельское одиночество и кружевные подстилки для телефонов.

– А еще?

Я помотал головой.

– Больше ничего на ум не приходит.

– Мой парень – точнее, мой прежний парень – не любил много разных вещей. Что я ношу короткую юбку, курю, сильно пьянею, говорю всякие пошлости, обзываю его друзей. Поэтому если тебе что-то не нравится во мне – говори, не стесняйся. Что смогу исправить, исправлю.

– В общем-то, ничего, – немного подумав, сказал я и кивнул. – Все нормально.

– Серьезно?

– Мне нравится любая твоя одежда, мне нравятся все твои поступки, слова, твоя походка и то, как ты пьянеешь.

– Что, и даже это?

– Я не знаю, как это можно изменить, поэтому пусть остается, как есть.

– Как сильно ты меня любишь?

– Как если бы расплавились и стали маслом все тигры джунглей в мире.

– Хм-м, – недовольно протянула Мидори. – Обними-ка меня еще раз.

Мы обнимались на кровати в ее комнате. Прислушиваясь к каплям дождя, мы целовались под одеялом и говорили обо всем на свете: от происхождения мира до методов варки яиц.

– Интересно, что делают муравьи в дождливую погоду? – спросила Мидори.

– Не знаю, – ответил я. – Убираются в муравейнике или проверяют запасы. Муравьи – работяги.

– Раз работяги, почему тогда не эволюционируют, а остаются

муравьями?

– Не знаю. Но думаю, что структура их тела развивается. Например, в сравнении с обезьянами.

– А ты, оказывается, знаешь далеко не все. Я-то думала, в этом мире для тебя нет ничего неизвестного.

– Мир просторен.

– Горы – высоки, моря – глубоки, – подхватила Мидори, просунула в прорезь халата руку и взяла мой возбужденный пенис. У нее перехватило дыхание. – Ватанабэ, только без шуток – такой большой и толстый не поместится. Бр-р.

– Шутишь, – вздохнув, сказал я.

– Шучу, – прыснула она. – Все нормально, не беспокойся. Поместится – куда он денется? Слушай, а можно посмотреть поближе?

– Валяй.

Мидори нырнула под одеяло и принялась вертеть мой пенис. Оттягивать кожу, взвешивать на ладони мошонку. Высунув из-под одеяла голову, отдышалась.

– Классный он у тебя. Не льщу.

– Спасибо, – простодушно поблагодарил я.

– Наверное, ты не хочешь сейчас со мной? Пока все не прояснится?

– С чего ты взяла? Очень даже хочу. Но мне сейчас нельзя.

– Упрямый... Я бы на твоём месте согласилась. Сначала сделала, потом бы размышляла.

– Серьезно?

– Вру, – тихо сказала Мидори. – Я бы тоже не стала. На твоём месте я бы тоже не стала. Ты мне этим очень нравишься. Правда-правда.

– Как сильно? – спросил я, но Мидори не ответила. Вместо ответа она прижалась ко мне, поцеловала мои соски и начала медленно двигать рукой, сжимавшей пенис. Первым делом я подумал, что ее движения сильно отличаются от движений Наоко. Они обе делали это очень нежно и замечательно, но что-то отличалось, и я во всем этом чувствовал нечто совершенно иное.

– Эй, Ватанабэ, опять думаешь о другой?

– Нет, – соврал я.

– Правда?

– Правда.

– Не хочу, чтобы ты думал о другой, пока я так делаю.

– У меня и не получится.

– Хочешь прикоснуться к моей груди или вон там? – спросила

Мидори.

– Хочу, но лучше пока не прикасаться. Когда все за один раз, возбуждение слишком сильное.

Мидори кивнула, сняла, повозившись, трусы и поднесла их к кончику пениса.

– Кончай сюда.

– Испачкаются.

– Не болтай чепуху, а то заплачу, – сказала Мидори. – Постирается, и делов-то. Не стесняйся – кончай, сколько сможешь. Если так переживаешь, можешь купить и подарить мне новые... Или не можешь от моих рук?

– Еще чего.

– Тогда кончай. Давай. Сюда.

Я кончил, и Мидори принялась изучать мою сперму.

– Смотри, как много, – восхищенно сказала она.

– Переборщил?

– Ладно уж. Чего там. Хм, дурашка. Кончай, сколько можешь, – смеясь, сказала Мидори и поцеловала меня.

Вечером она сходила за покупками и приготовила ужин. Сидя за столом на кухне, мы пили пиво, ели тэмпуру и рис с зеленым горошком.

– Ешь хорошо, запасайся спермой, – сказала Мидори, – а я нежно помогу тебе кончить.

– Спасибо, – поблагодарил я.

– Я знаю разные способы. Начиталась женских журналов, когда у нас был магазин. Беременные-то не могут этим заниматься – вот в журнале и поместили особый раздел: что делать с мужем, чтобы он не изменял. Действительно, способов много. Интересно?

– Интересно, – сказал я.

Расставшись с Мидори, я развернул в электричке купленную на станции вечернюю газету, но, если подумать, совсем не хотел ее читать – попробовал, но ничего не понял. Уставившись на страницу непонятной газеты, я продолжал размышлять, что со мной будет дальше, что произойдет со всем окружающим меня. Порой казалось, что вокруг меня пульсирует мир. Я глубоко вдохнул и закрыл глаза. Я не раскаивался в сегодняшних поступках, и если бы пришлось все повторить заново, я был уверен – сделал бы то же самое. Пожалуй, так же обнял бы Мидори под дождем на крыше, так же вымок до нитки и так же кончил от ее руки в ее же постели. В этом не возникало сомнений. Я любил Мидори и был очень рад, что она вернулась ко мне. С ней у меня все будет хорошо. Как она сама говорила: кровь с молоком, она вверяла себя моим рукам. Я едва

сдерживался, чтобы не обнажить ее, не распахнуть ее тело и не погрузиться внутрь этой теплоты. Я совершенно не мог остановить движение ее руки, сжимавшей мой пенис. Я хотел этого. И она хотела. Мы уже любили друг друга. Кто может этому помешать? Да, я люблю Мидори. И, наверное, должен был понять это намного раньше. Я просто долго избегал этого вывода.

Проблема заключалась в другом – я не мог толком объяснить Наоко такой поворот событий. Была бы иная ситуация... но сейчас я не мог позволить себе признаться Наоко, что полюбил другую. Ведь Наоко я тоже любил. Пусть даже любовь эта искривилась где-то по пути, но я без сомнений любил Наоко, для которой у меня внутри сохранялось нетронутым достаточно места.

Все, что я мог – написать письмо Рэйко и во всем честно признаться. Вернувшись домой, я расположился на веранде и, поглядывая на впитывавший дождь ночной сад, придумал в уме несколько фраз. Затем сел за стол и начал писать.

«Мне очень тяжело сообщать об этом», – начал я. Затем полностью описал свои отношения с Мидори и рассказал о том, что сегодня произошло между нами.

Я любил и, пожалуй, по-прежнему люблю Наоко. Но то, что существует между мной и Мидори, – решает все. Я чувствую, что с трудом сопротивляюсь этой силе, которая со временем подхватит и унесет меня вперед. К Наоко у меня – жутко тихое и чистое нежное чувство, к Мидори – чувство совсем иного рода. Оно встало на ноги, шагает, дышит и бьется. И вместе с тем, меня трясет. Я не знаю, как мне быть. Ни в коем случае не собираюсь оправдываться, но я по-своему честно жил и никому не лгал. Старался никому не причинять боль. Поэтому совершенно не могу понять, за что меня забросило в такой лабиринт. Что мне теперь делать? Больше мне обращаться за советом не к кому.

Я наклеил марку срочной почты и той же ночью сбросил письмо в ящик.

Ответ от Рэйко пришел через пять дней.

Здравствуй!

Сначала хорошая новость.

Наоко идет на поправку быстрее, чем я думала. На днях разговаривала с ней по телефону. Вполне внятная речь. Говорит, что скоро сможет вернуться сюда.

Теперь о тебе.

Нельзя воспринимать вещи так близко к сердцу. Любить человека – прекрасно. Если эта любовь искренна, никого в лабиринт не бросят. Верь в себя.

Мой совет очень прост. Во-первых, если твое сердце заполнила Мидори, вероятно, вы полюбите друг друга. Может, у вас все будет складываться хорошо, а может и нет. Но это и есть – любовь. Раз влюбился – вполне естественно довериться этой любви. Я так считаю. Это – по-своему искренность.

Во-вторых, заниматься с Мидори сексом или нет – твоя личная проблема. Здесь я ничего сказать не могу. Поговори с Мидори и реши, что тебя устроит.

В-третьих, не говори обо всем этом Наоко. Если потребуется ей что-либо сказать, мы с тобой обдумаем подходящий план. А пока ей – ни слова. Доверь это мне.

В-четвертых, ты как мог поддерживал Наоко. Даже если у тебя пропадут к ней чувства, ты много чего еще можешь для нее сделать. Поэтому не переживай. Мы (я имею в виду как нормальных, так и ненормальных людей) – неполноценные люди, живущие в неполноценном мире. Мы не измеряем длину линейкой, а углы – транспортиром, мы не существуем наподобие сухого банковского вклада. Ведь так?

На мой взгляд, Мидори – прекрасная девушка. Читаю твое письмо, и мне становится ясно, что она заполнила твое сердце. Так же я понимаю, что твое сердце по-прежнему полно любви к Наоко. И это никакой не грех. Такое часто бывает в этом огромном мире. Будто в погожий день гребешь по озеру на лодке. И небо красивое, и озеро – тоже. Поэтому прекращай так страдать. Оставь все в покое, и оно пойдет своим чередом. Как ни старайся, когда больно – болит. Это – жизнь. Извини за такие слова, но тебе пора у нее поучиться. Ты иногда излишне пытаешься подстроить жизнь под себя. Не хочешь оказаться в психушке – приоткрой свое сердце, доверься ее – жизни – течению. Даже такая неполноценная беспомощная женщина, как я, понимает, как это прекрасно – жить. Правда. Так стань же еще счастливей. Постарайся.

Очень жаль, что у тебя с Наоко не будет «хэппи-энда». Однако, в конце концов, кто знает, что на самом деле есть хорошо? Поэтому никого не стесняйся. Почувствуешь, что можешь стать счастливым – лови свой шанс и становись им. Говорю по своему опыту, такой шанс бывает в жизни лишь два-три раза. Упустишь – будешь жалеть до конца своих дней.

Я каждый день сама для себя играю на гитаре. Пустое занятие. Ненавижу темные ночи, когда льет дождь. Хочу опять за тарелкой винограда поиграть на гитаре в комнате, где есть ты и Наоко.

Ну, пока.

17 июня.

Исида Рэйко.

Глава 11

И после смерти Наоко Рэйко мне прислала несколько писем, в которых пыталась уверить, что я не виноват – и никто не виноват. Что этого никто не мог остановить, как нельзя остановить дождь. Однако я не отвечал. Что я мог сказать? К тому же, какая теперь разница? Наоко больше нет на этом свете – она превратилась в горстку пепла.

В конце августа после тихих похорон Наоко я вернулся в Токио, сообщил хозяину дома, что ненадолго отлучусь, сходил на работу и извинился за то, что больше у них не появлюсь. Написал короткое письмо Мидори. «Сейчас ничего тебе сказать не могу, понимаю, что поступаю со своей стороны нехорошо, но прошу тебя еще немного подождать». Затем я три дня подряд ходил по кинотеатрам и с утра до вечера смотрел фильмы. Пересмотрев все токийские кинопремьеры, я собрал рюкзак, снял с банковского счета все деньги без остатка, поехал на Синдзюку и сел на первый попавшийся поезд дальнего следования.

Где и как я скитался, не знаю. В памяти остались сплошные пейзажи, запахи и звуки, но я ни за что не смогу вспомнить, где их видел, слышал и чувствовал. А тем более – в каком порядке. Я перебирался из города в город на поездах, автобусах, а порой и попутных грузовиках, расстилал спальный мешок и ночевал в любых подходящих местах: на пустырях и набережных, в парках и на вокзалах. Приходилось проситься на постой в полицейский участок, укладываться рядом с могилами. Мне было все равно, где спать, главное – чтобы не мешали, и я никому не мешал. Я закутывал тело, уставшее в пути, в спальный мешок, отхлебывал дешевый виски и сразу засыпал. В приветливых городах мне приносили поесть, давали средство от комаров; в неприветливых – вызывали полицию и прогоняли из парков. В любом случае, мне было все равно. Мне требовался лишь крепкий сон в незнакомых городах.

Когда подошли к концу деньги, три-четыре дня поработал, собрал какую-то сумму на первое время. Где угодно имелась хоть какая-нибудь работа. Я продолжал бесцельно перебираться из города в город. Мир – просторен, его наполняют удивительные вещи и странные люди. Один раз я позвонил Мидори – когда нестерпимо захотелось услышать ее голос.

– Слушай, уже давно занятия начались, – сказала она, – скоро сдавать рефераты. Что там с тобой? За три недели ни одного звонка. Где ты? Что делаешь?

– Извини, но сейчас я не могу вернуться в Токио. Пока что.
– Это все, что ты хотел сказать?
– Я и говорю, что сейчас ничего не могу сказать... толком. Вот, в октябре...

Мидори, не говоря ни слова, бросила трубку.

Я продолжал путешествовать. Иногда останавливался в дешевых гостиницах, где принимал ванну и брился. Глядя в зеркало, видел перед собой действительно ужасное лицо. Кожа загрубела от солнца, глаза ввалились, на впалых щеках появились непонятные пятна и ранки. Будто этот человек только что выбрался со дна темной ямы. Но если внимательно присмотреться, то было мое лицо.

В то время я шагал вдоль побережья Синъин^[53]. Где-то в районе Тоттори или северной части префектуры Хиого. Идти по берегу было удобно, потому что на песке непременно имелись удобные места для сна. Собирая выброшенный морем плавник, я разводил костер, жарил и ел купленную в лавке сушеную рыбу. Пил виски и, вслушиваясь в шум прибоя, думал о Наоко. Я по-прежнему не мог осознать тот очень странный факт, что она умерла, что ее больше нет на этом свете. Я не мог в это поверить. Я слышал все – вплоть до того, как вбивали гвозди в ее гроб, но не мог свыкнуться с мыслью, что она вернулась в небытие.

Слишком отчетливой была моя память о ней. Перед глазами до сих пор стояло, как она нежно берет в рот мой пенис, а волосы падают мне на живот. Я помнил ее тепло, ее дыхание и свое безрадостное ощущение эякуляции. Как будто прошло всего пять минут. Мне казалось, что Наоко – рядом, протяни руку – и дотронешься. Но ее не было. Ее тела больше нет в этом мире.

В бессонные ночи я вспоминал Наоко – разную. Не мог не вспоминать. Слишком много во мне накопилось воспоминаний о ней. И они одно за другим вырывались наружу. Я был не в силах остановить их стремительный поток.

Я вспомнил, как она в то дождливое утро, надев желтый плащ, прибиралась в птичнике, как несла мешок с кормом. Вспомнил наполовину развалившийся именинный торт, вспомнил, как ее слезы вымочили в ту ночь мою рубашку. Точно – в ту ночь тоже лил дождь. Зимой она ходила рядом со мной в пальто песочного цвета. Всегда носила заколку и беспрестанно поправляла ее рукой. И заглядывала прозрачными глазами в мои. Накинув голубой халат, садилась на диван, подгибала колени и ставила на них подбородок.

Эти образы Наоко накатывались на меня, как волны прибоя, и уносили

мое тело в странное место. В том странном месте я жил вместе с мертвецами. Там жила Наоко, и мы даже могли с ней говорить и обниматься. В том месте смерть не определяла завершение жизни. Там смерть была лишь одной из множества вещей, составляющих жизнь. Наоко продолжала жить там умершей. И говорила мне: «Все в порядке, Ватанабэ, это просто смерть. Не обращай внимания».

В том месте я не чувствовал горечи. Потому что смерть была смертью, а Наоко оставалась Наоко. «Видишь, все хорошо. Я же здесь», – стыдливо улыбаясь, говорила она. Эта ее привычка смягчала мне сердце и успокаивала боль. И я думал: «Если это и есть смерть, то не такая она и плохая штука». «Да, смерть – это пустяки, – вторила Наоко. – Смерть – просто смерть. К тому же, здесь очень легко», – доносился ее голос из шума мрачных волн.

Однако вскоре настал отлив, и я оказался на песчаном побережье в одиночестве. Я обессилел, я не мог никуда идти, а печаль окутала меня глубоким мраком. В такие минуты я часто плакал – сам с собой. Даже не плакал – слезы сами стекали ручьями, словно пот.

Когда умер Кидзуки, его смерть научила меня одному, и я затем хранил это в себе, как очень четкое представление. Или думал, что хранил. Вот оно: «Смерть находится не на противоположном конце жизни, а лишь затаилась в ней».

И это – правда. Своей жизнью мало-помалу мы пестуем смерть. Но это – лишь одна из истин, которые мы должны усвоить. Вот чему научила меня смерть Наоко. «Какой бы ни была истина, невозможно восполнить потерю любимого человека. Никакая истина, никакая искренность, никакая сила, никакая доброта не могут восполнить ее. Нам остается лишь пережить это горе и чему-нибудь научиться. Но эта наука никак не пригодится, когда настанет черед следующего внезапного горя». Я один-одинешенек слышал шум прибоя той ночи, внимая порывам ветра, день за днем беспрерывно размышлял об этом. Опустошив несколько бутылок виски, грызя хлеб, отхлебывая воду из фляги, с песком в волосах я шагал в первых осенних лучах солнца по морскому побережью все дальше и дальше на запад.

В один ветренный вечер я забрался в спальный мешок за какой-то брошенной на берегу шхуной, а потом пришел молодой рыбак и предложил мне закурить. Я взял сигарету и закурил – десять месяцев спустя. Он спросил: «Почему плачешь?» «Мать умерла, – почти машинально соврал я. – Нестерпимо горько, вот и странствую». Он пожалел меня от всего

сердца. Затем принес из дому бутылъ сакэ и два стакана.

На песчаном берегу в бурю мы на пару пили сакэ. Рыбак сказал, что тоже остался без матери – в шестнадцать. «Сложения она была хрупкого, но работала не покладая рук с раннего утра и до позднего вечера и умерла, словно износилась». Я пил сакэ и рассеянно слушал его рассказ, к месту вставлял нужные слова. Мне казалось – это повествование из жутко далекого мира. «Что же это такое?» – думал я. И внезапно меня охватила острая ярость – мне захотелось его задушить. При чем тут твоя мать? Я потерял Наоко! Из этого мира исчезло такое красиво тело. Зачем мне какие-то рассказы о чьей-то матери?

Но эта ярость почти сразу же исчезла. Я закрыл глаза и невольно прислушивался к бесконечной истории рыбака. Вскоре он спросил, ел ли я. Я ответил, что нет, но в рюкзаке есть хлеб, сыр, помидор и шоколад. «А что ты ел в обед?» – спросил он. «Хлеб, сыр, помидор и шоколад», – ответил я. «Жди здесь», – сказал он и куда-то ушел. Я пытался остановить его, но он исчез во мраке, ни разу не обернувшись.

Делать нечего – я в одиночестве пил сакэ. Все побережье было усыпано бумажными клочками петард, волны с рокотом, словно остервеневшие, разбивались на линии прибоя. Откуда-то появилась, виляя хвостом, тощая собака. Обежала мой костер явно в поисках съестного, но ничего не найдя куда-то скрылась.

Примерно через полчаса с двумя упаковками сусей и новой бутылью сакэ вернулся тот молодой рыбак. «Поешь это, – сказал он. – В нижней упаковке суси с инари^[54] и нори. Оставь их на завтра». Он налил из бутылки сакэ себе, затем мне. Я поблагодарил и уплел рассчитанную на двоих упаковку. Затем мы опять пили сакэ, пока он не сказал, что больше не может. Рыбак предложил мне переночевать в его доме, но я сказал, что лучше останусь здесь, и он больше не приглашал. Расставаясь, достал из кармана сложенную вчетверо купюру в пять тысяч иен и сунул ее в карман моей рубашки. «Поешь что-нибудь питательное – ты плохо выглядишь», – сказал он. «Я не могу после всего, что ты для меня сделал, брать деньги». Но забирать их он не хотел. «Это не деньги – это мое настроение. Поэтому бери – не забивай себе голову». Делать нечего – я поблагодарил и оставил купюру себе.

Он ушел, а я случайно вспомнил подругу, с которой впервые переспал в выпускном классе. Подумал, как жестоко с ней обошелся, и мне стало зябко. Меня почти не интересовало, о чем она думала, что чувствовала и как все это ее оскорбило. Чего там говорить – до сих пор я даже не пытался ее вспомнить. Она была очень нежной, но в ту пору я считал нежность чем-

то само собой разумеющимся и почти не оборачивался назад. «Чем она сейчас занимается? И простила ли меня?» – подумал я.

Стало плохо. Возле старой шхуны меня вырвало. Я перебрал, раскалывалась голова, стало противно за ложь и принятые у рыбака деньги. «Пора возвращаться в Токио», – подумал я. Нельзя же так скитаться бесконечно. Я скрутил спальник и уложил его в рюкзак, закинул его за плечи и побрел до ближайшей железнодорожной станции. Там спросил, как добраться до Токио. Кассир, посмотрев расписание, сказал, что с одной пересадкой на ночной поезд к утру можно добраться до Осаки. Оттуда до Токио ходит «синкансэн». Я поблагодарил и взял на рыбацкие деньги билет до Токио. Дожидаясь поезда, купил газету и посмотрел число. Второе октября 1970 года. Мое путешествие длилось ровно месяц. «Пора возвращаться в реальный мир», – мелькнуло у меня в голове.

Месяц скитаний не приподнял мне настроение, и удар, нанесенный смертью Наоко, не смягчился. Я вернулся в Токио почти в том же состоянии. Я даже не мог позвонить Мидори, потому что не знал, с чего начать. Как ей все объяснить? «Все кончено. Теперь мы будем счастливы». Так? Разумеется, так сказать я не мог. Однако что бы я ни говорил, какие бы слова ни использовал, в конце концов, правда, которую я должен был сказать, – одна: «Наоко умерла, Мидори – живая. Наоко стала белым прахом, Мидори остается живым человеком».

Я ощущал себя мерзким человеком. Вернувшись в Токио, я заперся у себя в комнате, где провел безвылазно несколько дней. Моя память была связана не с живыми, а с мертвыми. В нескольких комнатах, приготовленных для Наоко, были опущены жалюзи, мебель покрыта белыми чехлами, на рамах скопилась пыль. Большую часть дня я сидел в какой-нибудь из тех комнат. И думал о Кидзуки. «Эй, Кидзуки, ты наконец-то заполучил Наоко. Ладно, она с самого начала была твоей. Может, она, в конце концов, и должна была туда попасть. Пожалуй. Но в этом мире, в этом неполноценном мире живых я сделал для нее все что мог. Я пытался начать вместе с ней новую жизнь. Но ладно, Кидзуки. Я отдаю тебе Наоко. Она выбрала тебя. Она повесилась в глубине мрачного, как собственное сердце, леса. Слышишь, Кидзуки? Ты унес в мир мертвых одну часть прежнего меня. Теперь вот Наоко унесла вторую. Иногда я чувствую себя зрителем музея. Пустого музея без единого посетителя, за которым я присматриваю лишь для себя самого».

На четвертый день после моего возвращения в Токио пришло письмо

от Рэйко. На конверте – марка срочной почты. Содержание письма крайне простое: «Не могу с тобой связаться. Очень волнуюсь. Позвони. В девять утра и вечера жду по этому телефону».

Ровно в девять я набрал нужный номер, Рэйко тут же взяла трубку.

– Как дела? – спросила она.

– Так себе.

– Слушай, ничего, если я к тебе послезавтра приеду?

– Ко мне? В смысле, в Токио?

– Да, в Токио. Хочется с тобой хоть раз спокойно обо всем поговорить.

– Выходит, оттуда придется уехать?

– Как же я к тебе приеду, оставаясь там? – сказала Рэйко. – А тем более, мне уже пора. Суди сам – восемь лет провела. Останусь еще – совсем заплесневею.

Я не мог подобрать слов и молчал.

– Послезавтра приеду на «синкансэнэ» в три двадцать, так что встречай. Помнишь в лицо? Или после смерти Наоко потерял ко мне интерес?

– Да ну? – ответил я. – Послезавтра к трем двадцати буду на Токийском вокзале.

– Сразу заметишь. Нечасто можно увидеть женщину средних лет с чехлом от гитары.

И действительно я сразу нашел Рэйко. Она была в мужском твидовом пиджаке, белых брюках и красных спортивных туфлях. По-прежнему короткая прическа с торчащими кое-где волосами. В правой руке болталась дорожная сумка из желтой кожи, с левой свисал черный гитарный чехол. Увидев меня, она улыбнулась, изогнув все свои морщины. Глядя на ее лицо, я тоже невольно улыбнулся. Я взял у нее сумку, и мы пошли на платформу центральной линии.

– Слышь, Ватанабэ, с каких это пор у тебя такое лицо? Или в Токио сейчас такие в моде?

– Какое-то время путешествовал. Толком ничего не ел, – сказал я. – Как поездка в «синкансэнэ»^[55]?

– Да ничего хорошего – окна не открываются. По пути хотела купить бэнто – куда там!

– Зачем, по поезду же ходят продавцы?

– Ты имеешь в виду дорогие несъедобные сэндвичи? К ним даже умирающая с голоду лошадь не притронется. Мне нравится рис с морским карпом, который продают в Готэмба.

– Ага, скажи такое кому другому – сразу примут за бабу.

– Чего уж там? Бабка и есть, – сказала Рэйко.

По пути в Кичидзёдзи Рэйко крайне внимательно всматривалась в проплывавшие за окном поезда пейзажи Мусасино.

– Что, за восемь лет меняются даже пейзажи? – спросил я.

– Ватанабэ, ты ведь не знаешь, какое у меня сейчас настроение?

– Не знаю.

– Страшно мне до жути – чуть с ума не схожу. Как быть – не знаю. Очутиться в таком месте, – сказала Рэйко. – Не находишь, «чуть с ума не схожу» – неплохо сказано?

Я рассмеялся и взял ее за руку.

– Уже все хорошо. Ведь выйти оттуда удалось своими силами?

– Оттуда я вышла не своими силами. Оттуда я вышла благодаря Наоко и тебе. Я бы не выдержала там без Наоко. К тому же, я была убеждена, что нужно приехать в Токио и спокойно с тобой обо всем поговорить. Вот и вышла. Если бы не все это, так бы там и осталась до конца своих дней.

Я кивнул.

– Ну а дальше?

– Поеду в Асахикаву^[56]. Слышь, в Асахикаву! Одна моя хорошая знакомая по консерватории ведет там класс музыки. Вот. И два-три последних года зовет к себе – в помощницы. До сих пор отказывалась – не хотела ехать в такую холодрыгу. Ведь так, да? Не успела выйти, и куда – в Асахикаву! Такое ощущение, что там меня поджидает ловушка.

– Не так там все и плохо, – сказал я. – Один раз приходилось ездить – вполне приличный город... интересная атмосфера.

– Seriously?

– Там куда лучше, чем в Токио.

– Больше деваться некуда. К тому же, я уже отправила туда багаж, – сказала она. – Как-нибудь приедешь ко мне в гости?

– Конечно... А туда – сразу? Или будет несколько дней в Токио?

– Если получится, хочу провести здесь пару-тройку дней. Ничего, если у тебя пошумим? Я не привередливая.

– Нет, конечно. Если что, посплю в спальнике.

– Извини.

– Ничего страшного – у меня альков просторный.

Рэйко слегка побарабанила пальцами по гитарному чехлу.

– Пожалуй, мне нужно себя приучать. До отъезда в Асахикаву. А то совсем еще не привыкла к внешнему миру. Многого не знаю, напрягаюсь. Поможешь мне освоиться? Кроме тебя, мне обращаться не к кому.

– Конечно. Что будет в моих силах, – ответил я.

– Постой, а я тебе не мешаю?

– Интересно, чему?

Рэйко посмотрела на меня, изогнула уголки губ и засмеялась. И больше ничего не сказала.

Доехав до Кичидзёдзи, мы пересели на автобус, и пока добирались до моей квартиры, ни о чем серьезном не говорили. Так, по мелочи: как изменился Токио, что я помню про Асахикаву, как Рэйко училась в консерватории. О Наоко не обмолвились ни словом. С нашей последней с Рэйко встречи минуло десять месяцев, и теперь мне на удивление приятно и спокойно было идти с нею рядом. Показалось, что со мной такое уже было. Если подумать, во время прогулок с Наоко по Токио, меня посещали такие же мысли. Как прежде у нас с Наоко был общий мертвец – Кидзуки, сейчас у нас с Рэйко общей была мертвая Наоко. От этой мысли я не мог вымолвить ни слова. Рэйко некоторое время говорила сама, а когда поняла, что я ее не слушаю, тоже умолкла. В полном молчании мы ехали так до самого дома.

Стоял день начала осени – такой же ясный и отчетливый, как и ровно год назад, когда я ездил к Наоко в Киото. Белые и тонкие, как кости, облака. Высокое, словно распахнутое небо. «Снова осень», – подумал я. Запах ветра, оттенки солнечных лучей, расцветшие в высокой траве маленькие цветы, особые тени звуков напоминали мне о ее приходе. С каждой сменой времени года постепенно увеличивается расстояние между мной и мертвецами. Кидзуки по-прежнему семнадцать, Наоко – двадцать один... навеки.

– Вот, здесь совсем другое дело – можно вздохнуть свободно, – выйдя из автобуса и оглянувшись по сторонам, сказала Рэйко.

– Еще бы – здесь совсем ничего нет, – сказал я.

Я провел Рэйко в дом с заднего входа. Она то и дело восхищалась.

– Ну скажи, разве плохое место? – говорила она. – Ты сам все это смастерил? В смысле – полки, стол?

– Да, – ответил я, заваривая чай.

– А ты – мастер, Ватанабэ. И в комнате вполне чисто.

– Спасибо Штурмовику. Это он привил мне чистоту. Хозяин дома счастлив. Говорит, что я очень бережно всем пользуюсь.

– Ах да... Пойду, поздороваюсь с хозяином, – сказала Рэйко. – Он ведь живет в том конце сада?

– Поздороваться? Зачем с ним здороваться?

– Ясное дело зачем? Что подумает хозяин, если увидит, как к тебе

завалилась странная тетка пожилого возраста, которая к тому же бренчит на гитаре. В такой ситуации лучше все уладить с самого начала. Вот – я для этого даже сладости привезла.

– Предусмотрительно, – восхитился я.

– Что поделаешь – опыт. Представлюсь твоей теткой по материнской линии из Киото. Имей в виду на будущее. Как раз хорошо, что у нас разница в возрасте. Никому ничего дурного и в голову не придет.

Она достала из дорожной сумки коробку сладостей и ушла. Я уселся на веранде, пил чай и играл с котом. Рэйко не возвращалась минут двадцать. А когда вернулась, достала из сумки жестяную коробку «сэмбэй»^[57] и протянула мне:

– Подарок!

– О чем можно говорить целых двадцать минут? – пробуя печенье, спросил я.

– Конечно, о тебе, – ответила Рэйко, взяв на руки кота и прижавшись к нему щекой. – Говорит, аккуратный, серьезный студент, они с женой не нарадуются.

– Это про меня-то?

– А про кого еще? – хмыкнула Рэйко. Затем заприметила мою гитару, немного ее подстроила и заиграла «Desafinado» Карлоса Джобима. Давно я не слышал, как она играет, но, как и в прошлый раз, душа моя согрелась. – Что, начал играть?

– Увидел, что валяется в сарае, – взял попользоваться. Понемногу тренькаю.

– Ладно, позже дам тебе бесплатный урок, – сказала Рэйко, отложила гитару, сняла твидовый пиджак, прислонилась к столбу веранды и закурила. Под пиджаком на ней была рубашка в полоску с коротким рукавом.

– Что скажешь – красивая рубашка?

– Да, – согласился я. – Очень стильный рисунок.

– Это от Наоко, – сказала Рэйко. – Знаешь, у нас с нею был почти один размер. Особенно когда она только туда поступила. Потом, правда, немного располнела и уже не влезала в старое. И все же можно сказать, что одинаковый. И рубашки, и брюки, и обувь, и шляпы. Кроме лифчиков. Их размер отличался по причине полного отсутствия у меня груди. Поэтому мы всегда менялись одеждой. Или же вместе носили одну и ту же.

Я как бы заново окинул взглядом тело Рэйко. Действительно, рост у нее почти такой же. Но из-за формы лица и тонких запястий Рэйко казалась выше и худее. Однако если присмотреться, она была довольно крепкой.

– Все это – брюки, пиджак – осталось от Наоко. Тебе, наверное, неприятно видеть меня в ее одежде.

– Нет, почему? Она только обрадуется, если кто-то будет их носить. Особенно если этот кто-то – Рэйко.

– Удивительное дело, – сказала Рэйко, тихонько щелкнув пальцами. – Завещания никому не оставила, но распорядилась, как поступить с одеждой. Размашисто написала одну единственную строчку на листе бумаге, который я потом нашла на столе. «Отдайте всю одежду Рэйко». Странная, правда? Как она может думать об одежде, собираясь умереть. Разве это важно? Наверняка, много чего хотела сказать.

– А, может, и ничего.

Рэйко курила, погружившись в свои думы.

– Наверное, хочешь все узнать по порядку?

– Да, конечно.

– Результаты больничных анализов показали, что она идет на поправку, но мы решили, что на всякий случай лучше именно сейчас пройти интенсивное лечение. И Наоко переехала в осакскую клинику. Сравнительно надолго. Но об этом я, вроде бы, уже писала. Я отправила письмо примерно десятого августа.

– Я его читал.

– Двадцать четвертого позвонила ее мать и спросила, не против ли я, если Наоко ненадолго вернется в Киото. Мол, говорит, что хочет разобрать свои вещи, а заодно спокойно побеседовать, ведь какое-то время мы с ней видеться не сможем. Хотя бы на одну ночь. Я ответила, что не против. Наоборот, я очень хотела ее увидеть и о многом поговорить. На следующий день – двадцать пятого августа – она приехала с матерью на такси. Мы все втроем разбирали вещи и болтали о чем ни попадя. К вечеру Наоко сказала матери, что та может возвращаться, – мол, дальше мы сами. Матери вызвали такси, и она уехала. Наоко выглядела очень бодро. Ни я, ни мать тогда ничего не заметили. По правде, я перед встречей очень переживала – вдруг она вся понурая, расстроенная и осунувшаяся. Мне ли не знать, как выматывают подобные больничные анализы и само лечение. Вот и переживала, как она там. Но с первого взгляда поняла, что все в порядке: цвет лица куда лучше, чем я думала, улыбается и даже шутит, речь стала намного внятней. Сходила в косметический салон, хвасталась новой прической. Вот я и подумала, что в таком состоянии справлюсь с ней сама и без матери. Она говорила мне: «Раз ложусь в больницу, нужно вылечиться до полного выздоровления». Я ей: «Конечно, нужно». Затем мы гуляли и о многом разговаривали. В основном, как быть дальше. Она даже

сказала такое: «Хорошо, если мы на пару выйдем отсюда и сможем жить вместе».

– В смысле, вы вдвоем?

– Да, – слегка пожала плечами Рэйко. – Я ей и говорю: «Мне-то все равно. А как же Ватанабэ?» А она вдруг: «С ним я сама как-нибудь разберусь». Только и всего. И затем опять про то, где мы будем жить, что будем делать. А потом пошли к птицам.

Я достал из холодильника пиво, Рэйко опять закурила. Кот крепко спал у нее на коленях.

– Она все с самого начала решила. Потому и была вся такая веселая и бодрая. Решилась, и у нее стало спокойно на сердце. Затем она привела в порядок все вещи в комнате. Ненужное сожгла в бочке на дворе. Все – и тетрадь с дневниками, и письма. Твои, в том числе. Мне это показалось странным, спрашиваю: зачем сжигаешь? Ты же знаешь, как она аккуратно хранила твои письма, часто перечитывала. Она и говорит: «Уничтожу все, что было раньше, и перерожусь заново». У меня отлегло – вот в чем дело. И я легко с ней согласилась. А что, мыслит здраво... по-своему. Дай бог, выздоровеет, станет счастливой. Еще бы, в тот день она была такой прелестной... Вот бы тебе ее увидеть.

Затем мы, как обычно, поужинали, приняли ванну, открыли дорогое вино, что я специально приберегла, и пили его вдвоем. Я играла на гитаре. Все тех же «Битлз». «Norwegian Wood», «Michelle»... Ее любимые вещи. Стало так хорошо. Мы потушили свет, разделись и улеглись в постель. Стояла очень теплая ночь. Окна откроешь – ветер почти не задувает. На улице мрак, будто все вымазали углем. Чертовски громко стрекочут насекомые. В комнате – запах скошенной травы. Вдруг Наоко начинает рассказывать о тебе. О сексе с тобой. Причем, во всех подробностях. Как ты ее раздевал, как ласкал, как у нее стало влажно, как ты в нее вошел, и как ей было хорошо, – детально так мне обо всем рассказывает. Я ее спрашиваю: «Чего это ты завела такой разговор ни с того ни с сего?» Ведь до сих пор она ни разу не откровенничала о сексе. Разумеется, секс мы в беседах затрагивали – это терапия такая. Но она никогда не вдавалась в подробности – стыдилась. А тут – как прорвало. Даже я удивилась.

«Просто, захотелось – говорит Наоко. – Могу и не рассказывать».

«Да нет, что ты? Хочешь рассказать – говори все, как есть. Я тебя слушаю».

«Когда он в меня вошел, стало так больно, что я не знала, как быть, – начала Наоко. – У меня так было впервые. Внутри влажно, войти-то он сразу вошел... Одним словом, было больно. В глазах все потемнело. Он

вставил до упора, я думала – дальше уже некуда, а он приподнял мои ноги – и еще глубже. Тут внутри у меня все похолодело. Как будто окатили ледяной водой. Руки-ноги задрожали, прохватил озноб. Что будет? Может, я прямо так умру. Раз так, то – ладно. Но он знал, что мне больно, и, вставив, не двигался, а начал меня нежно ласкать, и беспрерывно целовал волосы, шею, грудь... Долго так. Тем временем в тело вернулось тепло. Он медленно начал двигаться. Как это было прекрасно... Думала, мозги расплавятся. Как мне тогда хотелось держать его в объятиях всю жизнь. Я правда так думала».

«Если тебе было так хорошо, будь вместе с ним и занимайся этим хоть каждый день», – говорю.

«Не выйдет, – она мне. – Я это чувствую. Оно посетило меня и уже покинуло. И больше не вернется. По какой-то случайности произошло всего один раз в жизни. Ни до, ни после того я ничего не чувствую. Не возникало желания и ни разу не становилось влажно».

Естественно, я ей все объяснила. Что у молодых девушек такое сплошь и рядом, и почти у всех с годами проходит. К тому же, один раз получилось, поэтому нечего переживать. Вон у меня, когда вышла замуж, по-первости вообще ничего не получалось.

«Дело не в этом, – говорит Наоко. – Я ни о чем не беспокоюсь. Я просто больше никого не хочу в себя впускать. Не хочу, чтобы рушили мой мир».

Я допил пиво, Рэйко докурила вторую сигарету. Кот потянулся у нее на коленях, поменял позу и опять уснул. Рэйко, немного помедлив, прикурила третью.

– Потом Наоко заплакала, – сказала Рэйко. – Я села на ее кровать и гладила по голове, говорила: «Все хорошо, все будет хорошо. Такой молодой красивой девушке, как ты, мужские объятия просто необходимы, ты станешь счастливой». Ночь жаркая, Наоко вся вымокла от пота и слез. Я принесла полотенце, вытерла ей лицо и тело. Мокрыми даже трусы были, я ей говорю: ну-ка, снимай, и сама их сняла... Слушай, тебе не странно? Мы ведь вместе в баню ходили, она мне – как сестренка.

– Понимаю, – сказал я.

– Наоко попросила ее обнять. Я ей говорю: «Такая жара, и не собираюсь даже», – но потом сказала, что в последний раз и обняла. Обернула ее в полотенце, чтобы пот не прилипал. Когда она успокоилась, опять вытерла пот, надела на нее ночной халат и уложила спать. Она сразу же крепко уснула. Или сделала вид – но в любом случае, у нее было очень милое лицо. Как у сроду не знавшей боли тринадцатилетней девушки-

подростка. Увидев его, я тоже уснула. Успокоилась.

А когда проснулась в шесть утра, ее уже не было. Валялся брошенный халатик, пропала одежда, кроссовки и фонарик, что обычно в изголовье лежал. «Не к добру», – первое, что пронеслось у меня в голове. Разве не так? Раз ушла с фонариком – значит, было еще темно. На всякий случай, посмотрела на стол, а там – записка. «Отдайте всю одежду Рэйко». Тут я сразу всех подняла, разбила на группы и отправила на поиски. Мы прочесали всю территорию вокруг клиники, окрестные рощи. Пока нашли, прошло пять часов. Она... она привезла с собой все, вплоть до веревки.

Рэйко вздохнула и погладила по голове кота.

– Может, чаю? – спросил я.

– Спасибо.

Я вскипятил воду, заварил чай и вернулся на веранду. Дело было к вечеру, солнечный свет ослаб, а тени деревьев вытянулись к нашим ногам. Попивая чай, я разглядывал на удивление беспорядочно заросший сад, словно кто-то как попало разбросал первое пришедшее на ум: керрию^[58], дикую азалию, нандину^[59]...

– Затем приехала скорая, Наоко увезли, меня принялись расспрашивать полицейские. Хотя всех-то расспросов – так, ничего особенного. Подобие завещания оставлено, факт самоубийства – очевиден, к тому же они наверняка так и думают, что в самоубийстве душевнобольного ничего удивительного нет. Поэтому только расспросили для протокола и все. Когда полиция оставила меня в покое, я сразу же дала телеграмму. Тебе.

– Печальные получились похороны, – сказал я. – Тихие такие, людей мало. Ее родственников интересовало одно – откуда я знаю о смерти Наоко. Наверняка боялись, чтобы окружающие не узнали о самоубийстве. Вообще-то не стоило мне ехать на похороны. Там во мне все будто перевернулось. И я сразу же уехал куда глаза глядят.

– А не прогуляться ли нам? – сказала Рэйко. – Пойдем купим что-нибудь к ужину? Я уже проголодалась.

– Хорошо. Кстати, что будем готовить?

– Сукияки^[60], – ответила она. – Я столько лет не ела ничего, вроде набэ^[61]. А сукияки даже видела во сне. Кастрюля – а в ней мясо и лук, конняку^[62] и обжаренный тофу, хризантема, и все это кипит, ки...

– Все это хорошо, только у меня нет самой кастрюли под сукияки.

– Не суетись. Доверь это мне. Пойду попрошу у хозяина.

Она тут же направилась к хозяйскому дому и принесла знатную кастрюлю, а к ней – газовую печку и длинный шланг.

– Ну, как? Солидно?

– Вообще, – восхищенно сказал я.

Мы сходили в соседний торговый ряд, купили говядину и репчатый лук, овощи и тофу, затем в винной лавке – сравнительно приличное белое вино. Я достал было свой кошелек, но в итоге все оплатила она.

– Узнают родственники, что позволила племяннику заплатить, – подымут на смех, – сказала Рэйко. – К тому же, у меня достаточно денег. Поэтому не переживай. Что ж я, по-твоему, ушла оттуда без гроша в кармане?

Вернулись домой, Рэйко промыла рис и поставила его вариться, я протянул на веранду шланг. Когда все было готово, Рэйко достала из чехла гитару, уселась на сумеречной веранде и медленно заиграла Баха, как бы проверяя строй. В сложных местах нарочно замедлялась, затем опять набирала темп, играла резко, играла сентиментально, любовно прислушиваясь к различным оттенкам звука. Рэйко, играющая на гитаре, была похожа на юную девушку, что разглядывает понравившееся платье. Глаза сверкают, губы поджаты, лицо подернуто едва заметной улыбкой. Закончив играть, она оперлась о столбик и, разглядывая небо, о чем-то задумалась.

– Можно один вопрос?

– Давай. Я как раз подумала, что неплохо бы поесть.

– Не съездить ли к мужу и дочери? Они же в Токио?

– В Йокогаме. Нет, не поеду. Я тебе уже говорила. Им не стоит больше со мной встречаться. У них – новая жизнь. А я только буду страдать. Лучшее средство – не видеться.

Она смяла и выбросила пустую пачку «Сэвэн Старз», достала из сумки новую, содрала целлофан и вытащила сигарету. Но не прикуривала.

– Я – конченный человек. Перед твоими глазами – лишь уцелевшая память прежней меня. Самое главное, что было во мне, уже давно умерло, и я лишь поступаю, как велит мне та память.

– А мне очень нравится нынешняя Рэйко. Уцелевшая она память, или еще там чего. К тому же, может, это не так важно, но я очень рад, что одежда Наоко попала в такие руки.

Рэйко озорно улыбнулась и прикурила.

– А ты, несмотря на юный возраст, умеешь порадовать женщину.

Я покраснел.

– Я только честно сказал то, что думаю.

– Знаю-знаю, – рассмеялась Рэйко.

Тем временем поспел рис, я налил в кастрюлю масло и приготовил

сукияки.

– Неужели, это не сон? – воскликнула Рэйко, втягивая носом запах.

– Стопроцентно реальные сукияки. Говорю по своему опыту.

Мы, почти не разговаривая, вытягивали из кастрюли сукияки, пили пиво и ели рис. Чайка учуял запах мяса и получил свой кусочек. Наевшись до отвала, мы прислонились к столбам и разглядывали месяц.

– Ну как, хорошо? Понравилось? – спросил я.

– Очень. Нет слов, – с трудом вымолвила Рэйко. – Я впервые в жизни так наелась.

– Что будем дальше делать?

– Сначала перекурим, а потом я хочу сходить в баню. А то волосы уже слиплись.

– Хорошо. Есть одна здесь поблизости.

– Кстати, если не секрет, скажи – ты уже спал с Мидори?

– В смысле, занимался ли я с нею сексом? Нет. Я решил, что лучше этого не делать, пока все не встанет на свои места.

– А разве уже не встало?

Я покачал головой, как бы говоря: «не знаю».

– Наоко умерла, и все со временем уладилось. Так?

– Нет, не так. Ты ведь еще до ее смерти все уже решил? Мол, не можешь расстаться с Мидори. Живая Наоко или мертвая – разницы не имеет. Ты выбрал Мидори, Наоко выбрала смерть. Ты уже взрослый, должен нести ответственность за свой выбор. В противном случае все полетит в тартарары.

– Только я все равно не могу забыть, – сказал я. – Сам пообещал Наоко ждать ее, сколько потребуется. Но не смог. В конце концов, бросил ее в самый последний момент. Проблема не в том, по чьей или ничьей это вине. Проблема – во мне самом. Допустим, не брось я ее, результат был бы тот же. Наоко наверняка бы выбрала смерть. Только... я не могу простить самого себя.

– Что поделать, если сердцу не прикажешь?

– Нет, у нас все было не так просто, как может показаться. Если подумать, мы в самом начале встретились на грани жизни и смерти.

– Если память о Наоко болит в тебе, ты не погасишь эту боль всю жизнь. Если сможешь из нее что-нибудь для себя вынести – выноси. Но при этом стань счастлив с Мидори. Твоя боль не имеет к ней никакого отношения. Если ты будешь продолжать делать больно ей, случится непоправимое. Поэтому хоть тебе и горько – крепись... Вырасти, наконец, и стань взрослым. Чтобы сказать тебе это, я плюнула на то заведение и

специально приехала сюда. В этом поезде-гробе.

– Я это понимаю, но еще не готов... Такие были похороны... Люди не должны так умирать.

Рэйко вытянула руку и погладила меня по голове.

– Мы все когда-нибудь так умрем. И я, и ты.

Пройдя минут пять вдоль реки, мы добрались до бани, а когда вернулись домой, немного полегчало. Откупорили бутылку вина и пили его, сидя на веранде.

– Ватанабэ, принеси-ка еще один бокал.

– Сейчас. Зачем?

– Устроим поминки Наоко, – сказала Рэйко. – Не грустные.

Я принес бокал, Рэйко наполнила его до краев и поставила на светильник в саду. Затем уселась на веранде, откинувшись на столб, прижала к себе гитару и закурила.

– И еще – принеси, если есть, спички. Чем крупнее, тем лучше.

Я сходил за спичками и сел с нею рядом.

– Выкладывай здесь спички после каждой мелодии. Я сыграю все, что умею.

Первым делом она тихо и красиво исполнила «Dear Heart» Генри Манчини.

– Ведь ты эту пластинку Наоко подарил?

– Да. На Рождество в позапрошлом году. Она очень любила эту мелодию.

– Я тоже. Такая добрая и красивая... – Она повторила еще раз несколько пассажей и отпила вина. – Ну что, сколько я успею сыграть, пока не захмелею? Слышь, а ведь совсем не грустная панихида, верно?

Рэйко заиграла «Битлз» – сначала «Norwegian Wood» и «Yesterday», затем «Michelle» и «Something», «Here Comes The Sun» и «Fool On The Hill». Я выложил семь спичек.

– Уже семь, – сказала Рэйко, отпила вино и закурила. – Эти парни наверняка знали всю горечь и доброту жизни.

Этими парнями, конечно же, были Джон Леннон и Пол Маккартни, а вместе с ними и Джордж Харрисон.

Несколько погодя, она затушила сигарету и опять взяла в руки гитару. Следующими были «Penny Lane», «Black Bird», «Julia», «When I'm Sixty Four», «Nowhere Man», «And I Love Her», «Hey, Jude».

– Сколько уже?

– Четырнадцать, – сказал я.

– Уф-ф, – вздохнула Рэйко. – Может, сам сыграешь?

– У меня плохо получается.

– Ну и что?

Я принес свою гитару и очень неуверенно, но все же сыграл «Up On The Roof». Рэйко тем временем передохнула и неспешно покурила, выпила вина. Стоило мне закончить, она захлопала в ладоши.

Затем из-под ее пальцев нежно и красиво зазвучали «Павана на смерть инфанты» Равеля и «Лунный свет» Дебюсси.

– Я разучила эти мелодии уже после смерти Наоко, – сказала Рэйко. – Ее музыкальные пристрастия так до конца и не оторвались от сентиментализма.

И она сыграла несколько композиций Бакараха – «Close To You», «Raindrops Keep Falling On My Head», «Walk On By», «Wedding Bell Blues».

– Двадцать, – сказал я.

– Я прямо ходячий музыкальный автомат, – весело сказала Рэйко. – Увидели бы все это мои бывшие преподаватели консерватории, их бы перекосило.

Она отпила вина и с сигаретой в зубах играла одну за другой все, что знала: около десятка мелодий боссановы, Роджерса и Харта, Гершвина, Боба Дилана, Рэя Чарлза, Кэрол Кинг, «Бич Бойз», Стиви Уандера, «Ue-wo muite arukou»^[63], «Blue Velvet», «Green Fields», – в общем, все подряд. Иногда закрывая глаза, склоняя набок голову, напевая про себя.

Когда закончилось вино, мы пили виски. Я выплеснул вино из бокала на гранитном фонаре в саду и наполнил его виски.

– Сколько уже?

– Сорок восемь.

Сорок девятой Рэйко сыграла «Eleanor Rigby», пятидесятой – повторила «Norwegian Wood», после чего дала отдохнуть рукам и просто пила виски.

– Пожалуй, хватит.

– Вполне, – ответил я. – Более чем достаточно.

– Вот, Ватанабэ. Постарайся забыть о печальных похоронах, – сказала Рэйко, глядя мне в глаза. – Помни только эти. Ведь, хорошо было, правда?

Я кивнул.

– Напоследок, – сказала Рэйко и сыграла пятьдесят первой свою любимую фугу Баха.

– Слышь, Ватанабэ, позанимаешься со мной *этим*? – тихо сказала Рэйко, окончив играть.

– Странно. Я тоже об этом подумал.

В темной зашторенной комнате мы с Рэйко обнимались, словно так и должно было быть, и хотели друг друга. Я раздел ее, снял рубашку, брюки и трусы.

– Знаешь, я прожила странную жизнь, но даже представить себе не могла, что с меня будет снимать трусы мужчина на девятнадцать лет моложе.

– Я не настаиваю.

– Ладно, снимай, – сказала она. – Только не расстраивайся, увидев мои морщины.

– Они мне нравятся.

– Сейчас заплачу, – прошептала Рэйко.

Я целовал ее тело, а когда попадались морщины, обводил языком их линии, дотрагивался рукой до почти плоской, как у подростка, груди, мягко покусывал соски, вставил палец в теплую влажную вагину и начал им двигать.

– Слышь, Ватанабэ. Не туда. Там – простая морщина.

– Все бы шуточки, да? – изумился я.

– Извини, – сказала Рэйко. – Страшно... мне. Давно этим не занималась. Я сейчас как семнадцатилетняя девчонка – пришла в общагу к парню, а он раздел ее догола.

– А мне кажется, будто я действительно насилую семнадцатилетнюю.

Я вставил палец в эту «морщину», я целовал шею и уши Рэйко, пощипывал соски. Когда ее дыхание участилось и тихонько задрожало горло, я раздвинул ее стройные ноги и медленно вошел внутрь.

– Как, нормально? Только смотри, чтобы я не забеременела, – тихо сказала Рэйко. – Стыдно в таком возрасте ходить с животом.

– Все в порядке. Можно не беспокоиться.

Пенис вошел до упора – она задрожала и вздохнула. Лаская ее, нежно поглаживая по спине, я сделал несколько движений и вдруг кончил. Стремительная, безудержная эякуляция. Я прильнул к Рэйко, и в эту теплоту из меня несколько раз вырвалась сперма.

– Не удержался... – сказал я.

– Дурашка, не забивай себе голову, – шлепнув меня по задку, сказала Рэйко. – Или ты думаешь об этом всякий раз, когда спишь с девчонками.

– Ну... да.

– Пока ты со мной, можешь не думать. Забудь. Кончай, сколько и когда захочешь. Как настроение? Лучше?

– Намного. Поэтому не утерпел.

– И не нужно терпеть. И так нормально. Мне тоже было очень хорошо.
– Я вот что думаю...
– Что?
– Еще не поздно в кого-нибудь влюбиться. Рано ставить на себе крест.
– Я подумаю... об этом, – сказала Рэйко. – Интересно, в Асахикаве люди занимаются любовью?

Немного погодя я опять ввел отвердевший пенис. Рэйко вдохнула и зашевелилась подо мной. Обняв ее, я потихоньку двигался и разговаривал с ней обо всем на свете. Как это было замечательно – разговаривать, находясь у нее внутри. Я шутил, она прыскала, и сотрясения ее тела передавались пенису. Мы долго лежали обнявшись.

– Так очень приятно.
– Двигаться тоже неплохо.
– Ну-ка попробуй...

Обняв ее за талию, я вошел до самого упора и начал вращать телом, кайфуя от этого ощущения, и в завершение всего с наслаждением кончил еще раз.

В конечном итоге, меняхватило в ту ночь на четыре раза. После четвертого Рэйко, закрыв глаза, глубоко вздохнула, и ее тело несколько раз едва заметно сотряслось.

– Мне до конца своих дней можно больше этим не заниматься, – сказала Рэйко. – Ну, скажи? Пожалуйста? Мол, успокойся, ты исчерпала свою долю оставшейся жизни.

– Кто знает? – сказал я.

Я предлагал полететь на самолете – и быстрее, и удобней, но Рэйко настаивала на ночном поезде.

– Мне нравится паром Аомори-Хакодате^[64]. Не хочу я лететь, – сказала она.

Я проводил ее до станции Уэно. Она держала в руке гитарный чехол, я – дорожную сумку. Сидя на платформе, мы дожидались поезда. Она была в том же, в чем приехала в Токио, – твидовый пиджак и белые брюки.

– Как ты считаешь, Асахикава – не сильно плохой город?
– Асахикава – хороший город.
– Серьезно?

Я кивнул.

– Я напишу.

– Мне нравятся твои письма. Хотя Наоко их все сожгла. Такие хорошие

были письма.

– Письма – всего лишь бумага, – сказал я. – Жги их, не жги, что должно остаться – останется, что нет – то нет.

– Если честно, мне... очень страшно. Ехать одной в Асахикаву. Поэтому пиши, ладно? Читаешь твои письма – и кажется, будто ты всегда рядом.

– Раз так нравятся, напишу, сколько угодно. Хотя можно не беспокоиться. У такого человека, как Рэйко, все будет нормально.

– Вот еще что. Такое ощущение, будто внутри у меня что-то преворачивается. Или это иллюзия?

– Остаточные воспоминания, – хмыкнул я. Она тоже засмеялась.

– Не забывай меня.

– Не забуду. Никогда.

– Пожалуй, мы с тобой больше не встретимся, но где бы я ни была, всегда буду помнить тебя и Наоко.

Рэйко посмотрела мне в глаза. Она плакала. Я не удержался и поцеловал ее. На нас глазели какие-то пассажиры, но мне уже было все равно. Мы живы и нам нужно думать только о том, как продолжать жить дальше.

– Будь счастлив, – сказала на прощанье Рэйко. – Я... посоветовала тебе все, что могла. Больше мне сказать нечего. Кроме одного – будь счастлив. Будь счастлив за нас троих: меня и Наоко.

Мы пожали руки и расстались.

Я позвонил Мидори и сказал:

– Мне очень нужно с тобой поговорить. Мне есть, что тебе рассказать. Мне многое необходимо тебе рассказать. Мне никто не нужен в этом мире, кроме тебя. Хочу встретиться с тобой и поговорить. И начать с тобой все с самого начала.

Мидори долго молчала на том конце провода. Длилась такая тишина, словно во всем мире над всеми лужайками моросит дождь. Все это время я стоял с закрытыми глазами, упершись лбом в стекло телефонной будки. Наконец Мидори прервала это молчание.

– Где ты сейчас? – тихо спросила она.

Где я сейчас?

Держа в руке трубку, я поднял голову и осмотрелся. «Где я сейчас?» Но я не знал, где. Даже не мог представить. Что это за место? В моих глазах отражались лишь бесчисленные фигуры бредущих в никуда пешеходов. И только я продолжал звать к Мидори из самой сердцевины ниоткуда.

notes

СНОСКИ

Все в порядке, спасибо. Просто мне стало чуточку одиноко (англ.). –
Здесь и далее прим. перев.

2

Со мной тоже иногда такое бывает. Я вас понимаю (*англ.*).

Счастливого пути! До свидания! (*англ., нем.*)

«Хэйбон панчи» – издававшийся до конца 70-х годов еженедельник, популярный среди молодежи.

Станции Центральной линии железнодорожной сети «Джапэн Рэйлроуд».

Район Токио, известный скоплением издательств и различных книжных магазинов.

Соба – лапша из гречишной муки.

Предпоследний школьный класс в Японии. Возраст учеников – 16 лет.

Популярная во второй половине 60-х годов XX века малолитражка «Хонды».

Кадзуми Такахаси (1931–1971) – японский политический писатель и критик, участник студенческого движения.

«Лав-отель» (от *англ.* «гостиница любви») – гарантирующая конфиденциальность специализированная гостиница, где номер снимается на 1–2 часа или на всю ночь.

По сей день существующая в Японии традиция запирает ночью в определенный час ворота или двери.

Самой высокой является «А». При оценке «D» получить зачет проблематично. В вузах Японии обязательные зачеты можно не выдержать с первого раза и сдавать в последующие семестры.

Осаму Дадзаи (1909–1948) – японский писатель-декадент, отразивший настроения отчаяния в послевоенной Японии.

Префектура, граничащая с западной частью Токийской метрополии.

Синдзюку и Икэбукуро – кварталы, прилегающие к двум одноименным крупным узловым станциям на кольцевой линии «Яманотэ» железнодорожной сети «Джапэн Рэйлроуд» в Токио.

Мидори – по-японски «зеленый, зелень».

Момо – по-японски «персик», розовый цвет.

Бэнто – традиционный комплексный обед в коробке.

«Оокура» – сеть престижных гостиниц в Японии и некоторых странах Тихоокеанского региона.

Престижные кварталы частного сектора в районах Большого Токио.

«**Кинокуния**» – крупнейший книжный магазин Токио.

Библиотека Хибия – одна из старейших и крупнейших токийских библиотек. Расположена возле одноименного парка поблизости от Императорского дворца.

От *англ.* «peace» – «мир», стандартного приветствия молодежного «лета любви» конца 60-х годов XX века.

Исида Аюми – японская актриса, ставшая популярной благодаря своему хиту «Bluelight Yokohama».

В традиционном японском доме в прихожей имеется порожек на одну ступень ниже уровня пола.

Популярная песня в стиле фолк группы «Brothers Four» (1957 г.).

Кухня района Кансай (Киото-Осака-Кобэ), где родился сам Харуки Мураками, отличается легким сладковатым привкусом, не утяжеленным обилием соевого соуса.

Фукусима – префектура на северо-востоке Японии.

Сёнан – популярный среди молодежи пляж на побережье залива Сагами в окрестностях бывшей столицы Японии Камакура.

Друг (*фр.*), «рё» (*яп.*) – общежитие.

Нэриум – декоративный кустарник (*Nerium odorum Soland*).

Свадьба нынешнего императора Акихито состоялась в 1959 г.

Зд. – «Люди странны, если ты странник» (*англ.*).

Репетиция основного вступительного экзамена в японские ВУЗы, проводится с ознакомительной целью.

Рисовые колобки с начинкой, как правило, круглой или треугольной формы, завернутые в тонкий сушеный лист морских водорослей.

В японском это созвучные слова: «киури» – огурцы, «киуи» – киви.

Тонкие сухие листы из морских водорослей, незаменимый продукт японской национальной кухни.

Предпринятая в 1936 г. попытка вооруженного государственного переворота.

Война (1937–1945) между Японией и США.

Рамэн – китайская вермишель с бульоном и всевозможными добавками.

Игра на бильярде с использованием двух красных, желтого и белого шаров.

Имеются в виду пожизненные советники императора Японии, впервые назначенные в 1876 г.

Префектуры Японии, находящиеся в противоположных направлениях от Токио на расстоянии около 1300 км друг от друга.

45

2,7 литра.

В исторической части Нары по улицам свободно бродят олени, считающиеся символом города.

Второй по величине город в префектуре Аомори, знаменитый своим старинным замком и цветением сакуры.

Северная оконечность самого большого острова Японского архипелага – Хонсю.

Мыс в окрестностях города Хакодате.

До середины 90-х годов в Японии торговые автоматы с алкогольными напитками отключались на ночь с 23 до 5 часов.

Копьевидный спиринх *Spirinchus lanceolatus*, *Hikita* считается в Японии деликатесной закуской.

Бэнто, выделяющееся среди прочих видов разнообразием составных и объемом порций. «Маку-но-учи» – высший дивизион профессионального сумо.

Прилегающий к Японскому морю регион в южной части о. Хонсю, префектуры Тоттори, Симанэ, Ямагучи.

Разновидность суси. Рис укладывается в «конверте» – остаточном продукте переработки сои.

Первая линия «синкансэна» была введена в строй к Токийской олимпиаде 1964 г., то есть, уже после того, как Рэйко попала в «Амирё».

Город на о. Хоккайдо, в котором зафиксирована самая низкая в Японии температура.

Тонкое сухое японское печенье из риса.

Kerria japonica DC – небольшой кустарник, цветущий желтыми цветами.

Nandina domestica Thunb. – китайский «небесный бамбук».

Блюдо из тонких ломтиков мяса, обжаренных в растительном масле вместе с луком-пореем, тофу, грибами, китайской капустой, репчатым луком и другими добавками.

Набэ – низкая кастрюля, в которой, как правило, готовят рыбу, морепродукты, овощи, зелень.

Конняку – популярное японское кушанье: серо-бурая паста или желе из морского растения аморфофаллюс (*Amorphophallus conjac*, *K. Koch*).

Песня Кадзуми Ватанабэ; в 1963 г. в течение трех недель занимала первые места в хит-параде «Billboard» под названием «Sukiyaki». Можно перевести как «Шагай наверх».

Паром, соединявший г. Аомори (о. Хонсю) и г. Хакодате (о. Хоккайдо).